БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОВРЕМЕННИКИ

ДЕТГИЗ
1953

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОВРЕМЕННИКИ

РАССКАЗЫ



РИСУНКИ
Н. ЖУКОВА

Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1953 Ленинград

Переплет и титул
К. БУРОВА



НАДЕЖДА МИРА

Бывают встречи, которые никогда не забудутся, проживи ты хоть сто лет.

Событие, рассказом о котором я хочу начать эту книгу, произошло уже несколько лет назад. Но и сейчас я, точно въявь, представляю себе тот теплый, прозрачный день, зеленую гору, нависшую над широкой, взлохмаченной ветром рекой, и это женское лицо — такое простое, даже обыденное, и эти глаза, глубоко запавшие, антрацитово-черные, горящие какой-то удивительной, неистовой силой.

У этой женщины было звучное имя героини «Одиссеи», внешность человека, только что перенесшего тяжелую болезнь, и простая, но страшная биография. Две юные, пышущие здоровьем девушки в живописных словацких костюмах бережно водили ее. Протягивая мне худую руку с тонкими, казалось даже просвечивающими, пальцами, она тихо, но очень четко, как говорят люди, выучившие язык по самоучителю, произнесла по-русски:

— Здравствуй!

Рукопожатие ее неожиданно оказалось сильным, мужественным.

Чехословацкие друзья успели предупредить меня, что женщина эта только что вышла из клиники. Меня просили избегать в разговоре всего, что могло бы ее взволновать, напомнить ей о прошлом.

Она долго не выпускала моей руки и вдруг сама заговорила о том, что наполняло и мучило ее душу. И тут, среди развалин старинной славянской крепости, на вершине горы Дивин, что над Дунаем, я услышал удивительную историю этой греческой женщины — историю, перед которой бледнеют и кажут-

ся незначительными испытания ее древней тезки, увековеченные Гомером.

Русский язык она знала неважно — порой в речи ее мелькали то болгарские, то чешские, то словацкие слова. О смысле иных фраз, чтобы не прерывать вопросами ее повествование, приходилось просто догадываться. И все же я попытаюсь изложить эту историю от ее имени — не так, конечно, как я услышал ее на горе Дивин, а так, как вспоминается она мне сейчас, по прошествии нескольких лет.

— Не удивляйтесь, что я на вас так смотрю, — начала она. — Я смотрю не на вас, а на весь ваш народ, о котором я столько думала... Да-да, на всех ваших людей, которые помогли мне устоять, перенести все испытания, спасли мне жизнь, хотя, конечно, у вас никто и не знает, что я существую на свете... Девушки, — обратилась она к своим юным спутницам, — прошу вас, не мешайте мне говорить. Он первый советский человек, которого я встретила, и что бы там ни толковали врачи, я должна рассказать ему все, как было. Худо не будет, нет, — мне станет легче... Простите, вам это, наверно, покажется смешным, но нет ли у вас с собой московской папиросы, советской монеты, почтовой марки — все равно, я хотела бы получить это себе на память... Спасибо! Теперь вы сядьте вот здесь, на камень, и я начну рассказывать, а вы, девушки, тоже сядьте, потому что я буду рассказывать долго... Ничего, ничего, врачи нам это простят, мне станет лучше, уверяю вас. Ведь я всегда так мечтала о встрече с советским человеком, которому я могла бы все, все рассказать, как старшему брату, как отцу...

Признайтесь, вам кто-нибудь обо мне уже здесь говорил?.. Ну, так и есть. Здешние товарищи опекают меня, как ребенка. Они и ветру на меня не дают дунуть, они хотят даже запретить мне вспоминать. Но все-таки я все расскажу, хотя мои спутницы, как вы видите, уже сердито нахмурили брови. А вы, пожалуйста, не думайте, что услышите что-нибудь необыкновенное. Весь мой гордый, но несчастный народ несет сейчас тяжкие испытания. Я — лишь одна из многих.

У нас в Греции немало людей, вся жизнь которых — борьба за свободу. А я — нет, я даже в компартию вступила совсем недавно. До войны — с вами надо быть вполне искренней — я даже боялась самого слова «революция». Мой муж был учителем гимназии, а я — тем, что у вас называют домашней хозяйкой: выдумывала кушанья подешевле, чтобы хватило жалованья мужа, воспитывала детей, следила за домом и растила розы в садике. Мы с мужем обожали розы, и у нас их было много, очень много. Так вот и жили...

Но вот Гитлер напал на нашу страну. Мы не захотели покориться, сражались, не жалея крови. Но, как вы знаете, фашисты оккупировали и поработили Грецию. Страну, но не народ. Война продолжалась. Она только ушла с больших дорог и велась главным образом по ночам. Мой муж и старший сын, который учился в той же гимназии, где отец его преподавал родной язык, оба продолжали днем заниматься своими делами. А по вечерам они иногда куда-то исчезали, возвращались под утро усталые, голодные, и я потом долго выбирала колючки из их тужурок и оттирала глину с их брюк. Я обо всем догадывалась. Мне было очень страшно. Кругом — расстрелы и облавы. Эти греческие фашисты — хитосы, — как когда-то турецкие янычары, прибивали убитых партизан к доскам и выставляли их тела на базарных площадях. Я много плакала, но ничего не говорила моим мужчинам. Они думали, что я даже ни о чем не догадываюсь.

Потом мы узнали, что Гитлер напал на вашу страну. В ту ночь муж и сын заявили мне, что уходят в горы. На этот раз они собирались надолго.

Прощаясь, муж все мне рассказал. Он сказал: фашисты напали на великий советский народ. Теперь фашистам конец. Все честные люди должны помочь советским солдатам скорее расправиться с бешеными псами. Тогда я была только женщиной, ничего не знавшей, кроме мужа, детей и роз. Я стала умолять моих близких подумать обо мне, о семье. Я даже, помнится, говорила мужу: «Русский народ — могучий народ. Пусть русские сами расправятся с Гитлером, раз он на них напал». Сын засмеялся, а муж сказал: «Советские люди, конечно, и без нас справятся с Гитлером, но когда кто-нибудь отбивается от бешеной собаки, честные люди должны броситься ему на помощь. А ведь ты, Пенелопа, считаешь нас честными людьми, не правда ли?» Да, оба они были честны, они ушли, и я помню, как сын Никос, уходя, оглянулся и крикнул с порога: «Мама, не забывай о розах! Они понадобятся, когда мы вернемся с победой».

Воевали они далеко от дома. Я не получала от них никаких вестей. Но однажды (это было уже в следующем году, в конце лета: помнится мне, я подрезала тогда розовые кусты) к дому подъехали на велосипедах три хитоса в этих своих диких униформах. Они поставили машины у забора и, не спросив разрешения, вошли в садик. Один из них нес подмышкой небольшой тяжелый сверток. Этот, со свертком, спросил мою фамилию и, узнав, кто я, сказал, что привез весточку от мужа. Его спутники засмеялись, а он стал развязывать сверток, оказавшийся простым мешком. Развязав, он взял мешок за угол-

ки и встряхнул. Из мешка выпала человеческая голова. Она вся была покрыта запекшейся кровью, но по острым залысинам над крутым лбом да по тонкому, красивому носу я узнала эту голову. Земля выскользнула у меня из-под ног...

Очнулась я уже дома. Рядом стояли моя старая мать и дочь Рулла. Дочь сказала: «Мама, отец был прав: нельзя стоять в стороне, когда там, на севере, великий народ отбивается от бешеной собаки». Рулла была гимназисткой седьмого класса, совсем еще девочкой. Ее куклы сидели рядком на столике, где она готовила уроки. Но я поняла: она права. Я подумала — нелепо заботиться об уюте в доме, где полыхает пожар.

Мы с дочерью были неопытны в политике. У тех же, кто вел борьбу с гитлеровскими оккупантами и бандитами-хитосами, была строгая конспирация. И все же через месяц мы с Руллой находились в отряде Сопротивления — как раз в том самом, где, сражаясь с хитосами, погиб мой муж и где продолжал его дело мой сын Никос.

Трудно мужчинам вести партизанскую войну, а женщинам в партизанском отряде куда труднее. Нам с Руллой порой приходилось очень тяжело. Но когда мне становилось невмоготу и весь мир вокруг начинал казаться мне черным, я вспоминала то место на глобусе, где широко раскинулась ваша страна, и мне становилось легче. Раз Советский Союз существует, фашизм рано или поздно будет побежден! Значит, есть для чего жить, переносить страдания, бороться. И вот сейчас, когда я увидела первого из встреченных мною советских людей, я поняла, что должна все, все вам рассказать... Это не исповедь, нет! Это отчет греческой женщины о том немногом, что ей удалось сделать для общей победы... Девушки, не смотрите на меня с упреком, я все равно не замолчу.

Так вот, мы с Руллой вступили в отряд, сделались медицинскими сестрами. Мы не сражались, нет, — я до сих пор не сделала ни одного выстрела. Но сотни раненых, что прошли через наши руки, не пожалуются ни на меня, ни на мою Руллу. Наш госпиталь помещался в сырых землянках, часто у нас не было медикаментов, и были случаи, когда наши врачи производили ампутации обычной столярной пилой. Вместо ваты мы употребляли корпию, на которую крестьяне сами расщипывали пеленки своих ребят, старые полотенца, рубашки. Часто, отступая, приходилось делать большие переходы, и тогда вместе с подразделениями двигался наш госпиталь. Солдаты несли раненых на себе. Но хотя мне ни разу не довелось стрелять, а моя Рулла даже боялась грохота взрывов, мы с ней были не хуже других в этой святой борьбе.

Наши части, где и тогда уже было много коммунистов, сражались стойко. А когда нам порой приходилось туго, когда иссякали боеприпасы, когда снег сковывал наше передвижение и люди делили на четыре части последние кукурузные сухари, — сводки о наступлении вашей славной армии были для нас, как кислород для тяжелобольного: мы оживали, в усталое тело вливалась бодрость. Победа опять казалась нам близкой. Ведь ваши армии в то время уже широко, неудержимо шли на Берлин. А как мы веселились на бивуаке в горах, как пели и плясали наши солдаты, когда главная фашистская крепость была вами взята! Мы радовались, будто сами повесили красный флаг над рейхстагом. Эти мгновения вознаградили меня за те страшные минуты, которые я пережила в своем садике, когда хитос вытряхнул к моим ногам голову мужа.

Мы думали, что война кончилась, и вернулись в свой городок. Даже то, что на месте нашего домика мы нашли черное, заросшее травой пожарище, не очень меня опечалило. Все трое — сын, дочь и я — мы поселились в небольшой комнате у добрых людей и наслаждались миром. Много ли нужно было нам для счастья! За эти годы мы научились радоваться даже таким простым, обыденным вещам, как мытье в сельской бане или возможность хорошо выспаться под кровом, на сухом сене.

Но вы ведь знаете, радость наша была недолгой. Те, кто вчера служил Гитлеру и гонялся за нами с собаками по горным ущельям, кто отрубил голову моему мужу, нашли покровительство и службу у новых оккупантов. А те, кто боролся с фашистами, вскоре снова принуждены были скрываться. Соседи, друзья предупреждали, что и нам угрожает опасность. Мы не хотели верить: кто посмеет тронуть семью человека, погибшего за свободу родины! Но когда сын рассказал, что наш национальный герой, сорвавший с Акрополя в дни гитлеровской оккупации фашистский флаг, — человек, имя которого с уважением произносит в Греции даже неграмотный крестьянин, — схвачен и брошен в тюрьму, мы поняли: враги похитили у нас свободу. Сын выкопал свое оружие, которое хранил в укромном месте. Мы снова очутились в горах. И все пошло, как прежде. Только борьба стала еще более жестокой...

Товарищ! Вы не хуже нас знаете ужас гитлеровского фашизма. Но ужаса, который несет с собой американская военщина, вы не видели, нет. Вы знаете его только по газетам. А вот послушайте, что вам расскажет о нем греческая женщина, греческая мать.

Гитлеровцы были страшны, вероломны, жестоки. Они не

щадили ни женщин, ни детей. Но даже то, что творили гитлеровцы, бледнеет перед злодеяниями американских оккупантов. Любя войну, они сами не любят воевать. Они предпочитают проводить время где-нибудь в кабачках, торговать сигаретами, скупать за гроши у голодных жителей старинные вещи. За них воюют деньги. Они нанимают все подлое, что есть на земле, — от жуликов, выпущенных из тюрьмы, до хитосов, этих отвратительных профессиональных убийц. Они дают им свое оружие, яд, инструменты для взлома, фальшивые бумаги и эти свои проклятые деньги. Проливая кровь детей, женщин и стариков, они лицемерно улыбаются, говорят о свободе, демократии, совести и боге, они лгут, клевещут — такова их война. Она страшнее гитлеровской. Это война трусливых подлецов — война, которую они стремятся вести чужими руками. Можете мне верить, товарищ...

Так вот, под натиском монархо-фашистов наши отряды, воевавшие в горах, были вынуждены медленно отходить. Страшно вспоминать эти дни! Чужие самолеты не слезали с неба. Даже ночью они бомбили и обстреливали наши колонны, а у нас был на счету каждый патрон. Госпиталь, которым я тогда руководила, был полон раненых. Нам не удавалось простоять более двух-трех дней без того, чтобы вражеские самолеты, обнаружив нас, не начинали его бомбить.

Вот тут я, товарищ, и узнала, что такое любовь народа.

Иногда путь наш лежал по таким дорогам, где не могли пройти даже ослы. Крестьяне несли раненых на руках, а жены их тащили за ними наше жалкое больничное имущество и скудные продукты, которые они же и приносили для госпиталя из деревень.

Изредка удавалось остановиться где-нибудь в ущелье, скрытом лесом от американских коршунов. Тогда моя дочь и другие медицинские сестры читали раненым вслух ваши советские книги, выпущенные подпольным издательством «Элефтерия Эллада». Это были стихи о девочке Зое, именем которой у нас назывался отряд молодых партизан, рассказ о солдате, который грудью своей прикрыл пулемет, и еще большая книга о юношах и девушках из шахтерского городка, пример которых всех нас учил стойкости. И много, много других чудесных книг.

Я знаю, товарищ, это — художественные произведения. Для нас же, кто боролся в горах Греции, эти книги были и боевым уставом, и учебником воинской доблести, и лекарством, успокаивающим и поднимающим дух у раненых. Я сама испытала на себе действие этого могучего, всеисцеляющего лекарства...

На несколько мгновений рассказчица замолчала. Закрыв глаза, она как бы собиралась с силами. Затем упрямо встряхнула головой и продолжала:

— Это был страшный день, когда раненый командир, которого крестьяне принесли в наш госпиталь, сказал мне, что мой сын, мой славный Никос, убит на югославской границе...

Нет-нет, ничего... Все это уже пережито. Я спокойна. Сын мой погиб, как герой, — так сказал его командир мне, матери. Слушайте, как это произошло.

Мы уже знали о злодеяниях югославских фашистов, но мы и предположить не могли, на что они способны. У нас в горах говорят так: «Утопающий хватается и за змею». И это, к сожалению, верно. Вооруженные до зубов фашисты, силы которых во много раз превосходили наши, теснили нас к югославской границе. Партизаны сражались, а их жены, дети и старики, которые в этом походе отступали вместе с нами и которых было довольно много, были отведены в тыл, к границе Югославии. Нам казалось, что здесь, у рубежа иностранного государства, они будут защищены от пуль. Нужно было продержаться только до вечера, чтобы под покровом темноты и тумана незаметно выскользнуть из вражеского кольца. Это мы проделывали уже не раз.

И тут произошло страшное. По безоружному табору наших семей с югославской территории был открыт огонь. Отряд оказался зажатым с двух сторон. Самые опытные из партизан сделали попытку спасти наш безоружный табор. Под командой моего сына они залегли с пулеметом и начали отстреливаться. Но силы были слишком неравные: несколько человек сражались против целой части. Один за другим падали в бою товарищи Никоса, но он сам, раненный, продолжал стрелять, давая возможность женщинам, детям, всему обозу выходить из-под губительного огня. Он стрелял до тех пор, пока югославские пограничные жандармы, перейдя границу, не подползли к нему сзади и не навалились на него. Тогда последней гранатой он взорвал пулемет, себя и врагов.

Вот о чем рассказал мне командир, бывший свидетелем славной гибели моего Никоса... Какой удар! Но я пережила его на ногах. На моем попечении было около ста раненых, и все они были мои дети. Некогда было предаваться горю, со всех сторон слышались стоны. Меня звали: «Мать, мать, мать!» Мои раненые звали меня матерью.

Теперь слушайте о последнем событии, после которого моя голова стала белой, как мрамор наших древних статуй. Это произошло вскоре после того, как югославские фашисты убили моего сына. Ну да, то случилось в понедельник, а это — в пятницу на той же неделе...

Удача ненадолго улыбнулась нам. Мы прорвали фашистское кольцо, перевалили за хребет и, сделав километров пятьдесят по горным дорогам, уже считали себя вне опасности, по крайней мере на несколько дней. Мой госпиталь расположился в нескольких пастушеских хижинах. Воздух был душистым и прозрачным, каким он бывает только в наших горах осенью. Пастухи не жалели для раненых овечьего молока...

Я и сейчас не знаю, как это случилось, но только однажды под вечер мы вдруг услышали стрельбу у самой околицы. Выбежав с дочерью на крыльцо домика, где у нас лежали тяжело раненные, мы увидели, как к госпиталю, отстреливаясь, торопливо отступают несколько партизан. Вслед за ними, стреляя и бросая гранаты, шли фашисты. Их было много. Я поняла: это всё. Можно было, конечно, попытаться бежать или спрятаться — но раненые! Они лежали в домах. Большинство из них не могли даже двигаться. Над нашим домом висел большой белый флаг с красным крестом. Я взяла дочь за руку, и мы с ней загородили собой дверь, втайне надеясь, что, может быть, в этих заокеанских наймитах сохранилось что-нибудь человеческое. Что мы могли сделать еще! Я помню, как один из хитосов, маленький, весь заросший, в грязных обносках американской формы, остановился перед нами, вытер со лба пот и, что-то нечленораздельно выкрикнув, вдруг вскинул пистолет... Больше я ничего не видела.

Когда я очнулась, первое, что я ощутила, была сырость. Высоко сиял небольшой четырехугольник темносинего неба, и в нем застыл, распластав крылья, какой-то хищник, точно прибитый к небесной голубизне гвоздями. Все вокруг было мокро. Оглянувшись, я увидела морщинистое лицо крестьянки, склонившейся надо мной. Я узнала ее: в последние дни она добровольно выполняла в моем госпитале обязанности сиделки.

«А раненые? А дочь?» — спросила я ее. Старуха ничего не ответила. Ее морщины точно окаменели. Две тяжелые слезы тихо вылились из ее выпуклых мутных глаз, сверкнули у переносицы. Уже потом пастухи, отыскавшие меня — живую среди трупов моих питомцев, которых фашисты прикончили, — рассказали мне, что моя дочь, моя чистая Рулла... Нет, это слишком тяжело, об этом даже вам, советскому человеку, мне трудно рассказать...

О чем же я говорила? Да, о том, как я очнулась... Оказалось, крестьяне спрятали меня на дне старого, высохшего колодца, находившегося в церковном садике. Вся округа была занята фашистами. Одна из их частей встала гарнизоном в этой деревеньке. Хитосы шныряли всюду. Мои новые друзья

убедили меня переждать в этом заброшенном колодце, пока хитосы уйдут. Выбора не было.

Хорошие люди были эти мои новые друзья — пастухи, земледельцы и местный священник, которого до той поры я даже и не встречала. Они трогательно заботились обо мне. Колодец, помещавшийся в зарослях запущенного садика, был неглубок, давно заброшен. Мои друзья разобрали одну из стенок сруба, сделали в ней довольно большую нишу, укрепили ее плетнем и застелили соломой. Я могла сидеть, лежать, но встать или вытянуться на моем ложе было невозможно. Впрочем, до удобств ли было!

Моя рана, оказавшаяся не очень тяжелой, заживала быстро. Но была другая рана, душевная, и она все время кровоточила... И тут мне помогла одна хорошая ваша книга, которую моя Рулла читала когда-то раненым и которую я, лежа в своем колодце, страницу за страницей восстанавливала в памяти. Я вспоминала те места, где рассказывалось о переживаниях матери Олега Кошевого. Я знала — все, что написано, правда. Я знала — такая мать есть, живет. И тут, в колодце, я не чувствовала себя одинокой. Я мысленно говорила с матерью Олега, рассказывала ей о своем горе, советовалась, спорила с ней. В этих мысленных беседах я черпала силы...

Так, сами того не зная, вы, советские люди, помогали мне в самые тяжелые часы моей жизни.

Священник, скрывший меня в церковном садике, не участвовал в нашем движении, но он был честный грек и ненавидел фашистов. Это он иногда всовывал в свертки с пищей, которую мне опускали в ведре, записку; из нее я узнавала о том, что делалось на земле. Однажды он сделал мне подарок. Он спустил мне самоучитель русского языка и греко-русский словарь. Могло ли быть для меня что-нибудь дороже! Я начинала свои уроки, когда первые розовые лучи загорались вверху, на стенке моего колодца, и занималась до тех пор, пока все не погружалось во мрак. Понемногу я свыклась с такой жизнью. Если бы только не эта ужасная, всепроникающая сырость, насквозь пропитавшая зеленый, покрытый грибами сруб!

Первые недели было еще терпимо, но вот началась зима, по утрам промозглый туман точно сырой ватой наполнял колодец. Я не могла разглядеть буквы словаря. Становилось трудно дышать. А тут еще начался ревматизм. Сначала опухли коленные и локтевые суставы, потом пальцы, потом поясница. Каждое движение стало доставлять боль. Старые пастушеские полушубки, которые спустили мне друзья, не грели.

А я даже не могла повернуться, чтобы выпрямиться и лечь как следует в своей узкой норе. Крестьянки поили меня настоем из цвета липы, сушеной малины и каких-то корней. Но это только утешало, но не помогало. А наверху хозяйничали хитосы — эти двуногие волки, одевшиеся в форму американского образца. Лучшие люди гнили по тюрьмам и в самой страшной из них — на острове Макронисос. Страна была оккупирована американцами.

Я не боялась смерти, нет. Признаюсь вам, смерть порой казалась мне избавлением от мук. Но каждый раз, когда я чувствовала, что силы угасают, а воля ослабевает, я смотрела со дна моего колодца на какую-нибудь самую яркую звезду, смотрела и думала, что эта звезда сияет сейчас и над вашей родиной, что видите ее сейчас и вы, советские люди, что, может быть, смотрит на нее Сталин, Кто знает!..

И мне, в моем заиндевевшем земляном мешке, становилось легче. Ко мне возвращалось главное — вера в победу. Есть на земле Советский Союз! Живет, борется ваш великий народ! Значит, рано или поздно восторжествует правда и на моей несчастной родине, значит и к нам когда-нибудь придет мир, значит есть на что надеяться, за что бороться. И светлело на душе. Крестьяне, приносившие мне пищу, даже пугались, услышав иной раз, как я потихоньку напевала по ночам то греческие, то ваши, советские, песни. Они опасались, не сошла ли я с ума.

Кроме самоучителя и словаря, книг у меня, конечно, не было. Но чтобы поддержать в себе бодрость, я вспоминала ваши, советские, книги, которые Рулла читала раненым, и много думала об этом славном писателе, который работал, лежа в параличе, о солдате, бросившемся на пулемет, о девочке Зое, обо всех вас, советских людях, стойких, мужественных, жизнерадостных, не боящихся никаких препятствий в труде и борьбе, умеющих веселиться, как дети, и, если понадобится, отдавать все, и самое дорогое, что есть у человека: жизнь свою — за родину, за свои идеи, за счастье всех людей.

Не скоро, а точнее говоря — через пять месяцев и десять дней, когда живительный свет и воздух весны уже начали проникать даже в мой колодец, фашистский гарнизон ушел из деревни. Друзья вытащили меня из ямы. Я разучилась ходить и несколько недель пролежала в летней хижине пастуха. Потом за мной пришли другие друзья — и вот... Словом, теперь я тут, на дружеской чехословацкой земле. Лучшие врачи борются за мою жизнь. И, видите, я уже передвигаюсь самостоятельно.

Собеседница сделала усилие и встала. Девушки попытались было подхватить ее под руки, но она отвергла их помощь:

— Нет-нет, я сама... Вы понять не можете, какое это великое счастье — снова, второй раз в жизни, научиться ходить!.. Так вот, в Праге, в клинике, я продолжала изучать русский язык. Я читала каждую вашу новую книгу. Потом мне провели радио, я слушала ваши передачи, и это было той живой водой, которая помогла медикам совершить чудо...

Женщина стояла на вершине горы, осматривая широкий горизонт, по которому располагались здесь земли трех государств: Чехословакии, Венгрии и Австрии. Прокаленный солнцем ветер, насыщенный влагой дунайских волн и запахом цветущих лугов, шевелил ее гладко зачесанные белые волосы. В антрацитово-черных глазах светилось счастье возвращения к жизни, большое человеческое торжество.

Она вдруг хитро прищурилась:

— Я знаю о вашей жизни всё-всё! Мне кажется, будто я знакома даже с этим волшебником советской индустрии — токарем Павлом Быковым, с девушками текстильной фабрики, которым пришла хорошая мысль выпускать ткань из сэкономленного сырья, со многими советскими людьми. Я столько о них читала и слышала, что, кажется, всех их знаю давным-давно... Чудесная у вас жизнь!

Вдруг какая-то новая мысль отразилась на ее смуглом подвижном зеленовато-бледном лице:

— К вам, литератору, у меня вопрос: почему нет книг о Быкове и этих девушках? Почему? Сама жизнь вашего народа вдохновляет миллионы неизвестных вам людей, светит им во мраке, вселяет бодрость, надежду. Для вас книги о вашей жизни — художественная литература, для нас — учебники, источники бодрости, оружие в борьбе. Передайте это вашим товарищам от греческой женщины по имени Пенелопа, фамилию которой пока что называть в печати не стоит, так как она мечтает вернуться на родину и продолжать борьбу. Скажите советским литераторам: ваша страна — светоч мира, люди ваши — звезды, и по судьбам этих людей мы стараемся направлять свой путь, как в древности по звездам водили корабли... Обещаете так сказать? Да?

И я ответил ей:

— Обещаю.

— И сами это запомните?

— Да...

С тех пор вот уже три с лишним года, путешествуя по стране, я собирал материалы для книги о наших современниках, советских людях, строящих коммунизм. Я познакомился

и подружился со многими нашими тружениками, фамилии которых мы знаем из газет. Развернулось строительство на Волге, и я поехал туда, где ярко проявлялась трудовая доблесть советских людей. Это были счастливые путешествия в мир небывалой техники. Но драгоценнее всего, что я там увидел, были сами советские труженики, воплощающие в жизнь предначертания Коммунистической партии.

В этой книге помещены рассказы о тех, чья жизнь, чей труд, чьи подвиги, простые и великие в своей повседневности, наиболее, как мне кажется, отразили наш сегодняшний день. Я рассказал о них, ничего не прикрашивая и не утаивая. Герои большинства рассказов выведены под своими фамилиями, и лишь некоторых из них, по их же просьбе, мне пришлось назвать другими именами, чтобы не подвергать испытаниям их скромность. Так пусть же герои моих рассказов простят мне некоторые вольности в изложении того, что ими пережито и перечувствовано, ибо трудно писателю, как бы он ни старался и как бы тщательно ни изучал жизнь, до конца понять и передать мечты и мысли живых персонажей своей книги.

Я не знаю, где сейчас греческая женщина по имени Пенелопа — осиротевшая мать, страстный борец за мир и счастье человечества. Но, признаюсь, мне бы очень хотелось, чтобы она прочла эти невыдуманные рассказы о людях, чьи жизни, по ее словам, «светят, как звезды», и чтобы книга эта пришлась ей по душе.





СКАЗКА

Екатерина Федоровна Яковлева, профессор одного из столичных институтов, получившая в последние годы особенно широкую известность в связи со своими работами в области туберкулеза, по дороге на курорт решила навестить дочь Женю.

Мать и дочь очень любили друг друга. Больше того: они были друзьями. Но, как это часто случается, занятые делами, они не виделись вот уже несколько лет. Из писем Екатерина Федоровна знала все о жизни дочери: знала, что она с мужем, оба инженеры-гидрологи, находится сейчас на одной из великих волжских строек. Знала о всех волнениях, радостях и горестях Жениной работы. Но всякий раз, когда, получив очередное письмо, Екатерина Федоровна задумывалась над ним, она рисовала себе Женю ребенком, худенькой шустрой длинноногой школьницей, красивой русоволосой студенткой, но никак не могла представить ее инженером на огромном строительстве.

Шесть лет назад Женя написала с Урала, что у нее родилась дочь. Прислала фотографию голого, толстого несмышленыша, прядку черненьких, похожих на пух волос и сообщила, что девочку назвали Алёной. Фотография, переходя из рук в руки, долго путешествовала по клинике. Сама же Екатерина Федоровна была в этот день необыкновенно рассеянна, часто уходила в себя и среди своих обычных дел вдруг, без всякого повода, произносила: «внучка», «бабушка», — улыбалась и пожимала плечами.

Это было давно. А вот теперь, когда машина остано-

вилась у маленького домика с яркокрасной черепичной крышей, низко, на южный манер, надвинутой на самые окна, Екатерина Федоровна испытала новое для нее чувство смятения, ожидая встречи с неведомым ей существом, появление которого сделало ее бабушкой.

С треском распахнулась дверь. С терраски, оплетенной яркой зеленью, одновременно скатились большая овчарка и маленькая чернявая девочка в пестром платье с красным бантом в пышных вьющихся волосах. Производя невероятный шум, обе пробежали по дорожке через палисадник и у машины вдруг затихли, будто замерли. Огромный пес присел, ревниво кося глазом на девочку, а та, разгоряченная бегом, все еще тяжело дыша, уставилась на Екатерину Федоровну. Удивление, смешанное с недоверием, светилось в ее больших карих глазах.

— Это наша бабушка, — сказала Женя, выходя вслед за матерью. — Поцелуй ее, доченька.

— Алёна, — чинно представилась девочка и протянула Екатерине Федоровне ручку с тонкими, длинными и, как сейчас же определила про себя бабушка, «хирургическими» пальцами.

Потом, заговорщически взглянув на собаку, девочка вдруг фыркнула:

— Разве такие бабушки бывают?

Не зная, что ответить, Екатерина Федоровна оглянулась на дочь. Женя лукаво улыбалась.

— Вы не бабушка, вы тетя, — рассудительно сказала маленькая Алёна и добавила: — Вот у Тамары Зайцевой — бабушка. Она старенькая и в очках.

По горло занятая работой, Екатерина Федоровна близко не сталкивалась с детским миром, и когда вечером Женя с мужем, уходя на партсобрание, оставили Алёну на попечение бабушки, та совсем растерялась.

Алёна же, привыкшая к тому, что к ним частенько заходят ночевать папины и мамины сослуживцы, наезжающие в командировку, наоборот, чувствовала себя очень свободно. Усевшись против Екатерины Федоровны, она принялась занимать ее разговором о стройке, которая «самая, самая, самая большая». Показала своих кукол и мишек. Все они, оказывается, тоже что-то такое сооружали из кирпичиков и пластилина. Убедившись, к удивлению своему, что странная бабушка в строительных делах ничего не понимает, и вспомнив, что мать говорила, будто она какой-то большой-большой доктор, девочка переменила тему и принялась рассказывать, как осенью она болела ангиной и как ее лечили.

Потом, должно быть неожиданно даже для самой себя, она влезла к бабушке на колени, охватила ее шею тоненькой смуглой ручкой и категорически потребовала:

— Бабушка, сказку!

— Какую же тебе сказку, деточка? — растерянно спросила Екатерина Федоровна.

— Все равно. Только интересную. Самую интересную.

Наступило неловкое молчание. «Что же рассказать ей?» — думала Екатерина Федоровна. Перед ней вдруг встало ее собственное, такое уже далекое детство. Ее мать — прачка — целые дни поденно стирала белье у разных людей. Она так уставала, что, вернувшись домой, иногда засыпала, сидя у стола, пока дочь доставала из печки обед. Сама Екатерина Федоровна с шести лет оставалась за няньку при младшем братишке, а с восьми уже помогала матери стирать и полоскать чужое белье. Окрики, подзатыльники, вечно сосущая пустота в желудке — вот что вспоминалось ей теперь, и ни одной, ни одной сказки...

А Женя? Ей, наверное, рассказывали сказки и в яслях и в детском саду. Но Екатерина Федоровна работала и училась: сначала в ликбезе, потом в вечерней школе, потом на рабфаке, наконец в институте... Жениных сказок она не знала.

— Бабушка, бабушка же? — Алёна нетерпеливо трясла Екатерину Федоровну за плечи.

«Как же быть? — думала между тем бабушка, все более и более смущаясь. — Может быть, призвать на помощь Пушкина?»

Память у нее была хорошая, и она довольно бодро начала:

— Жил старик со старухой...

Алёна безжалостно опередила ее:

— У самого синего моря... Знаю, знаю! Это про золотую рыбку. Другую, другую!

— Хорошо, — торопливо согласилась Екатерина Федоровна, испытывая непонятное тягостное ощущение перед этой маленькой девочкой.

Она чувствовала, что внучка удивлена. У всех ребят бабушки как бабушки: носят очки, чулки вяжут, следят за тем, чтобы внучата побольше ели, и, конечно, время от времени рассказывают интересные сказки, — а тут первый раз в жизни появилась бабушка и ничего не может, ничего не умеет. Екатерина Федоровна с грустью ощутила какую-то пустоту, пробел в своей жизни, которого раньше за многочисленными своими делами вовсе и не замечала. И вместе с этим пришло страстное желание во что бы то ни стало завоевать это ма-

ленькое сердце, рассказать хорошую сказку, быть не хуже других бабушек.

— Жил-был славный царь Дадон... — начала она уже значительно менее уверенно.

— Смолоду был грозен он, — как эхо, отозвалась Алёна и зевнула, вежливо прикрыв рот ладошкой. — Эту нам в детском садике читали. А новой сказки ты не знаешь? Ну, хоть маленькую, хоть самую малюсенькую, ну, вот такую!

Алёна показала кончик мизинчика.

Теперь внучка уже не трясла бабушку. Она смотрела ей в глаза, и в ее взгляде было не удивление, не упрек, а откровенное разочарование. У Екатерины Федоровны тоскливо заныло сердце. В отчаянии, миновав так и просившуюся на язык присказку: «В некотором царстве, в некотором государстве», Екатерина Федоровна начала, еще не зная, о чем она будет говорить и чем кончит:

— Вот тут, Алёнушка, где папа с мамой строят гидроэлектростанцию, когда-то проходил фронт...

Произнося это, Екатерина Федоровна волновалась даже больше, чем тогда, когда однажды поднималась на трибуну международного конгресса.

— Когда воевали с фашистами? — тотчас же спросила Алёна и заёрзала, поудобнее усаживаясь на коленях.

— Нет, раньше. Давно, в гражданскую войну... По одну сторону фронта были красные, а по другую белые.

— А почему белые? Они в белом ходили?

— Нет, детка. Так называлась армия, которая воевала против народа, за царя.

— За царя Дадона?

Екатерине Федоровне пришлось по возможности проще рассказать внучке, за что сражались красные, за что белые, и заодно, не без большого, правда, труда, объяснить, что такое не сказочный, а настоящий, «всамделишный» царь и кто такие были помещики, фабриканты, купцы.

В молодости Екатерина Федоровна слыла хорошим агитатором, и теперь она с радостью чувствовала, что ее слушают внимательно, но так, точно рассказывает она не то, что сама хорошо помнит, а будто ведет она внучку из мира реального в иной, сказочный, малопонятный и страшный. Не все доходило сразу. Узнав, например, что помещики и фабриканты присваивали себе то, что производили рабочие и крестьяне, Алёна вдруг спросила, почему же тогда этих людей, берущих чужое, не взяли в милицию. Пришлось объяснять снова. Но главное было достигнуто: контакт установился, внучка слушала внимательно.

Теперь, когда она приоткрыла Алёнушке дверь в мир прошлого и та притихла, вытаращив глаза, бабушка усадила ее получше и уже уверенно продолжала:

— Так вот, деточка, здесь проходил фронт. Белые наступали на красных, они хотели отнять у них вот эти края, где было много хлеба, чтобы рабочие в Москве и других городах умерли от голода. Красные знали этот их замысел и сражались тут изо всех сил. А рабочие в городах, занятых белыми, старались помочь красным. Коммунистическая партия имела там свои подпольные группы... Ты, деточка, только не думай, что они жили и работали под полом.

— Я не думаю. Такие, как Олег Кошевой? Да? — снисходительно заметила Алёна.

— Вот-вот. Такие, как Олег, только большие. Там было много людей. И вот красным командирам понадобилось доставить в один город пакет, а в пакете этом план. В плане было указано, как подпольщики и все рабочие должны помогать красным, когда те подойдут к городу. А доставить этот пакет было трудно — белые были настороже. И если кого из красных им удавалось поймать, они его жестоко мучили, а потом убивали.

— Как фашисты?

— Ну да, как фашисты... Вот думал-думал командующий, кого послать с этим пакетом. Послать кого-нибудь из бойцов — обязательно его схватят, потому что белые всех, кто по возрасту должен находиться в армии, арестовывали. Как быть? Тогда один из командиров, молодой балтийский матрос, и говорит: «Пошлите, товарищ командующий, нашу Катю». А Катя была его жена. Удивился командующий: как, мол, так — у нее ребенок грудной. А матрос говорит: «Это и хорошо: женщину с маленьким никакой беляк не заподозрит».

— А эта Катя кто была, бабушка?

— Тоже красноармеец... ну, солдат, что ли. Она на фабрике работала, а как началась революция, пошла в Красную гвардию, замуж за этого матроса вышла, дочку ему родила. Так вот, Алёнушка, зовет ее командующий: так, мол, и так, возьмешься пакет доставить? И отвечает Катя: «Раз для революции надо — возьмусь». И вот сменила Катя свою гимнастерку и сапоги на дорогое платье, на боты, на шубку. Дали ей документы подложные: будто она жена белого офицера и едет к нему с ребенком в город. Взяла она дочку на руки, отвезли их на большую станцию, что была уже за линией фронта, билет ей дорогой купили, в такой вагон, где раньше только помещики да фабриканты ездили.

— Ей не стыдно было ехать с помещиками?

— Это, внученька, для того, чтобы белых обмануть, чтобы они подумали: барыня едет...

— А барыня — это что? Это пляшут которую?

Екатерина Федоровна рассмеялась. Но теперь, уже держа в руках ключ к детскому сердцу, она легко объяснила, кто были барыни. Внучка торопила:

— Ну-ну, а дальше? Села она в барынин вагон, а белые что?

— Так вот, села она, дочку свою на руках держит, и вдруг дверь отворяется и входит белый офицер.

— Ух ты! Белый?

— Да, белый. В чине капитана. И оказывается, его место напротив. Сидит Катя ни жива ни мертва. Была она у красных медицинской сестрой, и связисткой, и пулеметчицей, много видела белых, только те все были мертвые, а этот — живой. Офицерик сидит против нее на диване, папиросу курит, усики себе подкручивает, охорашивается, чтобы молоденькой барыне понравиться.

— Он не узнал, что она красная?

— Не узнал, Алёнушка, не узнал, а только ей-то не легче. Сидит в углу, прижалась, чтобы не заметил он, как она вся дрожит. Вдруг угадает, обыщет и найдет пакет. А он уж приметил, что с ней неладно, и спрашивает: «Что с вами, сударыня, почему вы такая бледная?» Она ему: «Ах, господин капитан, голова кружится, это от табака наверно, я не выношу дыма». Он извинился и вышел, а она рукой за пакет: тут ли?

— А он где, пакет-то, у нее был?

— Катя его хитро спрятала. На грудке у дочки, меж пеленкой и одеялом. Так что он у нее все время в руках.

— А если белые узнали бы?

— Убили бы и ее и дочку... Так вот, ехали они, ехали и уж к городу подъезжать стали. Вдруг поезд на полустанке остановился! Слышно, кричат: «Из вагона никому не выходить! Проверка». Катя встревожилась: а вдруг заметят, что документы поддельные? Не выдержала да как заплачет! А капитан, что напротив нее сидел...

— Этот белый?

— Ну конечно, белый! Он успокаивать принялся: не плачьте, мол, мадам, это наши, они документы проверяют, красных ловят, так что вы не бойтесь. Он успокаивает, а Кате от того еще страшней. Слышит, кого-то уже из вагона волокут. Кто-то там бранится, кто-то кричит: «Да здравствует коммуна!» И уж по этому вагону, где Катя сидит, идут. Сту-

чат в дверь: «Господа, без паники, красных ловим. Предъявляйте документы».

— А Катя, как девочка, что зашла в избушку к разбойникам да спряталась, все слышит, все видит?

— Вот-вот. Только Кате еще страшнее. Сидит она и о муже своем думает — не узнает он о ее гибели. Прижала к себе ребенка и решила: если уж судьба умирать, так умрет, как комсомолке положено. Плюнет этим белым в лицо и скажет: «Революция победит!» или что-нибудь подобное, и ни себе, ни дочке пощады у них просить не будет. Сидит она так, с жизнью прощается, а офицер, что напротив, уже заметил, что с ней неладно, так в нее глазами и впился...

Алёна всем телом прижалась к бабушке. Впервые в жизни приходилось ей волноваться не за свою сказочную тезку, утопленную злой мачехой, не за какую-то там царевну, усыпленную недобрым волшебником, а за живую юную мать и ее крохотного ребенка.

Волнуется и сама рассказчица. На крупном полном лице, еще хранящем следы спокойной русской красоты, пятнами идет румянец. Голос у нее начинает дрожать.

— Ну-ну, и что? — торопит внучка.

Выдержав паузу, бабушка продолжает:

— Ну, и вошли они, белые, спросили документы. Пока капитан свои показывал, Катя едва сознания не лишилась. Вот, думает, и все, и конец, сейчас заметят ее волнение, поглядят попристальней на паспорт и арестуют. И кончится ее жизнь в самом радостном начале, и не увидеть ей того, о чем мечтали они с мужем в редкие дни боевого отдыха, и никто на ее могилке слезы не уронит. И еще думала она: не передать ей подпольщикам плана, и не помогут они красным частям при наступлении, и много хороших людей может из-за этого зря, как и она, погибнуть.

Думает она так и от мыслей этих словно новых сил набирается. И страх у нее проходит. И спокойно становится на душе, и уж не слушает она, как за окном гремят выстрелы. Между тем патруль к ней: «Документы». Она дочку свою вместе с пакетом в одеяле офицеру передала: дескать, подержите, пока я бумаги достану, — неторопливо протянула свой фальшивый паспорт, даже спросила у патрулей: «Вы не знаете, я не достану на этой станции молока?»

— А для чего ей молоко?

— Ну, будто бы для ребенка. Обманывала она их, отвлекала, чтобы они не очень тщательно смотрели. И так уж, внученька, в жизни всегда и бывает: если человек к хорошему стремится и очень этого хочет, всегда он того достигнет. Па-

труль ее пропустил. На вокзале сам офицер чемодан ей до извозчика донес. Она красивая была, эта Катя. Очень она ему понравилась.

— Ну, а подпольщики? Получили письмо?

— А как же! Катя за несколько кварталов до их квартиры с извозчиком рассчиталась. Вошла во двор и через двор — в другой двор, на соседнюю улицу, а потом уж отправилась, куда ей надо.

— А зачем она так ходила?

— Это чтобы белые ее не выследили. А потом, как добралась она до своих, как передала им все, так тут и упала.

— Почему же она упала?

— Она и сама не знала. От страха, наверно...

— А подпольщики обрадовались?

— Конечно! Они готовиться стали. Тут вскоре красные подошли. С двух сторон они ка-ак по белым ударят! Ну, и освободили город.

— А Катя?

— Ну что ж Катя, она свое сделала. В городе ее муж-матрос отыскал вместе с дочкой. Очень он обрадовался, что они живы и здоровы и так всё хорошо выполнили...

— И сделали пир на весь мир? И я там был, мед-пиво пил?.. Да? — лукаво спросила внучка.

— Нет, Алёнушка, какие тогда пиры, белые-то еще рядом были. Еще сколько после этого воевать пришлось. Пир это теперь, когда...

Екатерина Федоровна не договорила и, вздрогнув, замолкла. В комнату быстро вошла дочь.

— Мама, почему ты никогда не рассказывала мне эту сказку? — спросила она.

— Ты слышала?

— Ну да. Мы полчаса назад вернулись. Я сидела в столовой у двери... Скажи, мама, эту маленькую девочку звали Женя, да? Ну, говори же скорей!

Екатерина Федоровна молча кивнула головой.

Маленькая Алёна уже оправилась от впечатлений, произведенных бабушкиной сказкой, и теперь вопросительно смотрела то на мать, то на Екатерину Федоровну, не понимая, почему они обе так волнуются.

Чудаки эти взрослые!





ВЫСШАЯ НАГРАДА

Уральский танковый корпус, прославившийся в сражениях Великой Отечественной войны, был одним из тех боевых соединений, которые всегда шли впереди. Корпус этот был сформирован из добровольцев — рабочих, техников и инженеров уральских заводов. Они воевали на хороших советских машинах, которые сами когда-то изготовляли и которые впоследствии изготовляли для них их товарищи, оставшиеся в тылу. Боевая отвага, мужество, мастерство, искони присущие русскому воину, большевистская сознательность и одухотворенность, всегда отличавшие советских солдат, сочетались в воинах-уральцах с привычкой к механизмам, с хладнокровием, каким издавна славится здешний характер.

Вот почему в решающие моменты сражений, когда комбинированным ударом артиллерии, авиации и пехоты удавалось пробить во вражеской обороне брешь, командование часто вводило в прорыв именно этот корпус, который шел в головном эшелоне войск, развивавших успех.

В этом славном уральском корпусе взводом танковой разведки командовал лейтенант Дмитрий Слепуха. Это был молодой, но опытный офицер, как говорили про него — «танкист до мозга костей». Храбрость сочеталась в нем с хладнокровным расчетом. Хотя по роду обязанностей разведчика он всегда вел свои машины впереди наступающей части, по территории, еще занятой врагом, где каждый поворот дороги таил неожиданности, а каждый овраг мог оказаться минированным, — он всегда приводил взвод целым и невредимым, доставлял опера-

тивные сведения, точные, лаконичные, какие особенно ценятся в наступлении.

От природы Слепуха был немногословен, хвастаться боевыми делами не любил, но офицеры, знакомившие свежее пополнение с традициями части, всегда рассказывали, как Слепуха на одной-единственной своей машине разгромил вражеский артиллерийский полк. Случай этот был действительно выдающимся даже в богатой славными делами истории уральского корпуса, и поскольку я хочу познакомить читателя с жизнью Дмитрия Слепухи, об этом следует рассказать.

...Однажды, в дни нашего бурного наступления, на территории, густо насыщенной вражеской артиллерией, Слепуха, укрыв свою машину в засаде, разведывал окружающую местность. Был туман. Вражеские огневые точки приходилось засекать главным образом по звуку то далеких, то близких выстрелов. И вдруг разведчик заметил, что дорога, по которой он привел машину в засаду, занята: по ней движется большая вражеская часть. Отходить поздно. Противник рядом, и уже можно, не напрягаясь, различить шум приближающейся колонны. Установить силы врага из-за тумана было нельзя, но опытный разведчик по шумам передвижения понял — крупная артиллерийская часть меняет позиции. Веря в мощь своей боевой машины, веря в стойкость и мастерство экипажа, он принял решение, которое может показаться невероятным.

Вскочив в машину и задраив люк, он скомандовал механику-водителю:

— Выводи на дорогу! Полный вперед!

— Навстречу колонне? У них же вон пушки, — с сомнением отозвался водитель, не отрывавший взгляда от смотровой щели.

— Вперед! Самый полный! — повторил Слепуха и приказал обрушить на колонну огонь пушки и пулеметов.

Мотор взревел, машина вырвалась из засады на узкое шоссе и, внезапно возникнув из тумана перед вражеской колонной, двинулась прямо на нее, сея огонь, давя гусеницами артиллерийские упряжки, ломая орудия, сшибая в кювет автомобили. Так и проутюжила она всю колонну, отметив свой путь длинным следом, пролегшим по разбитому, исковерканному железу, и прорвалась к своим, не принеся на броне ни одной вмятины. А на следующий день, когда район был очищен и допрошены пленные, было установлено, что машина Слепухи разметала и передавила вражеский артиллерийский полк, менявший позиции под покровом тумана.

Новички-танкисты, которым ветераны корпуса потом рассказывали эту историю, с почтением смотрели на молодого,

сухощавого, всегда очень собранного офицера с орлиным профилем и детскими светлоголубыми глазами.

Друзья и командиры считали Слепуху одним из тех, кто прочно врос в походную жизнь, для кого война стала бытом. И только сам Дмитрий Алексеевич знал, что это представление неправильное. Пройдя на танке тысячи километров фронтовых дорог, заслужив среди однополчан славу отличного, храброго, находчивого воина, не знающего в бою безвыходных положений, он все время тосковал по Уралу, по родному руднику, по своему экскаватору, с помощью которого он в мирное время в буквальном смысле этого слова черпал неиссякаемые богатства горы Магнитной. Он скучал по своей работе.

Да, именно об этой своей работе, которая прежде казалась ему обычным, будничным занятием, он мечтал теперь, двигаясь по пятам отступающего врага, по истерзанной, израненной войной земле. До войны, хотя он и был на Урале одним из зачинателей стахановского движения среди экскаваторщиков, Дмитрий Алексеевич как-то не задумывался о сущности своего труда, о значении своих новаторских починов, о радостях трудового первооткрывательства.

С юных лет, с той самой поры, когда он, сын кубанского казака из станицы Пашковской, окончив горнопромышленное училище, сел в кабину экскаватора, труд стал для него чем-то неотъемлемым от его существа. Он весь отдавался труду, даже порой забывал, что работает, как здоровый человек не замечает, скажем, как он дышит. Он даже всегда немножко удивлялся, увидев в заводской газете свой портрет, читая или слыша по радио о своих рекордах: ему казалось, что ничего особенного он, в сущности, не делал. Просто работал в полную меру сил.

Но когда война оторвала его от Урала и ему пришлось пересесть из экскаватора в танк, он понял, как много в его жизни значил труд, приносивший ему столько радости.

В дни боевой страды, когда корпус не выходил из сражений, а танкисты-разведчики неслись навстречу неожиданностям и опасностям, соревнуясь с врагом в хитрости и ловкости, высматривая дорогу для наступающих соединений, эта тоска по труду на время как бы притуплялась. Но стоило корпусу отойти на отдых, стоило лейтенанту Слепухе получить хотя бы несколько дней, для того чтобы отоспаться и отдохнуть, как эта тоска труженика с новой силой овладевала им.

Он скрывал это от товарищей, и танкисты не понимали, почему это лейтенант Слепуха, вместо того чтобы пойти послушать приехавших на гастроли артистов, почитать книжку или просто погулять с девушками, шел в лесок, где стояли боевые

машины, и вместе с механиками из походных летучек возился у разобранных моторов с ключами, с автогенным аппаратом, со вкусом обтачивал на походных тисках какие-то части. А Слепуху даже сам запах смазочного масла волновал, как напоминание о родной, далекой, желанной мирной машине.

Освобождены были последние пяди советской земли. Танки неслись по дорогам Польши, Германии. Мелькали города и села с чужими, трудно произносимыми названиями. Чуя свой близкий, безысходный конец, все жестче огрызались фашистские армии. Эсэсовские полки, прикрывавшие отступление, безжалостно жгли и уничтожали свои же села и города, стараясь оставить за собой мертвую, выжженную, начиненную минами землю. В те дни советское командование старалось все время наращивать стремительность наступления — не только для того, чтобы не дать врагу окопаться, прийти в себя, но и чтобы своими внезапными ударами, охватами, обходными маневрами спасти от уничтожения немецкие города и села, сохранить крыши для мирных жителей, робко приветствовавших Советскую Армию, как свою освободительницу от фашистского кошмара.

И тут в немецком городке, недалеко от Дрездена, произошел случай, который стал особой страничкой в биографии лейтенанта Слепухи.

Танковая рота, которой он уже тогда командовал, прорвалась в этот город не с востока, а с запада, ударив в тыл укреплениям противника. Вражеские части прикрытия бежали, не успев зажечь здания. Все же некоторые дома полыхали, подожженные уже издали снарядами.

Остановив из осторожности свои машины на перекрестке, Дмитрий Слепуха вышел из башни, чтобы ориентироваться. Черный дым полз по желобам улиц. Кругом было совершенно безлюдно. Кое-где из окон, с балконов свисали белые простыни. Невдалеке горел большой дом. И вдруг сквозь глухой гул и потрескивание близкого пожарища до лейтенанта донеслись детские крики. Они слышались откуда-то сверху. Нижние этажи дома были объяты пламенем; огонь и дым вырывались из окон, окутывая все здание.

Когда порыв ветра отнес дым, в окне третьего этажа можно было увидеть двух детей — мальчика лет семи и совсем маленькую белокурую девочку. Девочка плакала, а мальчик что-то кричал, чего танкист не смог расслышать. Но он понял — дети зовут на помощь.

Дети были высоко. Из подъезда валил дым. Путь был отрезан.

Слепуха, как это всегда бывает с опытными воинами,

мгновенно принял решение. Приказав башнёрам развернуть орудия и вести непрерывно наблюдение за смежными улицами, офицер бросился во двор. Ну да, металлическая пожарная лестница, приделанная к стене, вела на крышу. И хотя железо внизу уже изрядно накалилось огнем, вырывавшимся из окон, Слепуха, обжигая руки, полез вверх.

Боевые машины с заведенными моторами, грозно дрожа, стояли на перекрестке, держа улицы под контролем пушек. В любое мгновение они были готовы броситься в бой. Танкисты, в замасленных комбинезонах, потные, возбужденные только что проделанной операцией, стояли в башнях. Запрокинув головы, они смотрели в черную дыру окна, где то вырисовывались, то исчезали в дыму два искаженных ужасом детских лица.

И вот позади, в черноте комнаты, возникло сухощавое лицо командира. Наклонясь, он что-то говорил детям. Потом окно опустело.

Через несколько минут, показавшихся всем очень тягостными и длинными, в воротах показался Слепуха. Он нес на руках девочку. Мальчик сам робко шел за ним, доверчиво держась за синюю штанину промасленного комбинезона.

И тут произошло нечто невероятное, о чем Слепуха до сих пор не может вспомнить спокойно. Улица, мгновение назад казавшаяся вымершей, пустой, вдруг ожила. Откуда-то из подвалов, из подворотен показались изможденные люди с бледными лицами, темными от сажи и грязи. Доверчиво, без опаски подходили они к чужим боевым машинам. Женщина и девушка, отделившись от общей группы, приблизились к советскому офицеру, приняли от него детей. Какой-то старик, окутанный пледом, вдруг наклонился и попытался поцеловать Слепухе руку.

Все это отняло минут пять. Танки рванулись вперед. Дальше был Дрезден, превращенный бесцельной и злобной американской бомбардировкой в руины, дымящиеся развалины Берлина, ликующая весенняя Прага, открыто и восторженно приветствовавшая своих освободителей. И хотя каждый из этих этапов войны оставил сам по себе незабываемое впечатление, маленький эпизод на улице немецкого городка с трудно запоминающимся названием навсегда остался для Дмитрия Слепухи одной из памятных страниц войны.

А дальше жизнь сулила ему большую радость. Уральский стахановец, сняв офицерские погоны, вернулся на родной рудник, к мирной профессии, о которой он столько мечтал в короткие минуты фронтового отдыха. Взобравшись в кабину экскаватора, работавшего в забое на склоне горы Магнитной,

он пережил то ни с чем несравнимое волнение, какое испытывает много повоевавший солдат, стоя на пороге своего дома, у двери, за которой живет его семья.

Потом потекли обычные трудовые будни. Для Слепухи они были радостнее праздника. Он работал неутомимо, с жадностью, с какой насыщается изголодавшийся человек. Он снова стал весел, общителен, разговорчив и при случае, толкуя с ремесленниками, часто навещавшими рудник, любил помянуть, что среди всех наград, полученных им, самая дорогая — это труд вот на этой самой машине.

До Урала донеслась тогда еще мало кому знакомая весть о том, что в междуречье Волги и Дона начаты созидательные работы огромного масштаба. По деталям машин, какие начали изготовлять для этого строительства уральские заводы, люди догадывались, что работы эти небывалые. И Дмитрия Слепуху, который к тому времени вновь обрел славу первого на руднике экскаваторщика, женился и стал отцом, неудержимо потянуло с обжитого Урала в Донские степи, на эту первую из великих строек новой пятилетки.

Он послал туда заявление, в котором сообщал свою биографию, и написал, что для него, советского солдата, прошедшего путь войны, участие в этой стройке будет высшей наградой из всех, о каких он только мечтает.

Ему телеграфировали: «Приезжайте». Строительство тогда только еще начиналось, и, прибыв на место, Дмитрий Алексеевич начал с того, что смонтировал привезенный туда по частям экскаватор «Уралец». Поставив его, как он говорил, «на ноги», он добыл на нем первые кубические метры земли на судоходной части канала.

С тех пор он не расстается с машиной. Свой «уралец» он то шутливо именует «моя лопата», то ласково называет «земляком». Это отличная машина. Дмитрию Слепухе, проработавшему за свою жизнь на машинах одиннадцати советских и иностранных марок, «уралец» раскрыл все свои богатейшие, далеко еще не исчерпанные производственные возможности. Вспоминая свой трудовой путь и все машины, на которых ему доводилось работать, Слепуха признает этот экскаватор лучшим.

С первых же дней Дмитрий Алексеевич своей «лопатой» творил чудеса. Он быстро достиг и превысил сначала плановые, потом проектные нормы. Чуть ли не каждый месяц он ставил и побивал свои собственные рекорды. Сам конструктор машины, приезжавший с Урала на стройку, много часов провел в кабине Слепухи, наслаждаясь тем, как работало его детище в руках этого мастера. Как равный с равным,



Дмитрий Алексеевич Слепуха.

советовался он с Дмитрием Алексеевичем, слушал его критику, записывал его предложения, подсказанные практикой, и вместе они мечтали о новых, могучих механических лопатах, которые пока лишь рисовались в воображении конструктора.

Да и как было не радоваться отцу стального богатыря! В искусных руках Слепухи «уралец» выбирал за смену вместо тысячи кубических метров грунта до трех тысяч и больше. Какой толчок давали эти цифры творческой мысли конструктора!

«В чем же секрет такого успеха?» — думал конструктор, сидя в просторной кабине, за решетчатыми окнами которой все время двигалась панорама стройки.

Ответить на этот вопрос помогла ему одна, казалось бы, не особенно существенная деталь, ничего общего с техникой не имеющая: белый голубь, не очень искусно нарисованный на козырьке машины.

Приезжий инженер, конечно, знал, что означала эта широко известная эмблема сторонников мира, и все же он поинтересовался, почему экскаваторщик изобразил ее на кабине машины.

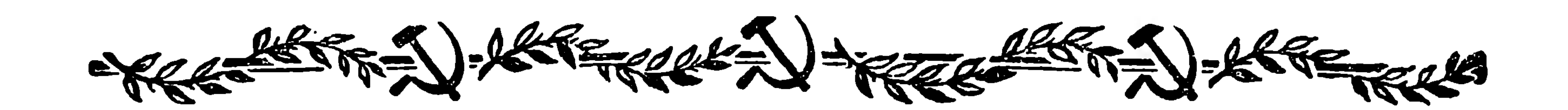
Слепуха ответил, что его экипаж стал на вахту Мира и что весь его экипаж — ветераны минувшей войны.

— Вы много воевали? — задумчиво спросил конструктор.

— Пришлось, — ответил Слепуха, с артистической ловкостью орудуя рычагами машины.

Инженер кивнул головой. Он уже не раз наблюдал у себя на заводе, как демобилизованные воины, вернувшись к мирным занятиям, удивляли окружающих своим рвением и мастерством. И он все понял.





МОРСКАЯ УЛИЦА

«Победа» была новенькая, прямо с завода. Необкатанный ее мотор был с ограничителем. Поэтому двигались мы, по выражению водителя, со скоростью «девятый день десяту версту», и сам он чуть ли не зубами скрипел от досады, когда его обгоняли даже старенькие колхозные грузовички с тарахтящими, расшатанными бортами.

За стеклом с удручающей медлительностью, какая бывает только во сне, бесконечно тянулась однообразная, ровная степь, кое-где сверкавшая седоватым инеем солончаков. А движение было такое, что пыль стояла над большаком, как серый, тяжелый туман. Все вокруг — и могучие мачты высоковольтной передачи, шагавшие через дорогу, и глубоко провисавшие ее провода, и придорожные былинки, и даже суслики, столбиками стоявшие на своих холмиках и равнодушно следившие за непрерывным бегом машин, — все это было покрыто замшевым слоем пыли.

То там, то тут пыль эта вдруг начинала завиваться сизым смерчем, подниматься вверх, и уплотнившийся столб, крутясь на остром основании, как бы упирался в невысокое, тусклое небо, но скоро и он растворялся все в том же буром сухом тумане.

Даже прохлада осенних сумерек не осадила пыль. Свет автомобильных фар увязал в ее серых переливающихся клубах. Машины шли теперь, неистово ревя сиренами. Езда становилась опасной, и шофер предложил завернуть на ночь в «один знакомый хуторок», известный своим председателем колхоза — человеком деловым, инициативным, а главное,

«дюже ласковым до людей с Волго-Дона». Где-то, у заметной лишь одному ему дорожной приметы, шофер свернул с грейдера на степной проселок. Мы вырвались из пыльного плена и через час езды увидели россыпь неярких, уютных электрических огней. Перед нами широко раскинулся хутор.

Машина остановилась у нового, большого приземистого здания, где помещалось колхозное правление. Густо запотевшие окна были ярко освещены; за ними, плотно теснясь, чернели человеческие силуэты. В открытую форточку, как из трубы, тянуло синеватым махорочным дымом. Шофер вбежал в дом и через минуту появился на крыльце с коренастым человеком в военном кителе и сверкающих сапогах. Вытирая платком бритую голову, человек этот подошел к машине, поздоровался и сказал веселым хрипловатым басом:

— Вы уж езжайте прямо до моей жинки. Я ей сейчас по телефону полную инструкцию передам. Она вас приветит... А я, звиняйте, дюже занятый: лекция у нас о поливном земледелии... Из Москвы человек читает. — И, обращаясь к шоферу, добавил: — Так ты, гвардия, маршрут помнишь? Это вот Морская улица, а там, ей в торец, Набережная. Так вот, Набережная, дом три. Крыльцо расписано под масляну краску... То мой. Я Горпине звякну. Она вмиг развернется. Она у меня дюже мобильная.

Но мы не дали «развернуться» хозяйке, действительно оказавшейся очень гостеприимной и расторопной. Медленная езда по степи нас совершенно измотала, и, едва стряхнув с себя пыль, мы отправились в светелку, где хозяйка уже раскинула постели, и с удовольствием растянулись на прохладных, чистых простынях.

Наконец-то, после утомительного скитания по пыльной, сухой степи, мы добрались до воды! И хотя впотьмах не удалось рассмотреть окрестности, сами названия: Морская улица, Набережная, в которых как бы слышались и влажный, прохладный ветерок, и плеск воды, и шелест прибрежного камыша, ласкали слух.

Заботливая хозяйка затенила абажур лампы вышитым рушником. В просторной комнате, стены которой еще источали смолистый запах, воцарился приятный полумрак, и в нем как-то странно, слишком отчетливо вырисовывались на фоне кружевных занавесок растения, поднимающиеся из небольших горшков; вместо цветов на них висели тугие волокнистые плоды. В домашней обстановке растения эти выглядели необыкновенно; в то же время трудно было отделаться от мысли, что где-то ты уже видел их. Но когда, где, у кого — мне так и не удалось припомнить.

Уже сквозь сон мы слышали, как вернулся домой председатель, как ходил он на цыпочках, скрипя своими сапогами, как деликатным полушопотом пенял он жене за то, что она позволила «людям с канала» лечь без ужина. Потом, стараясь не шуметь, он говорил по телефону. Сиплым заговорщическим басом он благодарил кого-то за дельного лектора и долго торговался, выпрашивая оставить его «хоть на недельку, хоть на пять дней, ну хоть на одни суточки» в своем колхозе для консультации. Когда председатель угомонился и, должно быть, лег спать, два молодых голоса, мужской и женский, вдруг заспорили, что выгоднее: рис или хлопок, — заспорили горячо, шумно; но голос председателя тем же заговорщическим шопотом оборвал:

— Цыц, спать!

Всё вместе: необыкновенное название улиц в этой степной станице, телефонный разговор председателя, этот спор и странные цветы на окне — слилось в общее впечатление чего-то нового, необычного, сулящего неожиданности. С этим чувством я и проснулся и, проснувшись, первым делом узнал, что странные растения на окне — это кусты хлопка разных сортов, еще цветущие наверху, а снизу уже отягощенные созревшими, растрескавшимися коробочками. За кружевной занавеской окна ветер перебирал лапчатые листья молоденьких акаций, а за этими деревцами вместо реки или озера, которым полагалось виднеться с Набережной, простиралась все та же серая, сухая, голая степь, далеко видная со взгорья, на котором находился хутор.

В соседней комнате нас ждал обильный завтрак, прикрытый чистой салфеткой. Но хозяина дома уже не было. Жена его, высокая, неторопливая и какая-то вся очень прочная казачка, одетая как сельская интеллигентка, но с головой, покрытой белым ситцевым платочком, завязанным под подбородком, сказала, что «батько» еще до света увез на своем козелке московского гостя в степь, в поля, где будущей весной на орошаемых участках колхоз собирается сажать хлопок и рис. Она сказала, что уже в этом году колхозники делали опыты, и хотя с водой все еще туго — ее приходится движком качать из колодцев с большой глубины, — опыты удались, и что теперь общей мечтой стало сделать здесь поливные культуры столь же знаменитыми, как и виноград, который колхоз, переселяясь из затопленной зоны, перенес с собой в новые места.

— Почему же плохо с водой?

— А как же! До Дона-то теперь, не соврать бы, километров тридцать. Из колодцев качаем. Да какая же она, эта вода! Соленая, жесткая. Скотина, и та от нее отворачивается.

— Ну, а улицы у вас называются Набережная, Морская!

Хозяйка скупо улыбнулась, сверкнув крепкими зубами:

— А что ж названия! Названия — они не зря. Весной сюда вот, к самому нашему дому, Цимлянское море придет. Вот и Набережная... А Морская — так по ней к пристани путь будет, к самому морю. А как же! Когда мы прошлой весной со старых мест снялись да тут строиться начали, пошли в правлении споры, как улицы называть. Раньше-то у нас одна улица была, кишкой по-над Доном тянулась. А теперь вон как широко поселились: и улицы, и переулки, и площади. У нас и бульвар есть. Хоть сейчас там клушке цыплят в тени не спрятать, а назвали бульваром. Деревьев насадили: акацию, вербу, вишню... Растут...

Она помолчала. Ловкие руки ее неторопливо и как-то очень заботливо придвигали гостям еду, накладывали куски повкуснее, меняли тарелки.

— А по старым местам не скучаете?

Хозяйка вздохнула:

— Я так по совести скажу — скучаю. Ну как же: родилась, выросла там. Деды, прадеды там похоронены. Да и хутор-то у нас хорош был, зеленый, веселый... Да что там говорить, старую грушу — и ту рубить жалко! А с собою разве подымешь? Ну, а батько наш, да и другие многие — эти уж о прежних местах и забыли. Они сейчас всё вокруг хлопка да риса танцуют. Вперед глядят, назад им оглядываться некогда. Вчера до глухой ночи спорили, что лучше растить. Одни кричат — рис доходней, другие — хлопок, он государству нужней. Наш-то вон вечор во втором часу ночи домой прибыл. А молодые и того позже. Да и то, видать, не откипели: тут вот ночью открыли дискуссию, пока батько на них не цыкнул. Они о старых местах и не вспоминают. Для них это уж дно морское. Им что...

Женщина опять вздохнула и отвернулась от нас, ставя на стол блюдо с виноградом. Тяжелые, налитые темносиние кисти, еще блестящие от утренней росы, свисали с него.

— Наш, знаменитый... Кушайте! Последний... Когда он теперь на новом-то месте урожай даст! Не скоро, поди.

Наступило молчание. Хозяйка задумчиво смотрела на матовые, как бы пыльные гроздья, собранные еще «на старом месте». Карие глаза ее стали печальными. Вдруг она улыбнулась каким-то своим мыслям и, должно быть, опасаясь, как бы гости неправильно не истолковали ее улыбку, поспешила пояснить:

— Вот вы спросили, почему Морская улица. А знаете, о чем у нас спорят? Не сменить ли старое название хутора?

Комсомольцы новое придумали: Пятиморский... мол, корабли с пяти морей тут останавливаться будут. Сначала-то казаки над ними смеялись, а сейчас и сам наш батько иной раз вдруг посреди разговора ни с того и ни с сего брякнет: «А что, мол, Горпина, чем плохо — Пятиморский?»

Зазвонил телефон. Хозяйка сняла трубку и отвела от уха платок.

— Да нет. Еще у нас... Да, завтракают... Да что я, не знаю, что ли? Учит!.. Да передам, передам, занимайся своими делами, а гостей привечать — дело хозяйкино.

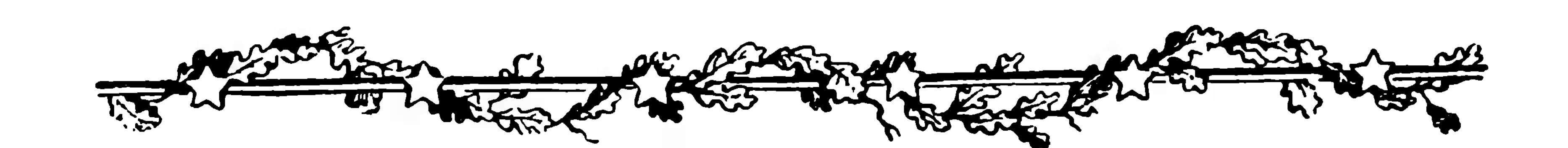
Она повесила трубку на крючок.

— Сам. Батько наш звонит: беспокоится, как вас угощаю... Он до вашего этого каналу всем сердцем прирос, и как кто с канала у нас заночует, сам не свой. Это ладно, что вы рано заснули, а то бы он вас заговорил до смерти. Все ему знать надо.

Через полчаса мы уезжали. В ярких утренних лучах Морская улица лежала перед нами двумя широкими рядами веселых домиков, точно привставших на цыпочки на своих кирпичных фундаментах. Посреди этой центральной улицы была просторная площадь, и вокруг нее совсем уже по-городскому расположились большие здания: клуб, колхозное правление, ясли, аптека. Вдоль широких профилированных тротуаров двумя шеренгами вставали тоненькие деревца, а из-за новых невысоких плетней выглядывали совсем еще молодые садочки.

И хотя все это было покрыто все тем же зеленоватым слоем пыли и пожилой водовоз развозил по домам в цистерне, укрепленной на старом «газике», драгоценную пока что здесь воду, уже нетрудно было представить, как с Набережной откроется вид на лазурные водные просторы и как по этой вот Морской улице покатят машины, неся груз на пристань для судов, пришедших с пяти советских морей.





ЗАЙЧИК

Новый поселок строителей, просторный, с широкими, прямыми, щедро освещенными улицами, со столичными автобусами, надменно проплывающими мимо маленьких веселых домиков, как-то вдруг оборвался у последнего чугунного светильника, и сразу открылась степь. В густой дымке закипающей метели она казалась первозданной.

Не проехав и четверти часа, машина уткнулась в островерхий сугроб, брошенный ветром поперек дороги, и забуксовала. Сердито взвыл мотор. Пока шофер отвязывал лопату, которую он предусмотрительно возил с собой, приторочив к ручкам дверей, мы выбрались наружу. Во мгле сердито шелестел сухой, колючий снег. Несясь порывами, он яростно сек лицо, струился под ногами и так налетал на фары, будто старался их погасить. И все же, пробивая шевелящуюся кисею метели, снопы автомобильных огней освещали кусок дороги. Обрамленная расплывчатыми снежными валами, она была девственно бела. Ветер заметал на ней одинокий человеческий след.

Спутник мой, инженер в щеголеватой форме железнодорожника, показал на этот заносимый метелью след и, ухмыльнувшись, вдруг запел слабеньким, но приятным баритонцем:

Степь да степь кругом,
Путь далек лежит.
В той степи глухой
Умирал ямщик...

— Похоже, а? Свистит, крутит! Необузданная стихия... А ведь тут утром моя автоколонна прошла. Машин пятьдесят, тюбинги со станции перегоняли. — Он приподнял рукав шинели и глянул на часы. — А скоро автобусы с шахт людей повезут... Вот она какая у нас, стихия-то!

Было заметно, что инженер не прочь порисоваться перед новым в этих краях человеком необычностью условий, в каких им, метростроевцам столицы, доводится тут рыть русло подземной реки.

Между тем шофер провел «победу» через сугроб, мы заняли места, и машина двинулась навстречу бурану, как бы осторожно нащупывая колесами дорогу, маневрируя между курящимися снежными валами. Одинокий человеческий след, то уже почти занесенный, то четко вырисовывающийся в косом свете фар, все еще тянулся вдоль дороги, как бы усиливая картину степного безлюдья.

— Это маркшейдер Горохов, — предположил инженер и, повернувшись с переднего сиденья, пояснил: — Есть у нас тут один комик — фигуру бережет, ходит пешком с работы и на работу.

— Нет, не Горохов, — возразил шофер, не отводя с дороги напряженного взгляда: — Горохову в эту пору с шахты на поселок идти, а след-то вон он, как раз обратный. Да и маленький следок, вроде бы детский. Я и то уж, когда сугроб копал, подивился: кого это в такую метелищу в степь понесло?

Между тем след становился все более четким, и вдруг, когда машину подкинуло на очередной снежной, как выражался шофер, «передулине», огни фар, взметнувшись, осветили впереди маленькую фигурку, еле различимую сквозь частую штриховку несущегося снега.

— Что я говорил! Видите, мальчишка, — сказал шофер. — Вот мать разиня, выпустила одного в такую пору!

Действительно, это был подросток. В ушанке, в ватнике, в стеганых шароварах, заправленных в валенки, с двумя тючками, висевшими у него на плече наперевес, он остановился и, сойдя на обочину, решительно поднял руку. Весь с головы до ног он был облеплен снегом.

— Заберем? — спросил шофер.

— Ну, чего спрашиваешь! — отозвался инженер и, перегнувшись через спинку сиденья, открыл заднюю дверцу. — Эй, орел, влезай! Некому тебя за уши драть. Замерз?

Паренек подошел к машине и, сняв с плеча свои тючки, протянул их мне. Это были связки книг, довольно тяжелые. Увидев книги, инженер и шофер почти одновременно — один

удивленно, другой с плохо скрываемым смущением — воскликнули:

— Валя!

Паренек между тем отряхнул снег о подножку и влез в машину. Круглое лицо его пылало, исхлестанное степным ветром. На бровях, на детском пушке, покрывавшем его налитые щеки, блестели ледяные кристаллики. Большие очки, сразу же запотевшие в тепле машины, скрыли его глаза. Паренек кое-как разместился на сиденье, на ощупь удостоверился, что книги его тут, и вдруг необычайно мелодичным для мальчика голосом произнес:

— Ну и метелица! Ужас! Протянутой руки не видно. Спасибо, товарищи, что захватили.

Он снял очки, чтобы их протереть, и вдруг, к удивлению моему, оказался прехорошенькой круглоликой девушкой лет семнадцати. Разглядев инженера, девушка подняла свои черные брови, на которых искрились росинки влаги:

— Это вы, Иван Кириллович! А я думаю, кто это в такую метель да на «победе»... Вот и не зря меня подобрали. Я вашу просьбу не только выполнила, а и перевыполнила. Вот... — Девушка многозначительно похлопала рукавичкой по одному из своих тючков.

— Эх, если бы у меня все начальники шахт так слово держали! — отозвался инженер. — Но как же это вы, Валенька, ухитрились перевыполнить мою заявку? Я, сколько мне помнится, просил вас достать только брошюру с докладом Поспелова.

— «Сталин о Ленине» у вас есть. Брошюру вам везу. И еще везу сборник о международном значении ленинизма, потом статью Мао Цзэ-дуна... А как же! Вам докладывать по такой теме: «Без Ленина по ленинскому пути»... А вам большое спасибо, выручили. Иду и думаю: а вдруг опоздаю на первую шахту к смене! Сама утром им позвонила — мол, буду, и вдруг нету...

— И не пришли бы — какая беда! Из-за этого у них там обвала бы не произошло. Разве это резон — в темь, в метель — и пешком! — заворчал шофер.

— Ну-ну, вы так, товарищ Петухов, не говорите — какая беда! Завтра воскресенье, отдых. Как же они без книг! Сами мне каждый раз про «Пугачева» напоминаете.

— Неужели достали? — оживился шофер и обернулся так резко, что машина метнулась в сторону.

— Увы, «Пугачева» все еще механик Сергеев держит. Все три тома. Теща читает. Вы знаете, товарищи, теща Сергеева — это мой злой рок... Страшно начитанная теща, новинки так и

хватает, но читает ужасно медленно. Оправдывается: внук очки разбил. Я вот собираюсь заказать ей в городе очки, а то она мне весь книжный конвейер задерживает.

Капельки растаявшего снега все еще сверкали на бровях, на щеках, на локоне, выбившемся из-под ушанки, но девушка, повидимому, чувствовала себя совершенно как дома. Непринужденно болтая, она добродушно, доверчиво посматривала вокруг ясными, зеленоватыми, очень, должно быть, близорукими глазами, казавшимися неестественно маленькими за толстыми линзами. От нее веяло юностью, морозом, какой-то ясной чистотой.

— А Громову я, кажется, выговор влеплю в приказе за то, что он вам машину не дает, — сказал инженер, и чувствовалось, что он с трудом сдерживает улыбку.

— Что вы, Иван Кириллович, как можно! — всполошилась Валя. — Товарищ Громов действительно скуповат, но ведь он же хозяйственник. И машину он мне дал — целый семитонный самосвал. Но я отправила его за углем для библиотеки... Подумаешь, расстояние — семь километров! Что я, кисейная барышня, маменькина дочка какая-нибудь? Я такой же работник, как и все... Простите, товарищ, а вы не новый инженер с третьей шахты? Нет? А то тут появился какой-то странный инженер: вот уже месяц работает и ни одной книжки у меня не взял.

Узнав, что я из Москвы, девушка смолкла. Она забилась в уголок сиденья и затихла, придерживая стопки книг, чтобы они не расползлись по кабине. Странно было увидеть на ее круглом лице, таком румяном и здоровом, налет задумчивой грусти.

— Москва! У меня там мама... на Арбате. Старенькая уже... Она даже не плакала, когда я заявила, что еду на Волго-Дон. Она только сказала: «Куда ты, Валек, со своими глазами! Ты ж ничего не видишь — будешь на все натыкаться, всем мешать...» Иван Кириллович, я разве кому-нибудь мешаю? Я, конечно, на подземные не прошусь, но ведь я и так приношу какую-то пользу, работаю... А хорошо сейчас в Москве, да? — Девушка оживилась, за толстыми линзами очков в глазах ее сверкнула отчаянная лукавинка. — Вы скоро обратно? Вот и чудно, вы мне поможете. Я дам вам маленький списочек, вы зайдете в Ленинскую библиотеку и убедите их прислать мне из передвижного фонда все эти книги. Ладно? На месяц... Тут у нас трое кандидатские диссертации пишут. Я им литературу выписала через обменный фонд, но не все, кое-чего не хватает. Обещаете? Обещаете, а? Ну зайдите, что вам стоит!

— Еще не родился такой человек, который посмел бы отказать нашей Вале, — заметил инженер. — Тут к нам для консультации один академик прилетел, так она у него еще не изданный курс лекций для наших диссертантов выпросила... И ведь что удивительно — недолго сопротивлялся! Прислал.

— А как же! — убежденно произнесла Валя. — Что же им, научную работу прекращать из-за того, что они тут, на стройке, а не в Москве?

— И много у вас книг читают?

Строго сведя темные, четко очерченные бровки со щеточками у переносья, девушка бросила на меня уничтожающий взгляд:

— Скажите сначала, почему вы это спросили? — Она сердитым жестом достала откуда-то из кармана ватника кожаную папку, протянула ее мне и произнесла с подчеркнутой сухостью: — Можете просмотреть абонементы первой шахты.

Заношенная, пухлая папка еще хранила ее живое тепло. Девушка сейчас же отобрала папку, без выбора выдернула абонементную карточку и, держа ее, точно хрупкую и дорогую вещь, сердито сказала:

— Вот Попов Матвей. Проходчик. Каждый месяц ставит рекорд и сам его побивает. Очень знатный человек... Ведь так, Иван Кириллович?.. Прочел за год семнадцать книг. И каких! Смотрите, смотрите! Энгельс «Происхождение семьи...», Ленин «Материализм и эмпириокритицизм», Чернышевский «Что делать?» Сейчас вот ему четвертый том Сталина везу... Он учится по первоисточникам.

Замелькали абонементные карточки, фамилии, названия книг. Очки Вали победно посверкивали. Она, должно быть решив окончательно посрамить человека, который, как ей показалось, усомнился в ее читателях, бросала мне на колени одну карточку за другой.

— Ну, а новое что-нибудь удалось вам достать? — незаметно подмигнув мне, спросил инженер.

— А как же! Мне на этот раз «подфартило», как выражается у нас тут один знаменитый бригадир комсомольцев-проходчиков Алексей Линев... Во-первых, удалось для изучающих достать пятнадцать книг по историческому материализму. Знаете, как это сейчас трудно! Во-вторых, Леше Линеву везу полный комплект учебников для десятого класса. Он ведь в обязательство записал выполнить план проходки на сто восемьдесят процентов и сдать на «отлично» экзамены на аттестат зрелости... Пришлось для этого в район ехать. До самого секретаря райкома дошла, но учебники вырвала. В-третьих...

Ой, кажется уже приехали! Вот хорошо-то... Автобусы еще стоят, вечернюю смену застану.

Впереди, за марлевой сеткой метели, в свете сильных прожекторов смутно вырисовывались новый, не обдутый еще ветрами забор, невысокий терриконик, усеченная пирамида копра и контуры приземистых построек, почти заштрихованные косо летящим снегом.

Возле ворот проходной теснились автобусы и машины, точно прикрытые белой ватой.

— Вот спасибо вам, Иван Кириллович! Леша Линев дал мне слово завтра весь день заниматься, а книжки-то и не приехали бы. Вот он теперь обрадуется!.. Он ведь очень хороший, этот товарищ Линев, правда, Иван Кириллович?

Должно быть, мы все-таки немного опоздали. Когда «победа» затормозила у деревянного крылечка проходной и Валя, выбравшись из машины, засуетилась, увязывая свои тючки, дверь открылась, и целая стайка ремесленников выплеснула наружу. Они бросились было к автобусам занимать места получше, но маленький смуглый парнишка в форменной фуражке, заломленной на самое ухо, заметив Валю, сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул:

— Ребя, Зайчик припрыгал! Ура! — Он бросился к машине, крича своим приятелям, еще толкавшимся в проходной: — Эй, витязи! Бегите к Линеву — он в душевой. Скажите, мол, его Зайчик прибыл. Порадуйте бригадира!

Лицо Вали, все еще увязывавшей расползавшиеся книжки, приняло багрово-свекольный цвет.

— Ужасно несерьезный тип этот Бобров! Читает только приключенческие романы, и всякий вздор у него в голове.

Между тем ребята уже обступили девушку.

— А ну, признавайся, чего мне достала? — наступал на нее «несерьезный тип», и его черные цыганские глаза шарили по корешкам книг.

— Вам, Бобров, я привезла «Аэлиту» Толстого. Но если судить по вашему поведению, вам надо было бы привезти журнал «Мурзилку».

Паренек взял книжку и, расписываясь в формуляре, не без яда ответил:

— «Мурзилку» вы привезите вашему Линеву. Почтенный бригадир при виде вас впадает в детство, так что «Мурзилка»...

— Что, что? — спокойно и строго спросил рослый юноша в роскошной пыжиковой ушанке и ватнике, небрежно накинутом на широкие плечи, оттесняя собой ребят, окруживших Валю.

Вся его кряжистая фигура, массивное лицо, еще розовое от банного жара, крупные губы, большой раздвоенный подбородок — все дышало добродушной силой. Его рука, от которой еще шел парок, прочно лежала на плече Боброва, который, сразу присмирев, внимательно перелистывал страницы полученной книги.

— Что ты сказал? — повторил великан, и паренек присел под его тяжелой рукой.

— А вот, Алексей Семенович, говорю ребятам: сообщите товарищу Линеву — мол, товарищ Зайцева Валентина Федоровна с книгами прибыла... Больше, честное комсомольское, ничего! Вон ребята подтвердят.

Добродушный гигант легонько оттолкнул паренька:

— Барабошка, о работе бы думал!

Левой рукой он поднял оба тючка с книгами, подождал, пока инженер вернет Вале свой формуляр, и, бережно взяв ее под руку, повел к проходной, откуда уже валил народ.

— Спасибо, Валя, за книги! — крикнул уже им вслед инженер.

— Как «Пугачев» освободится от этой зловредной тещи, уж вы обо мне не забудьте! — напомнил шофер.

...Осторожно пробираясь сквозь толпу, уже теснившуюся у автобусов, машина выехала на завьюженную дорогу и продолжала путь.

В косое смотровое зеркальце было видно, что шофер улыбается.

Инженер снова принялся тихонько насвистывать под нос про степь, про замерзающего ямщика, но в таком резвом и бодром темпе, что извечно печальная эта песня зазвучала даже весело.





ЭСТАФЕТА

В этот день воды Дона были впервые пропущены через плотину Цимлянского гидроузла. Они хлынули в огромную бетонную чашу, которая с этих мгновений переставала быть котлованом и превращалась в проточный залив великой реки. Под крики и аплодисменты строителей, покрывавших пестрой, веселой толпой гребень водосливной плотины и густыми гроздьями висевших над самым потоком на стальных решетках арматуры, река с напряженным, шипящим ревом ринулась в открытые для нее проходы. Сила ее была так велика, что она быстро, на глазах похоронила под водой огромные зубья волнорезов, перемахнула через гребень водобоя, пересекавший забетонированную долину, и там, где всего несколько мгновений назад ветер гонял колючие, душные тучи строительной пыли, возникло проточное озеро — просторное, прохладное, голубое.

Это быстрое превращение котлована в озеро было настолько необычным зрелищем, что даже инженеры, построившие не одну плотину, не могли оторвать от него глаз. Рабочие же, для которых в этот момент как бы подводился первый итог их трудов, радовались особенно.

Солнце уже уходило за горы вздыбленной земли, а люди все еще сидели группами и в одиночку на берегах молодого озера, ласково наблюдая, как кружат над ним чайки, уже прилетевшие, точно на разведку, с Дона.

Среди расфранченных, празднично одетых строителей выделялась группа гостей в традиционной казачьей форме, в фуражках, в шароварах с лампасами — коренных донцов,

съехавшихся сюда из окрестных станиц. В центре ее, опираясь на палку, сидели стодесятилетний Герасим Васильевич Сиохин, колхозник из станицы Красноярской, а возле него — его внук, такой же плечистый, скуластый и прочный, как дед, — диспетчер одного из участков стройки. Он пояснял старику и землякам происходящее, рассказывал о будущем стройки и, увлекаясь, живо рисовал картины того, что будет в этих краях, когда стройка закончится.

Старик сидел, опершись на палку сложенными руками, положив на них подбородок. В глазах его розовел отсвет заката. Казалось, он думал о чем-то своем, далеком, и трудно было по его как бы окаменевшему лицу понять, слушает он внука или нет. Да трудно и требовать особенного внимания к окружающему от человека, который участвовал еще в турецкой кампании, помнил бои за Плевну и Шипкинский перевал.

Вдруг старик выпрямился, глаза его оживились, и, глядя на озеро, продолжавшее заметно разливаться и как бы набухать зеленоватыми, прозрачными водами, он сказал:

— Славное дело, дюже славное дело! Степан-то Разин — он волоком из Дона в Волгу челны-то, говорят, тащил, а теперь пароходы по степи пустят... Чудеса! Дожил вот... Чевой-то там подняли — раз! — и вот вам озеро, — распрямившись, будто скинув с плеч лет этак с полсотни, сказал старый казак и добавил: — Дюже славно сработано, дюже славно! Такая-то слава, чай, она в огне не сгорит и в воде не сгаснет.

Должно быть, отвечая на эти задумчивые слова казачьего патриарха, сидевший возле него работник Романовского райкома партии, приехавший с группой гостей, рассказал удивительную историю комсомольцев своего района, действие которой развернулось на Дону в дни фашистской оккупации, как раз в тех самых местах, где и тогда возводились сооружения Цимлянского гидроузла.

Фашистская армия прорвалась в эти края тяжелым ударом огромного танкового клина. Лавина машин, с грохотом двигавшаяся по ровной, как стол, степи, разом отрезала жителям все пути отхода. И все же многие, не желая жить с оккупантами, бросили свое добро, оставили насиженные гнезда и степью, без дорог, двинулись на север.

Среди оставшихся, к общему удивлению станицы, оказался секретарь районного комитета комсомола Иван Смоляков. Это был любимец молодежи, деятельный, жизнерадостный человек. Но кипучее сердце его было заключено в больное, немощное тело. С детства он тяжело хромал, и левая рука висела у него бессильно, как оборванная веревка. Он ходил, обычно засунув ее в карман.

И этот человек, единственный из всего районного актива, вдруг остался в оккупированной станице. Все недоумевали, как это могло случиться. Когда в окрестностях на степных дорогах начали вдруг то загораться, то подрываться немецкие машины и трупы убитых врагов начали обнаруживаться то тут, то там: у балок, в камышах, на опушках небольших лесков — и даже когда у врагов в самой станице Романовской ни с того ни с сего вспыхнул и сгорел склад с отобранным колхозным зерном, никому и в голову не пришло, что больной, с трудом передвигавшийся человек имеет ко всему этому хоть какое-нибудь отношение.

А потом Иван Смоляков вдруг и вовсе исчез из станицы. Вместе с ним ушли неизвестно куда еще несколько молодых ребят. Вот тогда-то и поняли казаки, зачем остался секретарь комсомольского райкома на оккупированной земле.

Все чаще горели вражеские склады с хлебом, все опаснее становилось врагам двигаться по степным дорогам, и хотя оккупантов было много и были они богато вооружены, станичной комендатуре пришлось издать приказ о запрещении ночного движения по степи. Страх врага был лучшей оценкой деятельности молодых партизан, выполнявших задание партийного подполья.

Молодежный отряд Ивана Смолякова действовал точно, расчетливо и очень хитро. Но в степях трудно скрываться, особенно зимой. Выдают следы на снегу, а спрятаться негде. И однажды, когда Смоляков с шестью товарищами отдыхал после боевой операции на хуторе у знакомого казака, следы на снегу привели карателей к месту ночлега. Молодые партизаны были схвачены во сне.

Это было в дни, когда принужденные Советской Армией к отступлению фашисты особенно лютовали. Смолякова и его товарищей подвергли жестоким пыткам. У них требовали назвать имена коммунистов-подпольщиков, направлявших отряд, и тех колхозников, кто им помогал и оказывал гостеприимство.

Молодые партизаны не выдали никого.

Тогда их вывели раздетыми, разутыми на берег Дона и по одному, так, чтобы остальные видели, начали живыми сталкивать в прорубь. Ивана Смолякова подвели к проруби последним. Он стоял уже на краю ледяной кромки, когда ему еще раз предложили назвать имена руководителей и помощников. Маленький болезненный человек, истерзанный на допросах и еле державшийся на своих больных ногах, вдруг выпрямился, орлиным взглядом окинул палачей, плюнул в лицо ближайшему и сам прыгнул в воду.

А через несколько дней Советская Армия освободила эти края. Трупы молодых партизан были найдены с помощью рыбачьих сетей. Их торжественно предали земле на площади станицы Романовской.

— Они как раз вот тут, где проходит створ плотины, — закончил рассказ работник райкома и повторил слова старейшего гостя праздника: — Да, истинная слава — она и в огне не горит и в воде не гаснет!

Тогда вступил в разговор один из товарищей внука старого казака, инженер соседнего строительного района. Он вспомнил о том, как комсомольцы здешних мест, свидетели подвига Ивана Смолякова, погибшего за советскую Родину, продолжали тут, на стройке, славу своих погибших товарищей.

Вот здесь рядом, на так называемом проране, где с бешеной скоростью, бурля и крутясь, неслись воды стиснутого плотиной Дона, понадобилось возвести временный, по выражению строителей, банкет, чтобы окончательно запереть реку.

Дно на добрую сотню метров выстлали, как здесь говорили, «фартуком» из щебенки и гравия, покрытых сверху толстым слоем крупного камня, чтобы в решающий день остановки воды стиснутая река не сбросила преграждающие ее сооружения, подмыв их снизу.

На этот «фартук» требовалось установить ряжи — огромные деревянные клетки из могучих бревен. Эти ряжи, заполненные потом камнем, должны были сыграть роль опор эстакады, с которой самосвалам предстояло валить в реку камень.

Установка ряжей — дело весьма трудное. Понадобилось провести сложные и опасные водолазные работы. И вот три молодых водолаза — Сергей Веселовский, Александр Назаренко и Михаил Лесин — вызвались выполнить эти работы.

Это были три комсомольца из той же станицы Романовской. Все они еще мальчиками были свидетелями геройской гибели Ивана Смолякова и его товарищей. Все они потом служили на флоте, получили там специальность военных водолазов и, демобилизовавшись, продолжали работать по этой профессии. И так уж случилось, что все трое, работая в разных концах страны, узнав о строительстве Волго-Донского канала, захотели участвовать в нем и, не списываясь между собой, встретились уже тут, в поселке Ново-Соленовском, в конторе гидромеханизации.

Теперь они все трое явились к начальнику работ и попросили именно им поручить установку ряжей. Инженер с сомнением посмотрел на водолазов, лица которых густой медный загар сделал похожими. Молодые, крепкие, обдутые степными ветрами, они стояли плечом к плечу, как три богатыря: двое —

высокие, стройные, третий — малорослый, как кряжистый молодой дубок, выросший на открытом речном берегу. И глаза у них у всех были цвета донской воды, но разных оттенков, какие она принимает в зависимости от погоды: у одного — голубые, у другого — серые, у третьего — зеленоватые.

Инженер невольно залюбовался ими. Но оттого, что все они были молоды, а дело предстояло сложное и, главное, опасное, начальник спросил, есть ли у них опыт подводной работы на таком быстром течении. Только одному из троих, Михаилу Лесину, доводилось работать на Дунае. Но течение там было один метр в секунду. Разве это могло сравниться с бешеным током воды в узком проране, где, злясь, свирепствовал стиснутый с двух сторон Дон!

Молодые водолазы настаивали так горячо и так искренне, что начальник согласился дать им попробовать — именно попробовать, и только...

Катер притащил к прорану дощатую будку, стоявшую на большой лодке и громко именуемую водолазной станцией, и оставил ее на приколе, под защитой земляной дамбы. Это было совсем недалеко от места, где были сброшены в прорубь комсомольцы-партизаны. Молодые водолазы, свидетели славы и гибели своих земляков, помнили об этом. Больше того: хотя они об этом друг с другом и не говорили, их настойчивое желание принять участие в закрытии прорана тем и объяснялось, что, с детских лет бережно храня память о погибшем герое, они стремились чем-нибудь более выдающимся, чем обычные водолазные дела, отметить свое участие в стройке.

Они взялись за опасное дело, веря, что настойчивость заменит им недостаток опыта. Для начала предстояло выложить под водой так называемые «постели», то-есть, попросту говоря, уложить на дне бешено несущегося потока большие валуны — и уложить таким образом, чтобы те образовали площадку, на которой прочно встанут потом ряжи.

Первым пошел под воду старшина станции Сергей Веселовский, маленький, кряжистый человек, у которого на бронзовом от загара лице весело сверкали глаза того непередаваемого цвета, какой приобретает донская вода в погожие, ясные дни.

Это была разведка.

Едва успев опуститься под воду, Веселовский сразу же выяснил, что противник силен и свиреп и что сражение с ним будет самым трудным случаем в водолазной практике его и его друзей. Вода, взбулгаченная бурным течением, была непроницаемо мутна. Стало быть, предстояло работать на ощупь.

Коснувшись дна и улегшись головой против течения, водо-

лаз с удивлением ощутил, что даже и тут поток не становится смирным. Стоило Веселовскому на миг оторвать свою руку от камней, как течение сразу же заломило ее назад, а подняв по неосторожности голову, он точно получил удар и едва удержался за камни, чтобы не быть опрокинутым.

Работать можно было только лежа. Двигать огромные камни приходилось одной рукой, так как другой нужно было за что-нибудь держаться.

На поверхность Сергей Веселовский поднялся с готовым планом. Он решил опустить на дно железнодорожный рельс, положить его навстречу течению и, цепляясь за него одной рукой, другой работать, используя рельс и как опору и как линейку для выравнивания камней.

Так и сделали. Рельс был опущен, и три молодых водолаза, приобретая на ходу опыт работы на сверхбыстром течении, принялись выкладывать каменные постели для опор ряжей.

Тяжелая, опасная работа! Опустившись на дно, водолаз левой рукой нащупывал металл, цепляясь за него приникал к земле, а правой проворно двигал камни. Именно двигал — потому что как только он отрывал камень от дна, течение било в него и вместе с рукой бросало назад. Так и работали невидимые человеческому глазу подводные труженики: в кромешной тьме, сравнивая бугры, заваливая ямы.

И так час, два, три...

По существующим правилам, у водолаза под водой только два рабочих часа. Шесть часов на всю группу. Но время не ждало. Осень наступала строителям на пятки. Дон должен был быть перекрыт и проран замыт песком плотины до осенних дождей, до подъема воды, который значительно удорожил, усложнил бы работы и, что особенно опасно, оттянул бы смыкание правобережной и левобережной плотин.

И молодые водолазы, которые, как и все люди стройки, болели не только за свое дело, но и за весь ход работ, трудились на проране, нарушая все нормы. В этой неравной борьбе с разъяренной рекой они порой уставали до того, что, поднявшись на поверхность и сбросив водолазный костюм, подолгу неподвижно лежали на досках, не будучи в силах ни сесть, ни встать.

Но разве можно было в эти дни думать о себе? Даже сама установка ряжей — дело, требующее смелости, подвижности и быстроты, — казалась им отдыхом, после того как они работали на дне, ворочая камни, один на один с разъяренной стихией.

Новые и новые, наполненные камнем ряжи преграждали путь Дону, тесня реку и загораживая ее ход. Течение все



Михаил Лесин, Александр Назаренко, Сергей Веселовский.

убыстрялось. К концу работ оно ускорилось до трех метров в секунду. Теперь водолаз, дежурящий на поверхности у телефона и слушавший товарища, находящегося под водой, не улавливал в наушниках ничего, кроме хриплого, тяжелого его дыхания. Борьба с течением требовала напряжения всех физических и духовных сил; чтобы не растрачивать их попусту, водолазы старались даже не говорить.

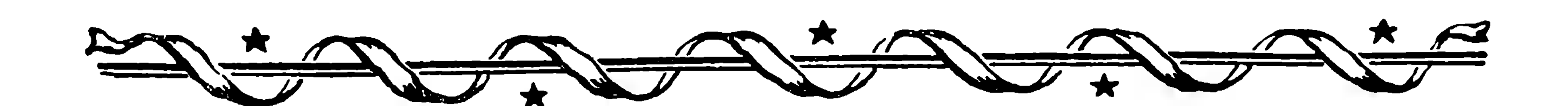
Так работали земляки Ивана Смолякова в местах, где он партизанил, в водах реки, где он погиб за Родину, за коммунизм. Его боевую славу они укрепляли славой трудовой. Образ немощного телом, но такого необоримо сильного духом комсомольского вожака, живший в их памяти с детских лет, окрылял их трудовой подвиг в решающие дни борьбы с рекой.

Конечно, то, что сделали на проране три молодых казака-водолаза из станицы Романовской, нельзя представлять как их единоборство с Доном. Реку взнуздал и остановил многотысячный коллектив строителей разных профессий: экскаваторщики, гидромеханизаторы, сварщики, бетонщики, бульдозеристы, скреперисты, смелые проектировщики и инженеры. Но в эти общие усилия вложили свою долю, свою одухотворенную мечтой о коммунизме энергию и три скромных водолаза, земляки и товарищи славного донского комсомольца Ивана Смолякова...

— Что ж, о тех, кто сейчас здесь, на стройке, геройствует, по станицам девчата уж песни поют, — сказал, прослушав рассказ о трех водолазах, один из старых казаков, задумчиво следя за тем, как в сгущающихся сумерках только что рожденное озеро сверкает в отсветах электрических огней.

И мне снова вспомнились слова человека, больше ста лет проходившего по земле. Да, слава, добытая в бою и заработанная в труде, не гаснет, не ржавеет, не забывается!





КОНСУЛЬТАЦИЯ

— Если вы считаете, что нужно обязательно рассказывать об этом происшествии, так уж позвольте прежде всего пояснить вам, во-первых, кто такая Наташа и, во-вторых, обрисовать обстановку, в которой все это произошло, хотя сам я, признаться, ничего особенного, заслуживающего внимания во всем этом, и не вижу. Обычные, так сказать, текущие дела...

Николай Чумаченко, старший багермейстер, он же комсомольский групповорг одного из лучших на стройке землесосных снарядов, демобилизованный артиллерист, еще не утративший своей гвардейской собранности, подтянутости, привычным жестом одернул аккуратную гимнастерку, на которой два ордена Отечественной войны соседствовали с Красной Звездой. Но закончить мысль ему не дали. В разговор стремительно ворвалась маленькая полная голубоглазая девушка с очаровательными ямочками на пухлых румяных щеках. Тряхнув россыпью льняных кудряшек, она трагически всплеснула руками:

— Ой, как он тянет! «Во-первых, во-вторых»!.. Ну чего тут пояснять? Наташа — дочь начальника их земснаряда. Ну да, того самого, знаменитого... Ей сейчас одиннадцать месяцев, а тогда, весной, было восемь. Она — одна из первых ребят, родившихся на строительстве, и весь их экипаж, даже старый боцман Никитыч, который при женщинах не без причины лишается языка, — все они без памяти в нее влюблены. И потому, когда у Наташи вдруг случается поносик, весь земснаряд лихорадит...

Чумаченко старается сохранить свою холодную собран-

ность, но улыбка, помимо воли, появляется на его худощавом загорелом лице:

— Вы поглядите на нее: и это молодой советский специалист!.. Хорошо, что я никогда ничем не болею, а то лучше к бабке в станицу подался бы, чем идти к такому несерьезному врачу... Так вот, о Наташе. Действительно, она дочь нашего начальника, и действительно она тогда заболела, и заболела серьезно. А дело было как раз весной, в разлив, в самую горячую пору, когда нам нужно было работать с наибольшей отдачей. Начальник у нас — кремень. Я его в самых трудных переделках видел, у него даже голос не менялся, а тут вдруг наш кремень подаваться начал. Никому ничего не говорит — работает, как всегда, но всем видно: что-то с ним стряслось. Худеет, глаза красные, как у кролика, и такой он стал, точно все в нем до звона натянуто. Но о дочке никому ни слова. Все в себе носит. Попробовали было ребята разведать: что, мол, с вами? «Ничего, — отвечает, — со мной особого не происходит. Делайте свое дело, не отвлекайтесь попустому». Ершистый стал, колючий, холодом от него, как из погреба, несет. Ну, ребята видят, что его ни долотом, ни шилом не возьмешь, оставили в покое, тем более что на деле все это не отражается и судно наше попрежнему впереди. Да и работы, по совести говоря, у всех хватало. Решили мы к Первому мая против мощности снаряда, указанной в паспорте, в полтора раза больше выработать. Ну, и старались кто как мог.

— Они из-за этих своих «деловых кубометров грунта» все на свете забывают! — вставила в разговор девушка, метнув в сторону багермейстера иронический взгляд.

Должно быть, она попала в цель. Он виновато опустил глаза и сделал вид, что пропустил реплику мимо ушей.

— Ну, а я ведь не только багермейстер, а еще и комсогруппорг. Меня не только, как она выражается, «деловые кубометры», то-есть выработка, — меня и души человеческие интересуют. Думаю: раз на работе у нас полный порядок, стало быть что-нибудь дома неладно у нашего начальника. Нагрянул я к нему на квартиру вечером, в то время как он на вахте был, и сразу прояснил обстановку. Малышка при смерти, врачи руками разводят, мать с ног сбилась, а сам-то как с вахты придет, так у ее кроватки до следующей смены и дежурит. Испугался я. Вот товарищ врач верно сказала, мы эту Наташку все любим. Славная такая девчонка, сероглазая, рыженькая, прямо огонек. А тут лежит не шелохнется, и на лице одни глаза видны, большущие, жалобные. Подумал я о начальнике нашем, и страшно мне стало. Такое горе, а он и виду не подает... Разве ж так можно?.. Ну, бегу в амбулаторию.

Ночь, заперто. Впотьмах звонка не разглядел, давай в дверь бухать... Помните, товарищ доктор?

— Да, это не скоро забудешь. Я тогда дежурила — больных нет, задремала немножко, вдруг неистовый грохот. Я подумала, не паводок ли перемычку прорвал. Нянечка бежит: «Лизавета Никитична, там псих какой-то ломится!» А он уж тут, передо мной, в натуральную величину. Ну, видели бы вы его тогда! Без шапки, в грязи, пот с лица течет: «Доктор, беда: Наташка умирает!» Кто такая Наташа, от чего умирает, не говорит. «Пошли!» — и все. «Куда идти? Погодите, я машину вызову». — «Не пройдет туда машина: паводок, грязь по колено». А сам уж пальто на меня напяливает. И потом, представьте себе, километра два бежали по грязи. Калоши я потеряла. Да что там калоши — тут и резиновые сапоги не помогли бы. А где уж выше колен было, он подхватывал меня на руки и переносил... этакий медведище. В доме больной я появилась, будто меня из пульповода вытащили, а он даже опомниться мне не дал, ведет прямо к кроватке: «Вот Наташа!»

Если бы мне кто-нибудь в институте сказал, что придется так-то вот навещать пациентов, разве я поверила бы? А тут ничего: отдышалась, умылась, осмотрела больную. Диагноз мой с предыдущими заключениями точно совпал. Врачи делали что могли, но болезнь эта у таких малышей почти не излечивается. Девочка уже и не шевелится, мать окаменела от горя, а он — я его тогда за отца принимала — умоляет: «Доктор, сделайте чудо, спасите!» Я говорю: «Чудес не бывает». А он упрямо: «Если человек как следует захочет, будет чудо!»

И вы знаете, должно быть верно: все-таки чудеса случаются. Тут я вдруг вспомнила, что когда стажировала в институтской клинике, там много говорили о нашем профессоре, известном академике, заслуженном деятеле науки, разрабатывавшем новый метод лечения этой страшной болезни. И вот, как только сей гражданин про чудо сказал, я ему и отвечаю: дескать, метод лечения разработан, но сейчас проверяется, и что, мол, сама я его в точности не знаю, а только слышала о нем. Так вы знаете, что он, вот этот самый гражданин, орденоносец, почтенный багермейстер, комсомольский групппорг и прочее и прочее, сделал?.. Он схватил меня, врача, на руки и закружил по комнате...

Это в самом деле не походило на спокойного человека, но краска, густо пробрызнувшая сквозь матовую смуглоту его лица, выдавала, что все это действительно произошло.

— Да-да, завертел в присутствии матери и маленькой больной, что, согласитесь, было уж совершенно неуместно. И тут пошло все, как в чеховском рассказе «Лошадиная фа-

милия», с той только разницей, что речь шла не о дурацком флюсе идиота-барина, а о жизни чудесной малышки. Я вспоминала и точно не могла вспомнить, в чем же состоит этот метод. И чем старательнее я вспоминала, тем больше убеждалась, что очень важные детали я забыла, а может быть, даже как следует и не знала. И хотя никакой вины тут моей не было, мне становилось страшно, что из-за того, что я во время своей стажировки оказалась недостаточно любознательной, может погибнуть этот ребенок.

Однако воспоминаниям мы предавались недолго. Он вдруг закричал: «Не вспомните — не беда! Важно, что советской медицине такое средство известно. Телефон клиники знаете?» Я обрадовалась: у себя в книжечке, расставаясь, я записала адреса подружек-однокурсниц — там, несомненно, был и нужный номер. Но что значил этот номер? Клиника была за тридевять земель, в Москве, а мы находились в степи. Была глухая ночь, и паводок отрезал нас даже от центрального поселка, где есть телеграф и междугородный телефон. Но его это уже не смущало. «Доктор, — говорит, — бежим в контору гидромеханизации, там есть телефон! А остальное беру на себя». Страшно самоуверенный гражданин, не правда ли?

— Я не в себя, я в советских людей верю. Да и при чем тут самоуверенность? Я узнал номер клиники, телефон был поблизости, врач рядом — и неплохой, как потом выяснилось, врач, хотя, по совести говоря, ее вздернутый носик и в особенности эти вот кудерьки тогда не внушали мне большого доверия.

— Видимо, придется обзаводиться пенсне, чтобы производить солидное впечатление на таких вот, как у нас в амбулатории нянечка выражается, «запсихованных пациентов»... Словом, добрались мы до телефона. Сей гражданин снимает трубку, звонит на нашу междугородную. И этаким противным, сладчайшим голосом говорит: «Девушка, это я, Чумаченко, с комсомольского земснаряда. Здравствуйте». У них с телеграфом и междугородной дружба. К ним то и дело со всех концов страны приветствия и поздравления поступают, устные и телеграфные, так что они там — знатные клиенты. Однако дать срочно Москву ему сначала отказали: по правилам, абонент должен зайти лично на переговорную, внести аванс, оформить заказ. Словом, понимаете, правила! А ну-ка, зайди, когда паводок от междугородной вас отрезал! Но он не смущается. Вы, вероятно, слышали — он отличный агитатор! И он им весьма выразительно разъяснил, что все советские законы и правила написаны, чтобы лучше и счастливей жилось людям, и что, раз речь идет о человеческой жизни, правила можно и

изменять. При этом он так описал больную малышку, что телефонные девицы расчувствовались. Нарушить правила они, правда, не решились, но выход нашли: они на свои деньги срочно вызвали Москву.

— Получил я Москву, — улыбаясь, говорит Чумаченко. — Нужный номер мне подсоединили. Ответил дежурный по клинике: что, мол, вам нужно? Я говорю: «Мне профессора такого-то, для консультации». А дежурный меня огорошивает: «Такой-то профессор сам лечится на курорте, в Сочи». Я даже крякнул от досады. А она... Вы знаете, что сделал сидящий здесь врач? Она заплакала в три ручья... А тут еще, как всегда водится—с междугородной, на самом интересном месте переговоров шум, треск — и пока я тряс трубку да дул в нее, какой-то деревянный голос объявил: «Прекращайте разговор, ваше время истекло». Я рассвирепел: «Как истекло? Как вы смеете прерывать! Речь о человеческой жизни идет! С Волго-Дона говорю!» И вы знаете, я такого эффекта не ожидал. Тот же деревянный голос с московской междугородной переспрашивает: «С Волго-Дона? Минутку, соединяю». И опять у телефона клиника. Дежурный уже узнал меня. Правильно, говорит, такой метод существует, испытан, но сам он, дежурный, специалист по костному туберкулезу и подробностей лечения не знает, консультировать не может. Спрашиваю: «Какой адрес санатория, в котором находится профессор?» Дежурный даже зарычал от досады: «Вы с ума сошли! Старик второй год в отпуску не был. Разве можно нарушать его отдых!»

Тем временем я уже в уме проанализировал свой успех у междугородной девушки с деревянным голосом и понял, что Волго-Дон — слово магическое. Я и дежурному режу: «Как это вы нам адрес не скажете — это же с Волго-Дона говорят!» Он: «Неужели с самого Волго-Дона, прямо оттуда?» — «А как же, — говорю, — именно оттуда... Мне, — говорю, — сейчас в окно шлюз самый знаменитый виден». Слышу, он торопливо шуршит бумагой. «Запишите, — говорит, — адрес: «Сочи, санаторий «Приморье», палата три, номер телефона такой-то...», и «извините, — говорит, — я не знал, что с Волго-Дона»...

— Наконец-то адрес у нас! Обрадовалась я страшно, — прерывает девушка-доктор и украдкой смахивает влагу со своих длинных ресниц. — Но тут новая беда: заказ кончился. Телефонистки на нашей переговорной, оказывается, уже все свои капиталы истратили, платить за разговор нечем. Этот гражданин умоляет: «Девушки, займите где-нибудь, пожалуйста! Завтра я всей вашей смене по флакону «Магнолии» вручу». Тут он, конечно, совершил страшную бестактность, и

ему за эту «Магнолию» от них правильно попало. Но они все же куда-то там сбегали, денег заняли. Звонок... Сочи, санаторий «Приморье» на проводе. Он обрадовался да как рявкнет в трубку: «Говорит Волго-Дон!»

— Ну, так-то я, положим, не сказал. Но верно, чтобы скорее их там расшевелить, говорю: мол, на проводе строительство Волго-Дона. «Нам срочно, — говорю, — требуется к телефону отдыхающий у вас академик такой-то». Там старушка какая-то ласковая подошла. «Сейчас, — отвечает, — у нас ночь, академик спит, да и не профессор, не академик он тут, а отдыхающий, беспокоить его нельзя. А для разговора отдыхающих по междугородному телефону существует один день в неделю, и именно воскресенье, и именно с шестнадцати до двадцати часов». Тут уж я действительно рассердился. «Что же,— говорю, — о помощи стройкам только на собраниях хорошие слова говорите, а как до дела дошло — по воскресеньям с шестнадцати до двадцати?» Слышу, обиделась старушка. «При чем, — говорит, — тут стройки и какое отношение они имеют к профессору-педиатру?» — «А как же, — говорю, — вы предполагаете, что у нас тут гигантские машины сами работают, без людей? Люди строят, а у людей — дети, и дети эти могут опасно болеть и даже быть при смерти». Сдается старушка: «Не знаю уж, как быть, у нас очень строго». А я напираю: «А вы не раздумывайте — будите профессора, скажите: Волго-Дон, мол, на проводе, пусть он сам решает!» И что же вы думаете? Минуты не прошло, слышу сиплый старческий бас: «Ну, кто там с Волго-Дона? Что стряслось? Профессор такой-то слушает».

Девушка-врач улыбнулась:

— Тут сей гражданин страшно струсил. Трубку мне в руку сунул. Ну, а я ничего, я, как могла, рассказала историю болезни, и — знаете, я этим очень горжусь — он похвалил меня за точность диагноза, за то, что мы именно к нему обратились, сказал, что нужно делать, продиктовал рецептуру. Обстоятельно, не торопясь говорил. Несколько раз нас пытались прервать, но на этот раз уж сам профессор употреблял магическое слово «Волго-Дон» — и разговор возобновлялся. Потом, под конец, поблагодарила я его за чудесную консультацию и стала просить прощения за то, что нарушила его отдых. А он вдруг как рассердится: «Вам, доктор, стыдно так говорить! Обязательно звоните, если понадобится. Рад, — говорит, — хоть самый маленький камешек в вашу стройку положить». И потребовал, чтобы обязательно его известили о результатах лечения... А дальше? Что же, дальше было уже просто. У нас ведь тут отличная больница и аптека хорошая. Я по телефону

заказала в аптеке все, что нужно; он вот через Дон на челне между плывущими льдинами перебрался... Самое удивительное было то, что на все это дело ушло не больше двух часов. Под утро я уже сделала больной первую инъекцию, а после сей гражданин не очень вежливо, слишком уж поспешно, проводил меня до амбулатории, а сам побежал на земснаряд — порадовать отца и принять вахту.

— Ну, и чем же все кончилось?

Молодые люди переглянулись. Врач опустила ресницы и покраснела, а багермейстер отвернулся к стене, почему-то особенно заинтересовавшись продолговатым подтеком на плохо высохшей штукатурке. Оба они не выдержали и засмеялись: она — шумно, весело, как смеются открытые, жизнерадостные люди, он — беззвучно, сдержанно.

— Чем кончилось? Наташа выздоровела. Мы всем экипажем земснаряда послали в Сочи профессору телеграмму: поздравили с победой его метода, поблагодарили за помощь строительству Волго-Дона.

— А мы с ним недавно переехали в эту комнату. Домик новенький. Половину в нем занимает начальник земснаряда, а другую дали вот нам... Хотите посмотреть Наташку?

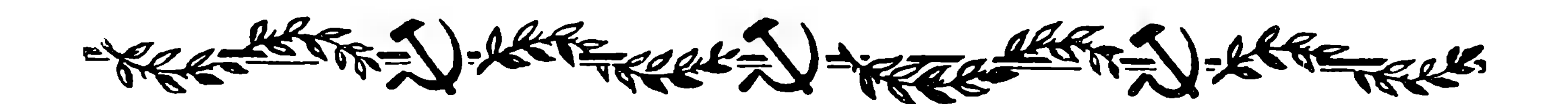
Врач на минуту исчезла, потом появилась с толстой девчушкой на руках. Та осмотрела всех серьезными серыми глазами и вдруг потянулась пухлыми руками к орденам, сиявшим на аккуратной гимнастерке Николая Чумаченко. Засмеявшись, она показала четыре больших зуба на верхней и два маленьких острых на нижней десне и энергично зачастила:

— Дя-дя, дя-дя!..

— Узнала! — довольно улыбнулся багермейстер. И прибавил: — Боцман наш, этакий презабавный старикан, который при женщинах теряет дар речи, называет ее нашей свахой.

Молодые люди переглянулись, и я понял, что вот сейчас-то и было сказано самое главное из того, что им хотелось сказать и о чем они еще говорить стесняются.





ПОДРУГИ

Вечером в красном уголке женского общежития курсов, на которых готовились строители, девушки сидели вокруг большого, покрытого кумачом стола и, сдвинув в сторону газеты и журналы, обычно лежавшие на нем, старательно писали. Накануне на комсомольском собрании было решено, что каждая пошлет письмо в родной край подружкам и приятелям, расскажет о своей учебе и позовет на великую стройку. И вот теперь, когда перья скрипели вовсю и авторы, вздыхая от усердия, красочно описывали, кто как мог, гигантские строительства, где им еще только предстояло работать, — дверь, ведущая из коридора, стала медленно, со скрипом открываться, и в ней появилась тоненькая девушка с деревянным баульчиком в руке.

— Где здесь директор курсов?.. Мне нужно подать заявление о приеме, — робко сказала она.

— А он вот тут, под столом сидит, — бойко отозвалась шустрая курсантка с рыженькими, туго заплетенными косичками и поспешила вознаградить себя за шутку звонким, задорным смешком.

Но никто ее не поддержал. Из-за стола поднялась маленькая черноглазая девушка с мелкими, но очень четкими чертами лица и той складкой у ярких, еще по-детски припухлых губ, какая бывает у людей волевых, целеустремленных. Сдвинув темные брови, она посмотрела на шутницу так, что та сразу стушевалась, и протянула вошедшей небольшую, но сильную руку.

— Маша, — отрекомендовалась она и прибавила: — Мария

Болдырева, курсантка... А заявление, девушка, надо подавать не директору, а в канцелярию... Это тут, недалеко... Вот что: вы, девчата, пишите, а я ее провожу.

Всю дорогу Маша рассказывала новенькой о строительстве, рассказывала так, будто сама все проектировала и строила. Но когда новенькая спросила Машу, по какой специальности та будет работать сама, Маша смутилась и призналась, что насчет профессии она еще не решила. Девушки всё больше учатся на лаборанток, геодезисток, десятников, а ей вот хочется непосредственно участвовать в стройке, но в качестве кого, она еще не знает. Пока идет общая подготовка, она приглядывается.

— А я буду электросварщицей, — сказала новенькая, и произнесла это так уверенно, что от недавнего смущения у нее не осталось и следа. Победно взглянув на свою черноволосую спутницу, она пояснила: — Это у меня такая мечта. Электросварка! Здорово! Вот металл — два бруска. Ты приближаешь к ним электрод, яркая-яркая молния — и вместо двух один цельный. Он скорее разломится в новом месте, чем разойдется по шву... Ух, сила! И она у тебя в руках. Нет, я только в сварщицы!

Короткий разговор по пути в канцелярию курсов решил судьбу обеих девушек — Марии Болдыревой и Зои Поляковой, как звали новенькую. Они обе начали учиться электросварке, стали неразлучными.

В общежитии они разместились на соседних койках, в классе сидели на одной скамье, вместе готовили уроки, в свободные вечера читали друг другу вслух новые повести и романы из толстых журналов, а когда девушки и ребята из их группы гурьбой направлялись на концерт, в театр, в кино или просто «поскользить» по Волге на лодках, Зоя не шла, если Маше было некогда, и наоборот.

И хотя Маша, приехавшая на курсы из далекого ростовского колхоза, где она была бригадиром и комсоргом, совсем не походила на Зою, коренную сталинградку, работавшую до курсов на Метизном заводе, где она и заинтересовалась электросваркой, дружба их, возникшая из общего интереса к новой, обеим им полюбившейся профессии, стала такой прочной, что их инструктор, пожилой рабочий, прозвал подруг «двоешками» и все шутил, что выдумает для них спаренный сварочный аппарат, чтобы они и работать могли синхронно, рядышком.

Учились подруги отлично. Новой профессией овладели так быстро и прочно, что когда вся группа курсантов прибыла на производственную практику на строительство Цимлянского

гидроузла, производственники нашли возможным оставить их обеих на работе еще до окончания курсов.

Раздумывая в дни учебы о стройке, где им предстояло работать, девушки представляли ее себе в виде огромных, еще не завершенных, но уже красивых сооружений. Поначалу вид строительства их удивил и, что там греха таить, разочаровал. То, что они увидели, прибыв на знаменитую теперь Цимлу, представляло тогда некрасивые массы развороченной, вздыбленной земли, напоминавшей лунный ландшафт из учебника. Среди этих холмов, гряд и гор вскопанного грунта трудились тысячи людей и сотни непонятных машин. А когда доводилось возвращаться с работы ночью, они видели кругом такое скопление мерцающих электрических огней, будто Млечный Путь осыпал степи своими бесчисленными звездами.

Арматурный завод, на котором они теперь работали, сам по себе представлял одно из чудес строительной техники. Здесь по кускам, по блокам изготовлялись стальные скелеты для бетонной части плотины, для шлюзов, волноломов, причальных стен. Машины переносили, укладывали, резали, сгибали металл, придавали ему нужные формы, вновь переносили к местам сварки, а потом уже в виде готовых арматурных блоков и конструкций бережно поднимали и грузили на платформы.

Все здесь было грандиозно, а один сварщик, с которым девушки робко заговорили, сообщил подругам, любуясь их смущением, что если сложить вместе один за другим все стальные стержни, которые заложены в тело сооружений гидроузла, то длина этой общей металлической полосы будет пятнадцать тысяч километров. Но завод был своеобразный: он не имел стен и крышей ему служило небо. Издали он походил на склад металла.

Влюбленность в свое, пусть даже маленькое и незаметное, дело — характерная черта большинства работающих на наших замечательных стройках. Это чувство сроднило подруг с их новыми товарищами по сварочному цеху. Опытные сварщики взяли девушек под свое покровительство, стали учить их особенностям работы на стройке. Поначалу сварщики делали это с шутками и прибаутками. Между собой рабочие называли девушек то малявками, то пигалицами. Подруги и сами знали, что их маленькие фигурки в огромных, не по росту, брезентовых робах с закатанными рукавами и штанинами и в самом деле выглядят, вероятно, довольно курьезно. На шутки они не обижались. И понемногу шутки стали стихать Это началось, когда выработка «малявок» начала подтягиваться к выработке квалифицированных рабочих.

Произошло это, конечно, не сразу. Нелегко было девушкам привыкнуть работать под открытым небом: летом — под палящим солнцем или под ударами песчаной бури, которая секла лицо и точно булавками колола шею, руки, а зимой — под острым, холодным ветром. Но смелая, одухотворенная юность чего не преодолеет! Трудности только закаляют мужество.

Зимними вечерами, вернувшись с работы в общежитие, съежившись у раскаленной печурки и чувствуя, как в благодатном тепле отходит окоченевшее тело, подруги тихо, чтобы не мешать соседкам, шептали друг другу на ухо:

— Зоя, а я ведь видела суховей... Ох, и страшно же! Дохнет вдруг, словно из печи, и задует, задует... Станет темно, и все-все кругом на глазах сохнет, жухнет, свертывается, как трава возле костра. Трещины идут по земле. В горле першит. Песок на зубах... Жуткое дело! А тут мы его — стой, поганый, нет тебе больше ходу!.. Я, Зойка, даже как-то во сне видела — летом в сухую степь пришла вода, засверкали ручейки, земля напилась, почернела. И сразу будто все стало расти, зеленеть прямо на глазах. Будто и я расту тоже выше, выше, до облаков. И сверху мне будто видно, что все кругом зеленое, сочное, веселое...

Девушка вздыхала, еще глубже засовывала в рукава озябшие руки, ближе склонялась к раскаленной железной печурке:

— Сейчас себе все это и не представишь. А ведь будет, будет...

— Нет, а я вот думаю... Вдруг — степь, и по ней пароход большущий, трехпалубный, какие у нас у Сталинградской пристани стоят. И мы с тобой на нем. Все пассажиры удивляются: «Ах, какой замечательный канал, ах, как это грандиозно, ах, какая красота!» А мы с тобой, Машенька, потихоньку радуемся. Наш он, мы строители... И еще интересно: учебники-то ведь тоже переделывать придется, и карты тоже... Сколько понаделаем новых рек, морей!..

В таких вот мечтах о недалеком будущем, в создании которого они обе посильно участвовали, две маленькие девушки черпали энергию и упорство, овладевая новой, сложной профессией.

Электросварка — дело, требующее тонкого знания. Надо уметь выбрать электрод по диаметру металла, знать, как регулировать напряжение, иметь и многие другие навыки. В это сложное дело Маша и Зоя вносили свою чисто девичью тщательность, аккуратность. Шов, наложенный ими, можно было отличить: он был ровный, точно выложенная по линейке рыбья чешуя. Труд постепенно становился искусством.

Здесь, в голой степи Подонья, где все открыто северным

ветрам, зимы были особенно лютыми. Металл точно седел, покрываясь сухим инеем, и прочно прихватывал кожу, если кто-нибудь неосторожно прикасался к нему голой рукой.

Но стройка шла, темпы ее нарастали.

Бетонщики, несмотря на стужу, перевыполняли план. То и дело с плотины звонили на арматурный завод, требуя «нажать», «дать темп». Резкий степной ветер, завывая, кружил по сварочным плазам, где среди гигантских кружев готовой арматуры вспыхивали и гасли ручные молнии.

Подруги, одетые в «теплушки» под брезентовой робой, в стеганых шароварах, в валенках, с головами, замотанными шерстяными платками, похожие, по их собственным словам, «на две луковки», работали, стараясь не отставать от мужчин.

Когда ртуть в термометре падала особенно низко, начальник заходил на их плаз и говорил:

— Кончайте! Греться, греться...

Девушки делали вид, что не слышат, благо за защитной маской нельзя было рассмотреть выражения их лиц. Но начальник повышал голос:

— Говорят вам — грейтесь! Приказываю, слышите?

Тогда поднимались защитные маски. На юных, совсем еще ребяческих лицах была мольба:

— Нам же не холодно, ну ни чуточки, честное же комсомольское!..

Инженер отходил, что-то ворча себе под нос о сумасшедших девчонках, с которыми нет никакого сладу, и втайне гордился ими. Он особенно ценил в людях это уменье за любимым делом обо всем забывать. Но даже и он, видавший виды строитель, не уставал удивляться этим двум, таким еще хрупким с виду девушкам, их уменью понемногу, но непрерывно наращивать производительность даже в тяжелых зимних условиях.

А девушки и в самом деле не чувствовали холода.

Работа спорилась, они испытывали подъем душевных сил, при котором человек ощущает полную меру своего мастерства. И когда, порой даже в январскую стужу, по девичьей привычке, та или другая поднимала маску и заглядывала в зеркальце, чтобы поправить волосы, она видела подчас частые бисеринки пота на переносице.

С настоящим мастерством пришло стремление к техническому творчеству. Свежий глаз всегда быстрее замечает несовершенства технологии. По мере роста квалификации подруг все больше раздражало, что часто приходится работать на пониженном напряжении. Конечно, это замечали и другие, но те, кто работал на арматурном заводе давно, смирились с

этим, как с чем-то неизбежным. Девушек же это сердило, мешало им. И однажды, набравшись храбрости, они заговорили об этом на производственном совещании.

Что там греха таить — поднимаясь на трибуну, Маша Болдырева робко посматривала в зал, боясь, что их высмеют. И в самом деле, когда она начала говорить, кто-то из сварщиков насмешливо бросил: «Нашла топор под лавкой!» А другой голос произнес: «Это ясно. Делать что?»

Мария остановилась и взглянула на подругу. Та ободряюще кивнула головой. Они уже давно обдумали, что надо сделать, и тут же предложили увеличить сечение проводов кабеля подводки. В зале вдруг настала тишина. Предложение было слишком простым и многим показалось несерьезным. Но, к удивлению всех, сам начальник завода отметил его как особо важное.

На следующий день монтеры уже меняли проводку.

С той поры подруг начали уважать. И хотя попрежнему их, маленьких, тоненьких, в непомерных робах, странно было видеть среди нагромождений металла и конструкций, никто уже не звал их больше ни пигалицами, ни малявками. Даже опытные мастера стали захаживать к ним на плаз потолковать, посоветоваться.

Первый успех окрылил молодых сварщиц. Арматуры нужно было все больше и больше. Девушки убедились, что и тут, где все было таким продуманным, умным, можно и нужно это продуманное и умное постоянно совершенствовать и улучшать. И у них родилась мысль вести сварку более сильными токами, или, как говорят сварщики, «на повышенных режимах». Это дало бы возможность значительно ускорить все работы.

Но какое же для этого требовалось мастерство!

— А что, если все-таки попробовать, Машенька? — все настойчивее возвращалась к этому делу Зоя, когда они после смены, умывшись и переодевшись в цветастые платья, спешили домой, обе изящные и хорошенькие, совсем не похожие на тех, какими они выглядели в неуклюжих брезентовых спецовках.

— Ой, Зойка, страшно! — отвечала рассудительная Маша. — Ведь это как же тогда варить надо! Чихнешь — шов в сторону ушел, комара сгонишь — бугорок, а то и прожог. Не моргни!

— Зато как быстро! Попробуем, а?

— А если провалимся?

— Надо же кому-нибудь начинать. Всегда кто-нибудь да начинает.

Доверив свою мысль все тому же инженеру, которого они, после того как он их поддержал на совещании, стали считать своим другом, девушки, к общему удивлению, рискнули начать сварку на повышенных режимах.

Сначала это новшество всех удивило и даже раздражило: головы закружились, зарываются девчата. Потом те, кто поинициативнее, стали приглядываться: выработка сразу выросла чуть не наполовину. Попробовали другие — получается. Постепенно смелый почин девушек захватил весь сварочный цех.

Подруги и не заметили, как стали знаменитыми. Однажды они шли мимо клуба и на красном щите, где каждый месяц вывешивались портреты лучших людей, увидели два лица, показавшиеся им знакомыми. Клубный живописец, повидимому, не отличался могучим талантом. Лица были похожи одно на другое и мало соответствовали оригиналам, но подписи под ними и то, что эти два девичьих лица были рядом на щите, неопровержимо говорили, что тут, на доске почета, изображены именно они — Мария Болдырева и Зоя Полякова.

— Ой, чучелки-то мы какие тут! — прыснула было смешливая Зоя.

Маша, серьезная и задумчивая, стояла у доски:

— Не смейся! Видишь — написано: лучшие электросварщицы. Ты подумай, как мы теперь работать-то должны!

Обнявшись, они пошли по поселку, советуясь, как же отблагодарить за оказанную честь. Они так увлеклись своим разговором, что прошли даже мимо почты, заходить куда в последнее время стало для них привычным, так как ежедневно в их адрес приходили письма со штемпелями разных советских городов.

Да, они и не заметили, как труд, который стал сущностью и радостью их жизни, вознес их, окружил ореолом славы, сделал известными не только среди строителей, но и по всей стране. Не замечая этой своей известности, девушки удивлялись: почему им столько пишут, чем они заслужили такое внимание?

Письма шли отовсюду. Чаще всего на конвертах значился лаконичный адрес: «Цимлянский гидроузел. Болдыревой и Поляковой». Почтальон приносил корреспонденцию прямо на работу. И в перерыв, наскоро закусив, девушки торопливо вскрывали конверты.

И как хороши были эти человеческие документы — свидетельство внимания и любви народа к стройкам и к людям, которые их создают!

Маша и Зоя как-то познакомили меня со своей почтой за один день. Моряки Владивостокского порта, женщины-рыбачки из-под Мурманска, студент из Калининграда, группа лесорубов



Мария Болдырева и Зоя Полякова.

из Карелии слали девушкам приветы, поздравляли с производственным успехом, о котором они узнали из газет, просили написать, как идет строительство. Школьники-десятиклассники из Пензы интересовались, можно ли будет, получив аттестат зрелости, пойти на курсы строителей и где такие курсы есть. Солдаты советских войск, несущие гарнизонную службу за рубежом своей Родины, сообщали, что на чужбине они думают о Волго-Доне, мечтают, демобилизовавшись, приехать сюда на работу, предлагали завести переписку и намекали, нельзя ли получить от подруг их фотографии. Сварщик из Воркуты прислал чертежик и описание своего метода сварки в подвижных кондукторах. Он выражал надежду, что его совет поможет подружкам достигнуть новых успехов. Мать трех сыновей, погибших в дни войны, называла их дочерьми и благословляла трудиться во имя мира. Комсомольская организация свердловского института просила их выслать описание своих методов сварки для изучения.

Писем приходило все больше и больше. Работая в далекой степи, подруги все время ощущали связь со всей страной, со всеми советскими людьми. И, окрыляемые этой вдохновляющей связью со своим народом, девушки аккуратно отвечали и рыбачкам из Мурманска, и школьникам из Пензы, и советским солдатам из далеких гарнизонов, и воркутинскому электросварщику, и матери трех погибших сыновей — всем своим корреспондентам.

Они писали: стройка идет, она близка к завершению; они обещали сделать все возможное, чтобы ускорить работу; они звали неведомых своих друзей готовиться к путешествию по новому, великому водному пути, который обязательно будет готов в срок, назначенный правительством. Сами они в этот срок беззаветно верили и к этому стремились всеми силами своих юных, неукротимых душ, закалявшихся в борьбе с трудностями, во вдохновенной работе.





ПРАКТИКАНТ

Дело было ночью, когда со всех объектов строительства в приземистое здание управления уже поступили сведения о сделанном за день. В этот час начальник стройки, известный советский инженер, собирал у себя руководителей районов и своих ближайших помощников, чтобы наметить и обсудить главные задачи завтрашнего дня. Эти короткие ночные совещания здесь называли «заседаниями военного совета», и в шутливом названии этом была правда, ибо напряженная жизнь строительства напоминала картину наступления, и мирное трудовое это наступление, все нарастая и ширясь, велось день и ночь.

Так вот, в этот поздний час мы попросили у начальника дать человека, который мог бы проводить нас на один из объектов, где утром ожидались важные производственные события. Начальник потер большой, рабочей рукой высокий лоб и сказал задумчиво:

— А знаете, придется, пожалуй, ехать без провожатого. Весь мой народ должен быть тут, на совещании. Впрочем, — и в его спокойных, больших, стального цвета глазах вдруг мелькнула озороватая лукавинка, — впрочем, есть один человек... очень серьезный товарищ... только...

Он позвонил и сказал пожилой секретарше, бесшумно возникшей в дверях:

— Пригласите ко мне практиканта. Если он ушел, пошлите за ним машину. — И, обернувшись к нам, добавил: — Только уговор: вслух не удивляться и провожатого вашего вопросами о его личности не смущать. Я вам потом сам все объясню.

Усталое лицо начальника сохраняло прежнее холодно-деловое выражение, но глаза его смеялись уже откровенно.

В это время дверь открылась, и из-за портьеры появилась щупленькая фигура подростка в ватнике. Слишком большой по размеру, ватник этот сидел на нем, как водолазная рубаха, и рукава его были даже не загнуты, а закатаны. На вид вошедшему можно было дать лет четырнадцать, но лицо его, совсем еще детское, было необычайно серьезно, и это взрослое выражение как-то особенно не вязалось с носом-пуговкой, густо поперченным крупными золотыми веснушками, с пушком на щеках.

— Вот, познакомьтесь, Константин Ермоленко, наш практикант... Костя, отведите товарищей на объект. Все им покажете.

Странный практикант серьезно кивнул головой. Повидимому, выполнять подобные поручения было ему не в диковинку. Мальчишеским жестом он поддернул свой непомерный ватник и при этом серьезно сказал:

— Хорошо. Попрошу за мной.

Необыкновенный проводник наш оказался бесценным спутником. Он всю дорогу рассказывал о строительстве; точнее, не рассказывал, а толково отвечал на вопросы, и ни один из них не мог застать его врасплох.

Строительство он знал отлично, и знал о нем именно то, что могло показаться интересным новичкам. Память у него была поразительная. Впрочем, относясь к своему делу очень ответственно, он не вполне доверял своей памяти и иногда лез в карман, извлекал замурзанную и истертую записную книжку и уточнял по ней названия или цифры.

Но особенно в нашем проводнике подкупало то, что он весь как бы сросся со стройкой — думал о ней как о чем-то своем, личном. На нас, людей, впервые попавших сюда, он смотрел снисходительно и считал долгом все пояснять в популярных сравнениях.

Так мы узнали, что намывная плотина похожа на горный хребет, что машины бетонного завода переваривают в день больше чем целый состав цемента, что если вытянуть в одну нитку всю металлическую арматуру, которую предстоит заложить в тело сооружений, то получилась бы стальная полоса, которой можно было бы опоясать земной шар.

На стройке его знали и, должно быть, любили. Кое-кто из встретившихся инженеров — правда, не без легкой, теплой усмешки — поздоровался с ним, а шофер одной из тяжелых машин, возивших бетон, поравнявшись с ним, притормозил и, высунувшись из кабины, крикнул:



Константин Ермоленко.

— Не на поселок ли, Константин Николаевич, путь держишь? Влезай в кабину, подкину до бетонных.

Когда же мы поднялись на гребень плотины и огни стройки засверкали внизу так густо, будто обильные осенние звезды, отраженные в черной воде, наш юный проводник стал просто поэтом. По каким-то одному ему видимым признакам угадывая сооружения в россыпи огней, он говорил о них так, будто перед ним простиралось и неоглядное море, созданное руками человека, и огни маяков на концах волнорезов, и аванпорт, и убежища кораблей от бури, и сами корабли, поднимавшиеся и опускавшиеся в шлюзах.

Должно быть, его маленькое увлекающееся сердце так было полно всем этим, что он действительно видел во тьме, прикрывавшей сухую изрытую степь, все эти сооружения, известные тогда только по чертежам и эскизным проектам. Когда же он обо всем этом говорил, показывая то туда, то сюда тоненьким, мальчишеским, перепачканным чернилами пальцем, на его лице, испещренном комичными веснушками, сияла такая радостная вера, что им можно было залюбоваться.

Помня обещание, мы не стали расспрашивать нашего провожатого ни о чем лично его касающемся, хотя маленький энтузиаст все больше интересовал нас. Простившись, мы искренне поблагодарили его за содержательную беседу, за помощь и с нетерпением двинулись в кабинет начальника, окна которого все еще были освещены.

— Ну как? — спросил он, поднимая от бумаг глаза.

— Замечательно!

— Я не об этом. Это само собой... А как наш практикант: пояснил, показал?

— Ради бога, объясните, где вы откопали такого чудесного парнишку?

В усталых глазах строителя опять засверкали ласковые лукавинки.

— А хорош, правда? Ему сейчас пятнадцатый год. В его возрасте мы еще в бабки играли. А он — живая энциклопедия стройки. Все знает, всем интересуется, во все встревает.

— А почему его зовут «практикантом»?

Строитель некоторое время перебирал бумаги, потом отодвинул их, как бы решив, что трудовой день, затянувшийся чуть ли не до рассвета, закончен, и, откинувшись на кресле, не торопясь, со вкусом рассказал историю Константина Ермоленко, которого все на стройке, даже официальные люди, звали практикантом.

История эта неожиданно оказалась совсем не замечательной. Много людей устремляется сейчас на стройки пятилетки.

Одних влечет благородное желание положить свой кирпич в исторические сооружения; других увлекает романтический пафос созидания; третьи считают, что на этих стройках они получат возможность лучше проявить свои способности; четвертых влекут новые, невиданные профессии, гигантская техника; пятых — и такие есть — тянет к длинному рублю. Отделу кадров приходится ежедневно отвечать на сотни письменных предложений. Десятки специальных людей принимают заявления и оформляют на работу тех, кто приезжает, как тут говорят, «самотеком».

В этом самотеке прямо на место стройки прибыл и окончивший шестой класс Константин Ермоленко. Он решил строить канал и в первый же день каникул сел на пароход. Нужно честно сказать: он сел без билета и был с позором ссажен на ближайшей пристани. Но дорожные неприятности не охладили его пыла. Двигаясь где пешком, где на попутных грузовиках, он добрался до стройки и отыскал контору отдела кадров.

Ему отказали, резонно заявив, что он мал. Мальчик пробился к начальнику отдела, показал ему передовую комсомольской газеты, призывавшую молодежь идти на стройки. Даже передовая, смутившая юное сердце, не произвела впечатления на начальника кадров. Он был неумолим. Но и новый отказ не укротил мальчика. Он проник в управление, в приемную самого начальника стройки.

— И вот секретарь докладывает: такой-то просит принять, — рассказывал начальник, и ласковое выражение его глаз удивительно контрастировало с усталым, неподвижным лицом и будничным, деловым тоном. — Отвечаю: «Вы же знаете, что я наймом на работу не занимаюсь». — «Очень вас прошу, примите». Надо вам сказать, что секретарь у меня — женщина строгая, отнюдь не сентиментальная. А тут даже голос просительно дрожит. Вижу, что что-то сверхобычное. «Зовите». И является. Это он сейчас большой ватник носит, чтобы взрослее казаться, а тогда вошел совсем маленький парнишка. И заметьте, с достоинством вошел. И жалуется, что его не берут на работу. Говорю: «Правильно не берут! Опоздал родиться лет на пять». Подает газетку, которая совсем у него истрепалась. Вижу, тяга у него совершенно неистребимая. Фанатик какой-то. Убеждаю его: «Не торопись, твое впереди, на твой век строек хватит, тебе учиться надо. Завтра у меня самолет в Ростов идет — вот домой тебя и отправлю... Никогда не летал? Ну вот, полетаешь». Куда там полетаешь! Он вдруг заявляет: «Вы студентов на практику принимаете? Вот и меня возьмите практикантом, на время каникул». Этим он меня и

победил. Ну, думаю, была не была — в нарушение всех правил, возьму. И взял курьером. А он, видите, как-то сам собой в порученцы выдвинулся. Светлая голова! А память какая!

И когда уже совсем перед рассветом мы вышли из темного здания на пустые улицы нового, недавно раскинувшегося в степи поселка, знаменитый строитель, жадно вдохнув свежий степной, горько попахивающий полынью воздух, сказал с мечтательной улыбкой:

— А каких они дел наворочают, такие-то вот, когда они вырастут и возмужают!





СОЛДАТСКИЙ СИРОТА

На великих стройках, где люди вооружены самой передовой советской техникой и потому настоящее мастерство их особенно ценится, трудовая слава разносится быстро. Странствуя по огромной трассе, мы много слышали о Викторе Георгиевиче Мохове — скреперисте, слывшем среди товарищей по профессии замечательным мастером.

Люди, отдаленные от него сотнями километров, никогда его в глаза не видавшие, с увлечением и знанием дела принимались объяснять методы работы, введенные Виктором Георгиевичем, и все введенные им приемы, позволявшие ему достигнуть удивляющей всех высокой производительности своего земленоса. Из этих рассказов о Мохове как-то сам по себе возник и сложился образ знаменитого скрепериста, которого воображение рисовало почему-то обязательно в виде демобилизованного гвардейца-танкиста, одного из тех ветеранов Великой Отечественной войны, который, пересев с военных на мирные машины, со страстью и немеркнущим огоньком в душе занимается сейчас мирным трудом.

Таким я и думал встретить Виктора Георгиевича, приехав в район, где он работал. Каково же было мое удивление, когда вместо ожидаемого ветерана с гвардейским знаком на лацкане штатского пиджака, с колодками пестрых орденских лент в комнату вошел смуглый застенчивый юноша, с губ которого еще не совсем исчезла детская припухлость. Черные глаза конфузливо смотрели из-под темных, густых приспущенных ресниц. Он неловко протянул большую, сильную, но еще по-юношески нескладную руку и коротко отрекомендовался:

— Мохов.

— Виктор Георгиевич. Скреперист?

— Он самый. Только «Георгиевич»-то убавьте пожалуй, называйте просто Виктор. А то сами видите, какой же я Георгиевич!

Он улыбнулся. Смуглое лицо его осветилось блеском ровных белоснежных зубов.

И в самом деле, величание по отчеству к нему не подходило. Но хотя, сверх ожидания, Виктор Мохов оказался действительно очень юным, короткая жизнь его была далеко не легкой и не простой.

Он родился в степном хуторе Илларионовка, и с раннего детства, с тех пор, когда мать, уходя на колхозное поле, относила его в детский сад, у него определились две склонности: к механике и к музыке. Уже в первых классах школы он мечтал попеременно то стать изобретателем, то сделаться музыкантом. При всех этих увлечениях учился он хорошо, и отец его, Георгий Мохов, колхозный бригадир, мечтавший о том, чтобы дети его ни в чем не знали нужды, купил сыну простенькую гармонь и кое-какой слесарный инструментишко. Но больше всего он хотел видеть детей образованными, и Виктор помнит, как отец частенько говорил матери, что меньше чем на среднее образование для них он не согласен. Высшее захотят — пусть получают и высшее, но уж среднее — это обязательно.

Жизнь распорядилась иначе. Началась война. Зажиточный колхоз имени Первого мая, лежавший на пути фашистских армий к Сталинграду, был начисто опустошен и разграблен врагами. Солдат Георгий Мохов погиб, защищая волжскую твердыню. Гитлеровцы, разместившиеся в его хате, как-то из пьяного озорства разорвали гармонь, подаренную отцом мальчику, а потом, отступая, захватили и слесарный инструмент, которым Виктор очень гордился. Когда Советская Армия разгромила захватчиков под Сталинградом и колхоз был освобожден, Виктор остался единственным мужчиной в доме, при хворой матери и маленьких сестрах. Ему шел тогда одиннадцатый год.

Вот тут-то, в трудный час, впервые по-настоящему и проявился его характер. После гибели отца он почувствовал себя совсем взрослым. Это он убедил одноклассников помочь матерям вспахать заросшие поля, которые всего несколько месяцев назад были плацдармом битвы. А когда из города Калача, что на Дону, на помощь колхозу пришел известный в этих краях красногвардеец и партизан гражданской войны, сподвижник Ворошилова и Буденного Николай Иванович Бастры-

кин и зажег в старой кузнице горн, чтобы смастерить хоть какой-нибудь инвентарь, — он увидел в дверях худенького парнишку в немецком офицерском кителе вместо пальто, в больших сапогах явно трофейного происхождения.

— Тебе что, малый? — спросил старый кузнец, раскладывая по местам небогатый, принесенный им из города инструмент. — Мать, что ли, за чем послала?

— Меня к вам, дяденька, правление колхоза прикомандировало, — ломким баском отозвался смуглолицый кареглазый паренек. — В помощники к вам определили... молотобойцем и вообще.

Старику показалось, что он ослышался. Но парнишка снял и аккуратно повесил на гвоздик свой китель, осмотрелся, засучил рукава слишком большой для него, очевидно отцовской, рубахи и серьезно, даже слишком серьезно для своего возраста, спросил своего нового начальника:

— Ну, начнем, что ли? Что мне делать-то? — И добавил, явно кому-то подражая: — Весна-то — вон она на дворе. Она не ждет. Инвентарь-то — он во как нужен!

Так состоялось знакомство Виктора Мохова со своим первым наставником в области техники Николаем Ивановичем Бастрыкиным, искусным кузнецом, ветераном борьбы за власть Советов.

Подобно всем истинным мастерам, Бастрыкин был немножко поэтом и о железе, из которого он на пару со своим молотобойцем ковал полезные для колхоза вещи, говорил не как о материале, а как о живом существе, строптивом, упрямом, которое нужно было подчинить своей воле, заставить принять нужные формы и уже в новом качестве верно служить человеку.

Настоящий, сортовой металл в военные годы для колхозной кузницы достать было негде. Но тонны первоклассной легированной стали валялись вокруг. На зубья борон, на лемехи и шины, на детали сельскохозяйственных машин приходилось перековывать и перетачивать всяческие орудия войны, брошенные врагом при отступлении. И юный молотобоец любил слушать, как его учитель, осыпая раскаленную железину точными, умными ударами, беседовал с ней под перебор молотков:

— Значит, упрямишься, не сдаешься, тэк-с... Значит, тебя фашист сковал, чтобы людей убивать, чтобы землю кровью человеческой умывать, так тебе на мирные дела перековываться и неохота... Не выйдет, не выйдет — перекуем!.. Витька, не зевай, бей чаще. Вот так... Уж на что силен их Гитлер — в наши степи ворвался, а много ли его назад от Сталинграда

ушло? Вот то-то и оно. И тебя к мирному делу приспособим... Витька, справа покрепче вдарь. Так, так... Ну, видишь, и подалось, и правильно... Нет такой силы на свете, чтобы не мог ее одолеть советский человек.

Иногда металл оказывался слишком сухим, не поддавался ударам и вдруг трескался или разлетался пополам. Тогда кузнец сдвигал очки на лоб и удивленно оглядывал испорченную поделку:

— Сломалась? Неохота мирному делу служить? Что ж, туда тебе и дорога... — Он бросал треснувшую железку в мусор и брел в угол, где были свалены целые кучи военного хлама: — Ничего, попокладистее отыщем!

Так, под воркотню и философствования старого кузнеца, смышленый парнишка, поначалу еле поднимавший тяжелую кувалду, постепенно вникал в кузнечное мастерство и за два года научился не только выполнять мелкий ремонт инвентаря, но и серьезные кузнечные поделки: ошиновку колес, сварку, нарезку гаек.

И еще на пользу пошло ему общение с Николаем Ивановичем потому, что тот был живым носителем славной истории здешних мест. Когда, отработав положенное, они шабашили и Виктор заливал горн, старик, сев на приступочку и закурив неизменную свою трубку, неторопливо рассказывал мальчику, прибиравшему в кузнице, о славном ворошиловском походе через эти степи, о непобедимой силе советского оружия и героизме людей, дважды спасавших вот тут, в этих степях под Сталинградом, честь и независимость своего отечества:

— Мы народ мирный, труженики. Нам чужого не надо, возле положи — не возьмем. У нас все свое есть, а чего и нет — найдем, добудем, сделаем. Ну, а уж коли кто за нашим добром полезет, тот заранее с головой прощайся... Силен был Гитлер, ох, силен, всю Европу сапогом потоптал, а тут под Сталинградом зубы свои и оставил. Вон они, его зубы, по всему степу ржавеют... Так ему, живодеру, в Сталинграде побывать и не довелось. А уж наши в Берлине будут — это уж, Витька, верно, как то, что мы с Климентом Ефремовичем вот здесь, в наших краях, беляков, как зайцев, по степу гоняли... А ведь тоже вояки были лихие, закаленные насухо...

— Ну, а товарища Сталина вы, Николай Иванович, видели?

— Не совру, не видел... Близко от его штабу был и раз пакет на его имя свез, а увидеть не посчастливилось... А вот Ворошилова Климента Ефремовича — его вот, как тебя, видел, и Буденного Семена Михайловича — тоже видел. С Семеном Михайловичем хорошо знаком.



Виктор Мохов.

Так на порожке задымленной кузницы мальчик и старик засиживались иной раз до петухов, отдыхая от трудового дня.

...Когда колхозная жизнь восстановилась, открылась МТС и прибыли с Урала новые тракторы, старый кузнец сложил в мешок свой инструмент:

— Теперь и без меня каша сварится. Разве нам с тобой, Витька, и нашей кузнице с эмтээсовскими мастерскими тягаться! — сказал Николай Иванович и, прощаясь со своим учеником, притиснул его к себе сильными, не знающими устали руками. — Я на покой, а ты, Витька, смотри, чтобы у меня в жизни не коптить, как худая головешка в горне! На полный накал живи, такое теперь время.

Виктор Мохов хорошо запомнил этот завет человека, приобщившего его к мастерству. Неутомимый в труде, упорный в достижении благородной цели, увлекающийся, но умеющий планировать свое время, он действительно стал жить «на полный накал».

Когда надобность в кузнице у колхоза миновала, Виктор рассудил, что теперь правильнее всего стать трактористом. Он пошел в МТС и шесть суток не отходил от машины. Туда, под шатер сарая, где он возился возле трактора, мать и посылала ему с сестренкой еду. Там он и спал в уголке, на брезентах, подмостив под голову сиденье из кабины грузовика. На седьмые сутки он вывел трактор в поле и работал на нем так искусно и притом так экономил горючее, в таком отличном состоянии держал машину, что через несколько дней бригадир сам представил его для переучивания на гусеничный трактор «НАТИ», что уже само по себе было большой честью, так как тракторов этих в МТС было тогда немного и их доверяли только лучшим из лучших.

И Виктор Мохов овладел новой машиной. О юном трактористе пошла по колхозам добрая слава. Расчетливые председатели всячески «создавали ему условия», стараясь залучить способного работника к себе. Девушки, с песней выходившие на вечернюю гулянку, всегда старались бродить поближе к полям, где работал пригожий комсомолец-тракторист, к которому тянула их не только его трудовая слава, не только густой каштановый чуб, лихо развевающийся под козырьком кепки, но и его умение «душевно» играть на аккордеоне.

Да-да, такая уж у нас страна и в такое счастливое время мы живем, что, несмотря на любые препятствия, всем хорошим задаткам человека суждено у нас развиваться. Совершенствуя свои способности к технике, юный тракторист не забыл и о музыке. Взамен отцовской гармошки, безжалостно разодранной скучающим фашистом, он из первых же своих заработков купил



Виктор Штиглиц.

полуаккордеон, научился на нем играть. И теперь по вечерам, когда трактор был обтерт, заправлен и выверен до последней гайки, молодой тракторист доставал свой инструмент и, усевшись на завалинке, напевал приятным небольшим баритоном любимые свои песни и среди них чаще всего — про гармониста, одиноко бродящего ночью по околицам родного села.

Но вот в родных его степях началась стройка. Вереницы машин непрерывной чередой потянулись дорогами, на обочинах которых еще ржавели пробитые и помятые каски чужого, иноземного образца.

Степь ожила. Молодой тракторист лишился покоя. Еще смутно представляя себе сущность работ, разбудивших пустынные места от векового сна, он по размаху этих работ понимал, что дело затеяно грандиозное, и его, с детских лет тянувшегося к технике, неудержимо повлекло на стройку. Он пошел в райком комсомола и поведал секретарю свою мечту.

— Эх, Виктор, я бы и сам туда с радостью!.. — искренне признался тот и стал было рассказывать о планах строительства, о которых сам недавно узнал из обстоятельного доклада на партактиве. Вдруг секретарь перебил себя: — А как у вас в МТС с трактористами?

— С кадрами у нас полный порядочек: есть кадры...

И вот Виктор Мохов с путевкой райкома на попутном грузовике прибыл на стройку. Там проверили его знание тракторного дела, пригляделись к нему, и через месяц подготовки он уже водил транспортный трактор «С-80». Еще на курсах он познакомился с Виктором Штиглицем — комсомольцем с хутора Варламовка, тоже прибывшим на стройку с путевкой райкома комсомола. Они подружились. Их сроднила любовь к новой машине. Договорились быть сменщиками.

Но тут в строительный район прибыла новая партия землеройных машин — скреперов, бульдозеров, грейдеров. Понадобились люди. Молодым трактористам посоветовали переучиться на скреперистов. Что ж, раз надо, какой разговор!

С уважением осмотрели друзья эту новую, удивительную, чем-то напоминающую скорпиона машину, позволяющую набрать и отвезти в любое заданное место сразу десять кубометров земли. Виктор и не предполагал, что подобные существуют. Впрочем, проработав на стройке месяц, он разучился чему бы то ни было удивляться.

Вскоре друзья получили трактор со скрепером. Теперь нужно было быстрее овладеть новым делом, овладеть без каких-либо поломок, осторожно, научиться работать так, чтобы не запятнать комсомольский значок, который их приятель, сме-

кавший в рисовании, изобразил масляной краской на кабине трактора.

Учились они только месяц, но что это был за месяц! Кабина машины не пустовала ни днем, ни ночью. Подушки ее сидений не остывали. Все, чем раньше увлекались новые друзья, было забыто. Стопка непрочитанных книг, суливших юношам немало радостей, моховский полуаккордеон, предмет ревностного внимания всего общежития, и походные шахматы Штиглица — все это в бездействии пылилось на тумбочках. Соседи по комнате уже и не просили Мохова «пробежаться» по клавишам и ладам. Они знали: раз он сам не притрагивается к аккордеону, без чего, как он говорил, «и кусок за обедом в рот не полезет», — значит новое трудное дело без остатка поглотило все его мысли, чувства, стремления.

Зато никто не удивился, когда Мохов и Штиглиц через месяц уже выбрали на трассе первые кубометры «деловой» кубатуры. Самозабвенная учеба принесла плоды. Они сразу же стали в ряд лучших скреперистов района, а потом и всей стройки.

Ценителям убедительных аргументов и цифр можно сообщить, что в первый год своей работы друзья выполняли нормы на сто пятьдесят процентов, а во второй — подняли выработку до двухсот. Но дело тут не только и не столько в количествах кубометров земли, переброшенных комсомольским скрепером. Главное в том, что Виктор Мохов вместе со своим сменщиком разработали свои, хорошо осмысленные методы работы, применили свою сноровку, позволяющую по-новому, со значительно бо́льшим результатом использовать эту великолепную советскую машину, заменившую вековечные грабарки и тачки.

В помещении клуба строителей Донского района, где мы впервые познакомились с Виктором Моховым, он показался нам тихим, застенчивым юношей. Таким он и был в жизни. Но когда мы увидели его за работой в кабине машины, это был другой человек. Посуровевший, собранный, он едва заметными, но очень точными движениями ловко вел машину. Карие глаза, сразу потерявшие детское простодушие, цепко смотрели вдаль. Трактор и огромная, неуклюжая с виду машина, которую трактор тащил, покорно повиновались юноше. Казалось, он сросся, слился с машинами и они стали как бы продолжением его рук.

Сбылась мечта солдатского сироты Виктора Мохова — он стал знаменитым механиком. Сбывается и другая его мечта — он становится музыкантом. Под окном нового уютного домика в поселке строителей, где вместе с матерью и сестрой жил знаменитый скреперист, по вечерам собиралась молодежь.

Придя заранее, девушки и парни усаживались на ступеньки крыльца и терпеливо ждали, когда Виктор придет со смены, умоется, поест, выйдет к ним и развернет мехи своего нового баяна.

Хорошо играл знаменитый скреперист! Приятно было попеть и помечтать под звуки его голосистого инструмента, посмеяться и погрустить нестойкой юношеской грустью. Только вот не всегда можно уловить и понять капризную переменчивость его мелодий. Переплетаясь, как и в самой истории этого славного края, звучали в них и боевые марши гражданской войны, под которые его учитель, старый красногвардеец, бил под Царицыном белоказаков, и славные песни сталинградской обороны, которые певал его отец, и современные советские песни, славящие труд и любовь мирных людей.

И в этом сплетении знакомых мелодий все чаще и чаще мелькают новые напевы, возникающие тут, на крыльце, в которых гремит новая, мирная слава этих исторических земель, обильно политых святой кровью дедов и отцов счастливого поколения Виктора Мохова.





ПОСЫЛКА С ОБЪЯВЛЕННОЙ ЦЕННОСТЬЮ

В этот день с самого утра начальник одного из строительных районов инженер Илья Викторович Пастухов то и дело поглядывал на часы. На главном объекте наступал самый ответственный период. Инженер Пастухов, всегда гордившийся своей организованностью, вдруг начал ощущать, что сутки становятся коротковатыми.

Накануне, поздно вечером, прибыли из Ленинграда монтажники. Вручив Илье Викторовичу свои командировочные удостоверения, они не захотели ехать в Дом для приезжающих, где уже были приготовлены комнаты, и стали просить, чтобы их немедленно, сейчас же отвезли на строительство.

Признаться, и самому Илье Викторовичу не терпелось показать приезжим свое детище, где им теперь предстояло установить и собрать машины, какие не доводилось еще монтировать ни одному механику в мире. Он сам вызвался сопровождать монтажников.

Осматривая бетонные махины, вырываемые из тьмы огнями прожекторов и оттого казавшиеся уж совершенно фантастическими, монтажники так увлеклись, что вернулись к машинам, когда на востоке, над степью, уже разгоралась узкая оранжевая полоса.

Прощаясь с Ильей Викторовичем, старый инженер, возглавлявший группу монтажников, задумчиво произнес, стряхивая с плаща цементную пыль:

— Читал, читал вашу статью! Интересная статья. Но должен вас огорчить: не нашлось у вас, голубчик, слов, чтобы передать все величие, всю грандиозность вот этого... — И он повел рукой в сторону стройки, уже четко вырисовывавшейся в розовых утренних лучах.

— Я, как вам известно, строитель, а не публицист, — суховато ответил Илья Викторович, который, как и все редко выступающие в печати люди, очень гордился своей статьей.

Ложиться спать начальнику района уже не пришлось. Подъезжая, как и всегда, ровно в восемь к приземистому крылатому зданию управления, он мысленно распределил свой рабочий день так, чтобы выкроить время для короткого послеобеденного сна. Вечером предстояло совместное совещание строителей и монтажников, и он понимал, что туда нужно прийти со свежей головой.

Вот почему, предупредив по телефону жену, что выезжает обедать, он с особой поспешностью спрятал в сейф бумаги и торопливо двинулся из кабинета, на ходу надевая плащ. Но тут его догнал начальник канцелярии. Протянув Илье Викторовичу какую-то бумажку, он сконфуженно заявил:

— Не выдают. Категорически не выдают. Говорят, не можем. Должен явиться лично сам посылкополучатель.

— Что за дурацкое слово? Какой посылкополучатель? — сердито отозвался Илья Викторович.

Начальник канцелярии упрямо следовал за ним:

— Посылкополучатель — это вы. А посылку мне не выдали, потому что она с объявленной ценностью. Видите: цена — пятьсот рублей. Уговаривал, уговаривал — ни в какую. Твердят одно: пусть явится сам посылкополучатель, имея при себе паспорт.

Только теперь Илья Викторович понял, о чем ему говорят. Недели две назад в своей текущей, весьма обширной почте он обнаружил извещение о посылке. На штампе стояло: «Сочи». И сколько Илья Викторович и его жена ни раздумывали, они так и не смогли догадаться, кто и по какому поводу мог прислать им посылку. Среди множества дел Илья Викторович забывал о ней, и дважды почта присылала напоминание. Вчера, после очередного напоминания, он поручил начальнику канцелярии выручить наконец злополучную посылку, и вот результат: нужно ехать самому. А времени до совещания осталось так мало!

С шумом захлопнув дверцу машины, Илья Викторович буркнул шоферу:

— Центральный поселок. К почте. Быстро!

Теперь он был уверен, что понял тайну неожиданной посылки. Наверно, кто-нибудь из сослуживцев по прежним стройкам, каких в послужном списке инженера Пастухова числилось немало, попал на курорт, вспомнил на досуге о совместной работе и решил порадовать старого товарища фруктами или бутылкой вина.

Но почему посылка оценена в такую большую сумму?

И хотя предполагаемый друг, очевидно, желал сделать ему, Илье Викторовичу, приятное, инженер неприязненно думал о нем, с нетерпением следя за тем, как минутная стрелка вращается на красном мерцающем циферблате... «Не нашел более подходящего времени для презентов, чудак!»

Несколько раз Илья Викторович порывался сказать шоферу: «Назад, домой», но, вспомнив, что за двумя напоминаниями почта пришлет третье, пятое, мысленно махнул рукой.

В почтовом отделении, у окошка, где выдавали и принимали посылки, стояло человек десять. Некоторые поклонились Илье Викторовичу, а находившийся у самого окна экскаваторщик Иван Малыгин даже предложил ему уступить свое место. Инженер отказался. Он был щепетилен в таких вещах и сам всегда негодовал на тех, кто куда-нибудь лез без очереди.

Впрочем, теперь ему было все равно. Заснуть после обеда не удастся, а сердиться на человека, пожелавшего сделать приятное, глупо. Придя к такому выводу, Илья Викторович сразу успокоился, принялся обдумывать предстоящее совещание и так увлекся этими своими мыслями, что прозвучавший из окошечка вопрос: «Чего же вы стоите? Давайте извещение и паспорт» — застал его врасплох.

Посылка оказалась объемистой, тяжелой. Перевернув ее, Илья Викторович услышал, как внутри ящика что-то переместилось, но что именно, по звуку определить было невозможно. «Действительно, фрукты или вино. Не морские же камешки будут слать из Сочи в посылке с объявленной ценностью!» — подумал инженер.

Он прочел на полотне, что отправил эту посылку Лямин Арсений Федорович, проживающий в санатории «Красный луч». Но кто этот Лямин и где он его встречал, Пастухов не мог вспомнить.

Когда, не раздеваясь, в плаще и шляпе, с громоздким ящиком в руках, Илья Викторович появился в столовой, жена ничего не сказала и только вздохнула, поглядев на укутанную шалью супницу, стоявшую посреди стола. Инженер шумно поставил ящик рядом с супницей и произнес как можно беззаботнее:

— Принимай подарок из Сочи. Чувствую: фрукты и хорошее вино.

— Подарок? А от кого?

— Не знаю. Какой-то Лямин, Арсений Федорович Лямин. Не помнишь такого?

Жена не помнила. Пока инженер, вооружившись топором, возился у ящика, она стояла возле и, наморщив брови, вопро-

сительно повторяла: «Лямин? Лямин? Лямин?..» Нет, никакого Лямина она решительно не знает.

Заскрипели вырываемые гвозди. Крышка сорвана. В ящике, бережно выложенном газетной бумагой, лежали какие-то аккуратные мешочки. Илья Викторович взял тот, что побольше, распорол суровую нитку, которой мешок был зашит, и на стол хлынул поток желудей. Тяжелые, юркие, они раскатились по скатерти и упруго застучали по полу. Пораженный, стоял Илья Викторович над россыпью коричневых лакированных желудей, напоминавших большие янтарные бусы.

— Чорт знает что! — сказал он наконец, сердито бросив мешок на пол.

Теперь ему казалось, что над ним неумно подшутили. И из-за этой шутки он потерял столько времени, которое было так дорого, так нужно!

— Тут не только жолуди, а и еще что-то, — задумчиво отозвалась жена, вынимая из ящика мешочки поменьше.

В них все так же бережно были упакованы крылатые семена клена — те самые, из которых когда-то, учась еще в первом классе, Илья Викторович делал себе «носики», — блестящие орехи каштанов, коричневые чечевичинки белой акации и еще какие-то, совсем уже неведомые инженеру-строителю семена.

— Чорт знает что такое! — повторил Илья Викторович. — Ничего не понимаю. Адресом, что ли, ошиблись?

Жена его, продолжавшая рыться в ящике, вдруг вскрикнула:

— Илюня, тут и письмо!

Письмо было именно ему, Илье Викторовичу Пастухову, начальнику строительного района, лауреату Сталинской премии. Адрес был очень тщательно выведен почерком, показавшимся Илье Викторовичу знакомым, потому что именно так старательно и ровно выводил буквы он сам когда-то, очень давно. Еще не понимая, в чем дело, он вскрыл конверт с тем грустновато-радостным волнением, какое всегда испытывает пожилой человек, прикасаясь к миру своего детства.

На жесткой, тщательно разлинованной бумаге он прочел:

«Уважаемый Илья Викторович Пастухов!

Пишем коротко, так как знаем, что вы очень заняты у себя на строительстве и время вам дорого. Прочитав вслух на пионерском сборе вашу замечательную статью, мы решили вам написать. Ваша статья нам очень понравилась, потому что вы здорово описали, как растет Волго-Дон и какие это всё будут мощные сооружения. И еще нам очень понравилось, как вы описали, какие огромные машины у вас там работают и сколько людей они заменяют и как они все хорошо и умно придуманы.

Вы написали в своей статье, что рабочие многих заводов помогают вам вести стройку и что весь народ участвует в ней. Мы долго думали, чем мы можем помочь вам. И вот что придумали. Мы, пионеры, находящиеся здесь на излечении, решили собрать в нашем парке семена красивых деревьев и кустов и послать их вам на канал, чтобы вы их там посадили. Некоторые ребята и девочки у нас уже подлечились и ходят. Вот они и собрали все то, что мы посылаем вам. Наша помощь, конечно, маленькая, но нам очень хочется хоть чем-нибудь участвовать в стройке, и мы будем очень рады, если из этих семян у вас вдоль канала вырастут красивые деревья и кусты. Передайте наш пионерский привет товарищам Виктору Мохову, Евгению Симаку, Марии Болдыревой, Зое Поляковой и другим замечательным строителям, о которых вы написали в своей статье. Ваша статья нам очень понравилась, потому что мы точно сами побывали у вас на стройке.

Председатель совета отряда *А. Лямин*».

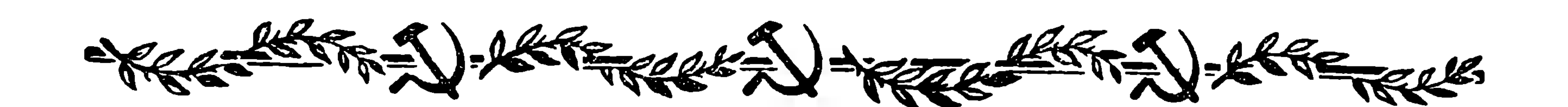
Потом шли еще подписи. Их было много. Они были тщательно выведены, но Илья Викторович уже не смог их разобрать.

Долго, до самого совещания, сидел он с женой у стола с безнадежно остывшим обедом, перебирал семена, перечитывал письмо. В управление он вернулся бодрый, жизнерадостный, будто выспался всласть за много бессонных ночей, принял холодный душ и выпил на дорогу хорошую чарку. Проходя мимо инженера-монтажника, он озоровато толкнул его в плечо и, наклонившись к его уху, не без яда заметил:

— А насчет статьи-то моей вы ошибались... Есть и иные мнения. Совсем противоположные. Вот, извольте-ка прочитать письмецо. — И он протянул конверт, найденный в посылке.

Впрочем, послание пионеров прочел не только приезжий инженер. Илья Викторович любит показывать это письмо всем, кто приезжает к нему в район. Показал он письмо и мне и рассказал при этом всю изложенную здесь историю. Но взять письмо с собой не разрешил, а позволил только списать, после чего свернул его с величайшей тщательностью, зложил в изрядно уже истершийся конверт и запер в сейф, где он хранит важные чертежи и особенно ценные документы.





ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ

Мы сидели на вершине искусственного холма, как бы венчавшего собой высокую гряду отвала. Две такие гряды в виде черных, с рваными краями хребтов уходили далеко назад и терялись в облаках колючей пыли, гонимой резким степным ветром. А перед нами трудилась целая семья землеройных гигантов. Четыре шагающих экскаватора работали парами друг против друга. Раздирая ковшами сухую ровную степь, они копали широкую выемку Земснаряды шли по дну этой выемки, углубляя ее. Они двигались один за другим, как два трудолюбивых крота. За ними оставалась полоса мутной воды. И еще четыре стальных богатыря, шагая вслед, как бы окончательно оконтуривали откосы.

Все эти механизмы действовали почти бесшумно. Поводя ажурными стрелами, экскаваторы легко, как масло, срезали широкие полосы влажной земли, поднимали в ковшах вверх, относили в сторону и с едва слышным шлепаньем обрушивали на вершину отвала.

Перед машинами лежала ровная солончаковая степь. Позади них, между двумя хребтами откосов, тянулась, точно русло большой высохшей реки, широкая выемка. Кругом не было ни души.

Что там греха таить — этот безлюдный пейзаж показался нам поначалу очень унылым. Было похоже, что здесь произошли какие-то малопонятные геологические катаклизмы, вздыбившие все эти массы черного грунта, а бесшумно продвигавшиеся вперед и кромсавшие степь машины казались пришельцами из какого-то далекого, фантастического мира. Рядом с ними человек чувствовал себя одиноко и неуютно.

Но спутник наш — невысокий, плотный мужчина в удобном темносинем комбинезоне, с загорелым, обветренным лицом, на котором весело сверкали светлые, точно выцветшие на степном солнце глаза, — повидимому, воспринимал пейзаж совсем по-другому. Не загораживаясь от колючей песчаной пыли, он довольно улыбался обветренными губами и, обводя маленькой сильной рукой просторы развороченной земли, говорил:

— Разве не здорово, а? Вы представьте себе на минуту, что такую вот выемку пришлось бы рыть в царской России. Да что там царская Россия! Представьте строительство такого канала даже у нас лет двадцать тому назад. Вы знаете, сколько бы вы увидели тут рабочих? Десятки тысяч! Им было бы тесно на этом пространстве, они мешали бы друг другу. А здесь? Вон, видите, показался человек. Это, кажется, старший механик. Ну да, он и есть; должно быть, несет запасную деталь для «двадцать-девятки». И всё. Остальные — в кабинах экскаваторов, в рубках земснарядов. И их немного. Вечером, когда придет пора сменяться, все они уедут домой в одном грузовике. Ну разве это не здорово, а?

Маленький человек вопросительно посмотрел на нас.

В самом деле, когда я попытался представить себе, какая масса людей должна была бы день и ночь в тяжелых условиях, не разгибая спины, с кирками, лопатами и тачками, трудиться здесь, для того чтобы выбрать и перевезти всю эту землю, которую легко, словно играя, вынимали, выносили, выбрасывали в отвалы эти восемь шагающих гигантов и два совсем уже тихих с виду земснаряда, — окружающий нас пейзаж как-то сразу начал терять свою мрачноватую пустынность.

Наш собеседник — начальник участка землеройных механизмов Дмитрий Георгиевич Иваницкий — продолжал рассуждать, не оглядываясь на нас. Казалось, он просто думает вслух, разговаривает сам с собой:

— А сама работа?.. Может быть, вы догадались по выговору, что я волгарь. Так вот, в детстве мне приходилось наблюдать у нас на Волге землекопов, тачечников, грабарей. Тяжелый труд! Ну-ка, целый день помахай киркой, покопай лопатой, побросай, повози землю! А тут? Сидит человек в удобном кресле, без особых усилий нажимает два рычага и педаль, да что нажимает — едва к ним прикасается! И одна такая вот машина выполняет работу тысяч людей. О земснаряде я уже не говорю. Там и таких усилий не надо. Стоит багермейстер у пульта управления да нажимает пальцем кнопки. Спору нет — работа нелегкая, требует большой квалификации. Но для нее не мускулы — для нее ум нужен. Слышите песню? Это наш экскаваторщик, бригадир Власюк Яков Емельянович. Он все-

гда так вот — работает и поет. «С песней, говорит, дело спорится, экскаватор лучше руки слушается, мысли хорошие идут, голова меньше устает». Слышите, слышите, как заливается?

Сквозь тонкий вой электрических моторов бархатный бас раздельно выводил по-украински старинную песню о белой хате и милой жинке соседа.

И хотя мотиву полагалось быть грустным, так как по песне выходило, что «у мене, сыротынки, нема хаты, нема жинки», мелодия лилась весело, озорно.

Молодой, чистый голос вторил басу, резко выводя концы музыкальных фраз.

— Это электрик ему подпевает... Яша и электрика своего научил петь. «Я, говорит, еще погоди, в своей смене такой ансамбль организую — наши шагающие в пляс пойдут»... Он, между прочим, хороший парень, этот Яков Власюк. У меня тут на участке весь народ подходящий, механизаторы — энтузиасты до мозга костей, а вот Власюк и еще один, Худяков с «двадцать-девятки», — это мастера. Эти не только умеют из своих экскаваторов выжать все, а еще и технику вперед двигают, конструкторам идеи подсказывают. Это уже чемпионы... нет, это слово тут не подходит, виртуозы, именно виртуозы. Машины — вон они, махины какие, а в их руках — что скрипка у искусного скрипача. Они такое на них выделывают, что сердце радуется... Вы гляньте-ка, гляньте!

Экскаватор, из кабины которого продолжала литься песня, действительно работал как-то особенно ловко, я бы сказал — изящно, если это слово вообще можно применить к машине, легко загребающей, подбрасывающей на большую высоту и выкидывающей в отвал сразу почти четыре кубических метра земли.

Дмитрий Георгиевич, продолжавший ласково следить за нами, остался, видимо, недоволен впечатлением от своих слов. Он снял с руки часы с большой секундной стрелкой, пульсировавшей по циферблату.

— Циклом называется момент от захвата грунта ковшом до момента следующего захвата. Этот цикл должен совершаться за пятьдесят пять секунд. Теперь следите с часами за Власюком...

В этот момент экскаватор срезал с откоса огромный, но по масштабам ковша тонкий слой земли, взметнул его на сорокаметровую высоту, пронес высоко над степью, на ходу выбросил на гребень отвала и, описав на своей оси круг, снова опустил ковш.

— Ну, сколько насчитали? — спросил Дмитрий Георгиевич.

— Сорок шесть секунд.



Дмитрий Георгиевич Иваницкий.

— Это много. На этот раз Власюк смазал. Худяков да кое-кто еще уже уменьшили цикл до сорока пяти секунд. Сорок пять вместо пятидесяти пяти! Десять секунд экономии на каждом цикле. Помножьте это на количество машин, на рабочие часы, переведите на выработку грунта. Это же горы земли, выброшенные сверх плана! И все благодаря тому, что светлые головы двух рабочих, Худякова и Власюка, ну, конечно, не без помощи инженеров, ввели простую меру: стали работать не с половинным оборотом, как работали до них, а с полным... Видите, видите, они бросают грунт на ходу, не останавливая машины. Простое, казалось бы, дело, но своей простотой-то оно и сильно. Такие вот простые усовершенствования в сумме своей являются силой, которая убыстряет наше движение вперед.

Попрежнему порывистый ветер бросал в лицо острую крупку, попрежнему клубились над развороченной степью облака пыли, попрежнему однообразен был пустынный пейзаж, но он уже не казался ни унылым, ни мрачным. В хаотических на первый взгляд очертаниях вздыбленной земли глаз уже научился различать и днище, и откосы, и валы канала, а вся панорама работ уже не напоминала последствий геологической катастрофы, а лишь показывала грандиозность дел, какие вели здесь люди, преобразующие природу.

— Слишком уж велики масштабы, сразу их не охватишь, — задумчиво сказал Николай Николаевич Жуков, художник, уже устроившийся со своей огромной папкой на коме сухой глины и всматривавшийся в работу машин прищуренным, точно прицеливающимся глазом.

— Масштабы! — усмехнулся Дмитрий Георгиевич. — Масштабы нормальные. Соответствуют эпохе. В городах, в особенности старых, — там это просто труднее заметить. Там новое возникает в соседстве с унаследованным от прошлого. А здесь голая степь, чистая доска, и мы пишем на ней историю уже с коммунистическим размахом. Я иногда так вот отвлекусь от текущих дел и подумаю. Ведь по каналу, который мы строим, пароходы пойдут в двадцать первом, и в двадцать пятом, и в тридцатом, и еще бог знает в каких там веках. Нас не будет, а память о современниках великого Сталина — о Власюке, Худякове, о тысячах строителей — будет жить в этих сооружениях. Да-да, а что вы думаете!.. И из коммунистического будущего люди скажут всем нам спасибо.

Дмитрий Георгиевич тоже присел на земляную глыбу, развернул свежий носовой платок, обтер им лицо, и когда он его отнял, платок был сер от пыли. Он показал нам его и засмеялся:

— Видали? А ведь привык, не замечаю... Ко всему привык: к морозу, к жаре, к степной грязюке и к этому вот, чтоб ему было пусто, «казачьему дождичку»... Чувствуете, как лицо сечет?

Степь дохнула новым порывом ветра. Поднятый им песок колол лицо, точно булавками.

— Вот вы не спрашиваете, трудно ли мне здесь работать. И отлично делаете. А то на днях тут киношники экскаваторы мои снимали. Полазили по отвалам, устали, пропылились до костей, до бака с водой добрались, весь его до дна осушили и спрашивают: скажите, мол, по совести, не тянет вас отсюда куда-нибудь в Москву или к себе в Горький? Так я, знаете, даже обиделся. За кого же они меня принимают! Скажу вам, как коммунист коммунисту, без всяких там лишних слов: трудно порой, очень трудно, а я вот счастлив, по-настоящему счастлив, что попал сюда, что и мое что-то входит в сооружения, которые переживут века.

— А как ваши домашние об этом думают? — спросил художник.

Жирный его карандаш быстро, точными штрихами переносил на бумагу окрестный пейзаж, очертания удивительных машин и даже стремительный полет облаков пыли.

Дмитрий Георгиевич задумался.

В это мгновение откуда-то из серых облаков ветер вырвал кружевной шар перекати-поля. Странное растение это, подхлестываемое вихревыми порывами, постепенно, толчками, цепляясь за комья грунта, вкатилось на вершину отвала, вздрагивая застряло в щели меж комьев земли, потом вырвалось, понеслось дальше, пересекло котлован и исчезло. Наш собеседник задумчиво следил за его движением.

— Я вот тоже перекати-поле, — сказал он усмехнувшись. — И я и моя семья. И в этом, поверьте мне, нет ничего тягостного, ни обременительного. Да-да, в нашей стране, по-моему, среди других выработался и такой вот тип строителя, который по роду своей профессии никогда не прирастает к месту, а все время движется: построит объект, сдаст — и дальше, на новую стройку, к новому делу, к новой борьбе с трудностями. Но люди, далекие от наших дел, нас почему-то не понимают. И я даже не знаю почему: если легко понять рабочего или инженера, который весь свой век работает на одном заводе, то почему же не понять и нас, строителей, которых профессия заставляет вести кочевой образ жизни, переезжать с одного объекта на другой? В этом наша особая радость — масштабы работ растут прямо-таки в геометрической прогрессии. Двигаясь, с меньших объектов переходишь к большим, с

больших — на громадные, с громадных — на гигантские, равных которым и на земле-то нет... — Он встал и обвел рукой вокруг себя: — Посмотрите, что делается!

И в самом деле, ветер стих, пыль опала, и с высоты отвала открылась панорама работ, простиравшихся до самого горизонта. Невдалеке стал виден врытый в землю бетонный короб еще не законченного шлюза; от него шел уже законченный отрезок еще сухого русла будущей реки, сливавшийся с выемкой, которую копали землеройные машины. Эта выемка была незавершенным продолжением канала.

Чувствовалось, что Дмитрия Георгиевича эта картина радует, будто он сам, своими руками все тут прорыл и построил.

— Видите! Разве за это вот не стоит поступиться кое-какими удобствами?

— Ну, а семья ваша, жена, дети? — опять поинтересовался художник, не скрывая озороватой ухмылки.

— Мой колхоз? — На грубоватом, обветренном лице инженера появилось теплое, застенчивое выражение. — Ну, мой колхоз, хоть он и не маленький: шесть душ, но он мобильный. Кончилась стройка, начались доделочные работы, ну там, знаете, штукатурят, лепку прикрепляют, зелень сажают, а жена уже спрашивает: «Дима, мы куда?» Она у меня хлопотуша, умница. Складную мебель собственной конструкции изобрела, чтобы легче было переезжать... Так вот, как улитка со своим домом, и путешествую.

— И много изъездили?

— Ну, как вам сказать... Я уже говорил вам, что я волгарь, из Горького. Отец до самой смерти пароходным механиком ходил. Ну там рабфак, студенческие годы... Кончил я прилично, и повезло: сразу со студенческой скамьи — на канал имени Москвы. Знаете, какая это была стройка! Я там прорабом на водонасосной станции стал. Чувствуете, какая практика! Ширь, размах, закалка. Была у меня в Горьком девушка, мы с ней года три дружили, чудесная такая девушка, и всегда казалась она мне нежной, беспомощной такой, что казалось: дунь ветер — и с ног ее повалит. Уезжал на канал — уговорились: устроюсь, оперюсь, вернусь за ней — поженимся. Но вижу, какая тут женитьба! Дел по горло, бриться и то иной день некогда, быт неустроенный, трудный. Пожалел ее, так ей и написал... И ведь что вы думаете, вместо ответа сама ко мне приехала! Поженились. Хоть порой, в горячее время, виделись с ней часов по пяти в сутки, не больше — хорошо зажили. Сынишка у нас там, на канале, родился, Женя. Ему сейчас шестнадцать лет. Кончили мы канал, проехались по нему втроем на пароходе, порадовались. Подъезжаем к Иванько-

ву — жена спрашивает: «Куда же дальше?» — «А дальше, отвечаю, по каналу обратно». — «Нет, говорит, семьей куда дальше тронемся?» Вот как был поставлен вопрос... Меня и на канале эксплуатационником оставляют и на новую стройку зовут, на Волгострой, который в те дни только-только начинался. Я, признаться, о Волгострое наслушался, меня туда тянет. Но, думаю, как же она? И мальчонка ведь маленький. А она мне отвечает: «Иди туда, куда сердце тянет, где ты нужней. О нас с Женькой не беспокойся, легкого пути из-за нас не выбирай. Мы с ним выдержим».

Обрадовался я. Вот тебе, думаю, и нежное существо! Поехали мы на Волгострой. Там я уже главным механиком на ремонтном заводе был. Машины для всей стройки ремонтировали. Я их там все досконально изучил. Огромная практика. Еще один институт. На Волгострое родилась у меня дочурка, Людмила. Растет стройка, а мы с женой пошучиваем — мол, как кончим, так уж дела своих рук вчетвером смотреть надо будет. Но проехаться по Щербаковскому и Угличскому морям не пришлось — началась война. Пошел в армию. Командовал батареей тяжелых пушек. Ну, а потом послали работать по строительной специальности, на Крайний Север, в самую что ни на есть Арктику...

Да-а, вот вы о жене спрашивали, как она насчет моих переездов. Что ж, жена — обыкновенная советская женщина. Познакомитесь с ней — вроде ничего особенного и нет, а ведь вот, не задумываясь, в военное время, по трудным тогдашним железным дорогам, а потом на оленях да на собаках больше месяца ко мне в тундру добиралась... Да не одна, а опять всем колхозом, который к тому времени еще вырос... Как вырос?

А вот. Она сиротку Лену, которую война без отца, без матери оставила, удочерила. Так вчетвером с новой дочкой они ко мне в Заполярье и прибыли в самый разгар полугодовой ночи.

Дмитрий Георгиевич улыбнулся.

— Видите, какие у нас жены-то, у строителей! Кончил дело в Арктике — меня в субтропики послали. То были полярные ночи, северные сияния, холодище, льды, торосы, олени, а тут — синее море, лазурь, пальмы, магнолии. И все, конечно, со мной едут, и, заметьте, охотно едут, и не потому, конечно, что субтропики посимпатичнее вечных льдов и плешивой тундры, а потому, что все они у меня живут стройками, потому, что у нас одна мечта... Радовался я, когда на юге работал, — думаю: отдохнут мои у Черного моря после всех своих скитаний и испытаний. Но тут решение о постройке Волго-Дона. Товарищи мои письма шлют: грандиозное дело, едем

туда, не хочешь ли с нами. Как тут не захотеть! Покоя лишился. Жена заметила, спрашивает, что ты, мол, что с тобой. Я ей так осторожно, исподволь, о Волго-Доне. Она вздохнула: «Что ж, собираться, что ли?» Я, признаться, и не ожидал, что она так вот сразу «Нет, — говорю, — нет, это так, мечта. Разве у меня хватит духу вас из таких вот благословенных краев — да в степь, где только суслики!» Она засмеялась: «Чудак, ведь знаю, что поедешь, и мы поедем. Раз мы там нужны — какой может быть разговор! Когда собираться?..» Во как у нас! — Дмитрий Георгиевич засмеялся, и смех у него неожиданно оказался звонким, заливистым, совсем ребяческим. — И действительно, никакого разговора больше не было. В эти края я прибыл одним из первых и, знаете, очень горжусь, что при мне первый экскаватор вынул здесь первый ковш грунта.

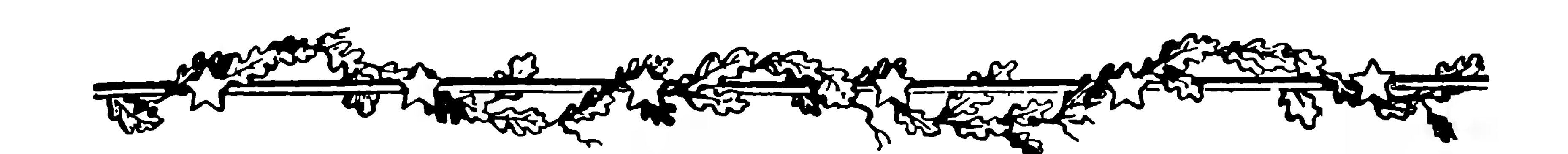
— Но ведь нелегко все-таки ей, жене вашей, в этих условиях!

— А чем наши условия сейчас хуже ваших, московских? Поначалу, конечно, жили на квартире у казака не ахти как просторно, а теперь у меня домик — две комнаты, кухня, ванная, радио, газеты... Отличный клуб. А библиотека такая, что и в ином старом городе не найдешь... Нет-нет, вы поглядите на эти машины! Хороши, а? А ведь они не самые крупные. У нас и четырнадцатикубовые работают. А на заводе уже восемнадцатикубовые изготовляют и проектируют, говорят, на двадцать четыре куба. Разве не интересно верховодить такими вот стальными дядями?.. Я понимаю, каждый любит свою работу, свое дело, но мне вот, извините, кажется, что наша работа самая увлекательная.

— Ну вот, достраивается Волго-Дон, а дальше?

— А дальше всем колхозом погрузимся на пароход, проедемся из Ростова в Сталинград, полюбуемся, вспомним обо всем, о радостном и тяжелом, а потом прямо водой на Волгу, на тамошние стройки. А оттуда... Найдется куда ехать и оттуда. На наш век строительств хватит!





МАМОНТ

— Ручей этот по карте назывался как-то иначе, но мы, кто на нем работал, назвали его Змеиным. Очень уж змей там много было. В особенности вначале, когда первые земснаряды из реки в устье вошли. Так и прижилось: Змеиный да Змеиный. Даже потом в сводках рапортуем бывало, что, работая на Змеином ручье, перевыполнили план по деловой кубатуре на столько-то целых и столько-то десятых процента... Разве я опять повернулся? Прошу извинения, больше не буду...

У главного механика землесосного снаряда Алексея Измайлова на лице — скука. Первый раз ему, человеку очень активному, приходится позировать перед художником. Он стоит у поручней на верхней палубе своего судна. На фоне крутого, все время осыпающегося и как бы подтаивающего берега четко вырисовываются его ястребиный профиль и морщины на высоком лбу. Большого синеватого шрама, перечеркнувшего его левую щеку, в таком положении не видно. Немолодое лицо механика точно окаменело.

Художник, рисующий его портрет, не в духе. Он работает больше резинкой, чем карандашами, а это уже первый признак, что он недоволен ни собой, ни натурой.

— Вы рассказывайте, рассказывайте, не обращайте на меня внимания. Забудьте обо мне. Меня тут нет. Только, ради бога, не вертитесь! — взывает он.

— Вы начали про мамонта, — напоминаю я.

— Да-да, только позвольте уточнить обстановку. Это имеет прямое отношение ко всему происшедшему. Так вот, напоминаю. Работали мы в устье Змеиного ручья. Грунт от-

личный, песок, точно манная крупка,— как раз такой, какой на плотине нужен. Мы со своим снарядом зашли в забой со стороны реки, а экскаваторщики работали на том же ручье повыше, где было сухо и где им удобнее было грузить песок в самосвалы. Таковы данные обстановки...

Алексей Измайлов, демобилизованный лейтенант-танкист,— бывалый человек. С первых дней войны он был в боях, не раз горел в машине и однажды был даже расстрелян фашистами, но не насмерть. Отлежавшись в яме среди трупов, он ночью выбрался, уполз, приютился у колхозников, вылечился, пробился через фронт, снова сел в танк и воевал уже до самой Эльбы. О военных днях напоминают не только его старый китель с аккуратно подшитым белым подворотничком, многочисленные обметанные дырочки для орденов над карманом и этот синеватый шрам, изуродовавший его левую щеку, но особая, военная подтянутость и самая манера изъясняться.

— Разрешите продолжать? — обращается он к художнику.

— Да-да, ради бога, только не шевелитесь! — отвечает тот и сам прищуривается, как бы анатомируя лицо модели своими цепкими, живыми глазами.

— В предмайском соревновании мы обязались выдать на плотину сверх плана двадцать процентов грунта. Но паводок был очень высокий. Пришлось недели полторы постоять, и чтобы перекрыть недоработку, решили мы на общем собрании от праздника отказаться и продолжать наступление по всему фронту. Жмем. Работа спорится. Партгруппорг намывщиков, с которыми мы соревнуемся, звонит с плотины: «Поздравляю с праздником. Давно так не подавали...» И вдруг в самый разгар работы в машинном отделении раздается треск — и насос останавливается. Ясно, в машину попало что-то большое. А это уже «ЧП», то-есть чрезвычайное происшествие, и нам это особенно обидно, потому что мы от праздника отказались. И, пожалуйста, — вынужденный простой.

Мои механики отлично сработали. Разболтили кожух в одно мгновение. Плеснул я туда одно-другое ведро воды, песок смыл. Точно: две лопасти словно обрезаны. И торчит здоровенный камень. И откуда он взялся в этом грунте, где ему, согласно геологической науке, быть не положено, и как он через защитительную решетку проскочил, шут его знает! Что ж, и думать об этом некогда. Лопасти мы сменили — я этим и сейчас горжусь — в сроки рекордные. Через два часа с минутами мы уже на плотину пульпу гнали прямо-таки ураганным огнем.

Но дело не в этом. Когда мы закончили ремонт и я направился к баку с водой, чтобы с устатку напиться, подходит ко мне начальник земснаряда и говорит: «А знаете, Измайлов,

это ведь не камень нам бед-то натворил». — «Не камень? А что?» — «Это пока, говорит, точно сказать не могу, но, вероятнее всего, зуб какого-то доисторического животного. Судя по размерам, может быть и мамонта». И показывает мне этот, с позволения сказать, «зубок», кило на четыре весом. Удивляться, конечно, было некогда, потому что меняли мы направление забоя, чтобы опять на какой-нибудь доисторический сюрприз не нарваться. Но когда смену сдали и пошли было домой, партгруппорг нас у сходен остановил: «Так, говорит, ребята, нельзя. Мамонты на колхозных фермах пока не разводятся. Это, говорит, штука редкая. Раз тут зуб отыскался, мы теперь перед наукой и за все остальное в ответе. К мамонту, говорит, мы должны подойти по-хозяйски. Надо тут кругом обшарить и выудить все, что сохранилось, потому что, как только сюда большая вода придет, мамонт для науки — прости-прощай».

Воспоминания начинают увлекать самого рассказчика. Лицо его, еще недавно удручавшее художника своей неподвижностью, оживилось, в черных глазах зажглись горячие, веселые искры. Он весь как-то сразу помолодел, и даже шрам стал менее заметен на порозовевшей щеке. Теперь художник уже совсем отбросил резинку. Его рука быстро-быстро бегает по бумаге, а глаза, то прищуриваясь, то широко открываясь, жадно изучают натуру.

— Так вот, сказал это наш партгруппорг и, понимая, что лучший способ агитации — личный пример, спустился в лодку и начал расстегивать комбинезон. А паводок еще не сошел, холодно. Разделся он, прыгнул в воду и пошел саженками мерить к берегу, где давеча был наш забой. Подплыл, нырнул, выскочил, опять нырнул. Ребята совсем было наладили домой, чтобы хоть конец праздника отгулять, а тут видят такое дело — и назад. Начинают раздеваться. Боцман на палубу выскочил, кричит, зачем всем сразу в воду лезть, зря зябнуть. Разделил людей на две группы: одним нырять, другим греться. Тем временем парторг из воды кричит: «Нащупал! Не то камень, не то кость!» Вытащили. Другой зуб оказался.

Тут уж сам начальник не вытерпел. Он в войну на флоте служил, ловко плавает. И он в воду... Короче говоря, пока одна смена работала, другая в воде сидела. Всё кругом обшарили. Механики мои специальные такие щупы соорудили. Мы ими все дно сантиметр за сантиметром прошли. И вы знаете, не зря! Много костей отыскали. Ночью, уже при прожекторе, вытащили бивень, огромный, тяжелый. А другой, как ни шарили, не нашли. Решили, что мамонт наш забиякой при жизни был и один бивень потерял в схватке с противником в доистори-

ские времена. Остатки черепа чуть пониже по ручью отыскали — это уж дней через пять. Краном поднимать пришлось. Словом, через недельку у нас тут на палубе целый музей образовался.

Желая показать, где именно на палубе образовался музей, рассказчик повернулся и взмахнул рукой. Он нарушил свою позу и опасливо покосился на художника, но тот уже не сердился. Во рту он держал два карандаша. Третьим быстро-быстро рисовал и так был увлечен, что, не выпуская изо рта запасных карандашей, лишь глазами показывал Измайлову, чтобы тот занял прежнюю позицию.

Механик покорно встал на место и, стараясь не делать резких жестов, продолжал рассказ:

— Мы достали в библиотеке книжку о вымерших гигантах. Нашли рисунок скелета мамонта, попробовали по нему все эти кости разложить по порядку. Выяснили, что отыскали всего только остатки черепа да несколько позвонков. А остальное, как ни старались, не нашли. Ну, думаем, и то ладно. Городской музей фашисты сожгли, и восстановленному музею будет недурной подарочек. Тут как раз приспело время за частями в город ехать. Снарядили машину. Кузов мы набили стружками, туда уложили все наши доисторические трофеи со Змеиного ручья. А меня ребята уполномочили после всех дел в городе заехать в музей и все это сдать.

Дела свои я быстро отрегулировал. Качу в музей. Нашел заведующего, маленького чистенького такого старичка. Эх, думаю, держись, папаша, сейчас я тебя сражу! «Принимайте, говорю, остатки вымершего гиганта-мамонта с приветом от строителей Волго-Дона...» И представьте себе, он ни чуточки не удивился. Только вскрикнул радостно: «Со Змеиного ручья?» — «Так точно, говорю, оттуда. А кто вам, позвольте узнать, доложил, что мы там между прочими делами и мамонтом немножко занимаемся?» Вместо ответа тянет он меня в какую-то комнату. И вижу я: лежат там на полу огромные кости. «Это, говорит, привезли экскаваторщики с четырехкубовых машин. А это, говорит, подарок от товарищей с малых шагающих». И спрашивает: «Ваш, говорит, забой, наверно, ниже по ручью, у самой реки был?» — «Точно, — отвечаю. — И это вам известно?» — «А вот, говорит, взгляните на схемку. Мамонт этот, вероятнее всего, увяз в болоте при пойме, вот здесь. Видите, река раньше так текла, и наводнения разбросали части скелета по течению. Ну, а потом река ушла, осталась только эта старица, которую вы зовете Змеиным ручьем. А сейчас вот, работая в разных местах, вы и отыскали все эти кости». Видите, как это все, на поверку, повернулось! Оказывается, что не

одни мы такие умные и за палеонтологию взялись — экскаваторщики тут нас даже опередили...

Ну, вот и вся история с нашим мамонтом со Змеиного ручья. Не знаю, почему уж она вас так заинтересовала... Да и что такое этот наш мамонт?! Вон на будущем дне будущего моря ученые вместе со строителями древний город Саркел откопали. Чуть не через решета, говорят, песок просеивали, чтоб какая-нибудь старинная бляшка или бусинка для науки не пропала. А мамонт — животина изрядная. Его найти не больно хитро, раз на след напал.

Рассказчик засмеялся, но вспомнил, что его рисуют, и опять покосился на художника. Тот уже сделал какой-то последний штрих, прищурившись полюбовался, поставил в углу листа два своих инициала, маленькую цифру «51», потом сорвал лист с папки, вскочил и молча протянул Алексею Измайлову.

С бумаги смотрело лицо рассказчика, запечатленное с большой точностью, но отнюдь не холодное и не неподвижное, каким оно было в течение всего нашего предшествовавшего знакомства, а живое, веселое, добродушное, каким мы видели его в конце рассказа о мамонте. По сравнению с оригиналом оно казалось слишком молодым.

— Сколько вам лет? — не удержавшись, спросил я.

— Двадцать девятый, — ответил Алексей Измайлов, криво улыбнувшись изуродованной щекой. — Не верите? Гляньте в партбилет... Ничего не поделаешь... война.





ТОННЕЛЬ В СТЕПИ

Профессия тоннельщика у нас характерна тем, что истинные мастера этого дела почти все хоть немного да знают друг друга. И как бы далеко они друг от друга ни работали, как бы долго ни были в разлуке, они не забывают о товарищах, следят за их успехами и уверены, что, приехав на новое место, всегда встретят там старых знакомых.

Такие отношения у советских тоннельщиков сложились потому, что большинство из них приобщалось к своей профессии на стройке столичного метро. Здесь впервые спускались они в шахту, здесь познали трудности и радости подземной работы, здесь прошли суровую, мудрую школу трудового опыта и тут, под улицами и площадями столицы, пришла к иным из них первая трудовая слава.

Вот почему Павел Михайлович Сергеев, трясясь в кузове запыленного грузовика по неласковой, выжженной солнцем степи, спокойно оглядывал чужой, незнакомый пейзаж. Сергеев ехал на новое место работы. Места этого он не знал. Оно вообще не имело еще географического наименования. Всюду, куда достигал глаз, простиралась все та же серая равнина, местами покрытая седоватым налетом соли, местами потрескавшаяся от безводья, с землей, коробившейся, как короста.

Павел Михайлович знал, что ему, метростроевцу, привыкшему к культуре, шуму и радостям столицы, предстоит на этот раз проходить тоннель в полупустыне. Знал, но был спокоен. Его не покидала уверенность, что здесь, на новом месте, где предстояли тоннельные работы огромного масштаба, он обязательно встретит давних друзей.

Он с любопытством смотрел на сусликов, встававших столбиком на своих кочках, на степных орлов, точно застывших в сером пыльном небе, на короткохвостых злых гадюк, поспешно уползавших с дороги, — смотрел и с приятным волнением думал о том, что он один из тех, кому выпала доля привести в эти пустынные края воду, напоить богатые земли, спящие вековечным сном среди суши и зноя, разбудить их, заставить буйно плодоносить.

И, как всегда в волнующие часы, перед тем как начать дело, сулящее незнаемые еще трудности, человек думает о прожитом, — Павел Михайлович, трясясь в кузове грузовика, думал о своей жизни.

Писатель отмечает свой путь книгами на библиотечной полке, педагог — выпусками школьников, тоннельщик — подземными сооружениями. Немало, совсем немало было сделано Павлом Михайловичем с того памятного дня, когда в 1932 году он, совсем еще юный паренек, с путевкой Курского обкома комсомола приехал в столицу участвовать в строительстве московского метро.

О юности всегда вспоминаешь радостно. Мастер подземных работ почувствовал, как приятно забилось сердце, когда он представил себе, как в первый раз провалилась под ним клеть и он очутился в шахте, где ему отныне предстояло откатывать вагонетки с грунтом.

Откатчик, затем проходчик Павел Сергеев выдвинулся, работая в знаменитой в те дни бригаде Холода. Он стал звеньевым, потом бригадиром, потом передовым бригадиром. Как вечная памятка той юношеской поры его жизни остались для него станции метро — «Библиотека Ленина», «Площадь Дзержинского», «Динамо».

Для Павла Михайловича эти сооружения — главы его трудовой биографии, и сколько в этих главах интересных страниц!

Особенно радостно вспоминается, как проходили подземный вестибюль под площадью Дзержинского. Тут залегают тяжелые плывуны. В таких сложных геологических условиях тоннельщикам тех дней работать еще не доводилось. Проходка затормозилась, план срывался.

Тогда руководители московской партийной организации собрали строителей в двух соседних залах: в одном — опытных инженеров, в другом — старейших тоннельщиков, заслуженных мастеров подземных работ. Собрали и по очереди спросили, можно ли, стоит ли продолжать здесь работы.

Некоторые осторожно заявили, что лучше, пожалуй, перенести станцию в другое, более благоприятное в геологическом отношении место. Рабочие, у которых был большой запас на-

копленной за многие годы производственной мудрости, дружно высказались за преодоление плывунов.

— Партия прикажет — к центру земли пройдем! Нет таких трудностей, которых советский человек не мог бы преодолеть, если он того очень захочет! — волнуясь, говорил с трибуны один из старейших тоннельщиков Метростроя.

Было решено продолжать работу именно здесь. Станция на площади Дзержинского была введена в эксплуатацию даже досрочно. Случай этот, и в особенности слова старого проходчика, Павел Михайлович, тогда еще юный комсомолец, запомнил навсегда.

Когда потом, работая на метро, Павел Михайлович сам воспитывал зеленую молодежь, приезжавшую из колхозов, приходившую из ремесленных училищ, он всегда рассказывал новичкам об этом случае и любил в заключение козырнуть фразой:

«Партия прикажет — к центру земли пройдем!»

Война застала Павла Сергеева в столице, на стройке третьей очереди метро. В затемненной Москве, над которой по вечерам, как сонные, неповоротливые рыбы, плавали аэростаты, подземные работы шли полным ходом. Даже в самые тяжелые дни, когда в Подмосковье фашисты уже бетонировали площадки, чтобы с них стрелять из дальнобойных орудий по столице, москвичи думали о будущем, продолжали прокладывать подземные пути, строить дворцы новых станций, богато украшая их мрамором, лепкой, керамикой. В этом проявилась непоколебимая вера советских людей в свою победу, в торжество коммунизма.

Но враг подходил к столице. Проходчик Сергеев стал требовать, чтобы его послали на фронт. Наконец он добился своего: его мобилизовали и как опытного строителя использовали по специальности. Он стал бригадиром военных строителей, укреплявших Волоколамское шоссе. Тут ему, привыкшему к нерушимой тишине подземных шахт, пришлось работать сначала под бомбами и обстрелом с воздуха, потом в грохоте артиллерийских разрывов.

Москвичи — мужчины, женщины, подростки — укрепляли подступы к своему городу. Они продолжали работу даже тогда, когда среди рвов и еще не застывшего бетона казематов рвались не только снаряды, но уже и мины. Павел Михайлович руководил строителями и в то же время сам копал землю, вязал металлическую арматуру, сколачивал опалубку, заливал бетон. Работал — а рядом лежали старенькая винтовка с затвором, бережно обернутым носовым платком, чтобы не запорошило песком, и пара гранат на случай, если врагу удастся



Павел Михайлович Сергеев.

прорваться сквозь передовые цепи и огневой заслон артиллерии.

Суровое, славное было время! И хотя от всего созданного в те дни Павлом Михайловичем и его бригадой остались сейчас лишь неясные, уже запаханные холмики и канавки, он любит вспоминать эту короткую страницу своей биографии.

Работая на строительстве укрепрайона, Павел Михайлович тосковал о родном метро. Но когда враг был разбит под Москвой и откатился на запад, метростроевцу сказали: нужно восстанавливать шахты Московского угольного бассейна. Не переставая мечтать о возвращении на метро, Павел Михайлович беспрекословно отправился в Мосбасс восстанавливать шахты, добывать для столицы уголь. Шахтеры, наверное, и сейчас поминают добрым словом начальника участка Сергеева, большого знатока тоннельного дела и мастера подземных работ...

Так, перебирая в памяти свою жизнь, Павел Михайлович ехал по незнакомой степи на новое место работы. Там, в Мосбассе, он считал дни, когда по окончании восстановления сможет вернуться в столицу, к привычному делу, которое полюбил с юности.

Но вот от друга пришло письмо. Друг сообщал, что в степи, на водоразделе, проектируется прокладка русла большой подземной реки. Работы предполагались, судя по письму, большие, сложные, небывалые. Друг ехал туда. Павел Сергеев долго раздумывал над письмом и не выдержал. Он, как шутили товарищи по шахте, «заболел новой стройкой». Мечта вернуться на московское метро не то чтобы угасла, а как-то потускнела, отодвинулась назад, как дело, с которым можно и не торопиться. Ведь в столице много хороших тоннельщиков. Там же, в степи, где все только начиналось, наверно позарез нужны пара умелых рук и голова, хранящая немалый опыт.

И вот на строительство пошла телеграмма: «Выезжаю». А вслед за ней ехал и он сам, сквозь дорожную дрему раздумывая о прожитой жизни, о новой стройке, являющейся небольшой, но существенной деталью новых работ.

Предчувствия не обманули Павла Михайловича. Шахта была еще только обозначена колышками. Тоннельщики жили в палатках. Землекопы рыли котлованы под фундаменты шахтных построек, но среди зачинателей тоннеля Сергеев встретил много знакомых, с кем можно было в свободный час зимнего вечера, у огонька костра, под вой степного бурана, вспомнить славные дни метростроевской юности.

Был тут старый дружок Павел Семенович Уваров, один из славных метростроевских бригадиров, с которым Сергеев даже

соревновался в дни строительства станции «Динамо». Он приехал сюда с женой Александрой Сергеевной, которую Павел Михайлович знал как одну из лучших метростроевских проходчиц. Теперь она определилась машинистом подъемной машины.

Инженер Лев Борисович Рябов, начальник шахты, где предстояло работать, оказался тем самым комсомольцем Левкой Рябовым, что однажды, как бригадир молодежной бригады проходчиков на стройке первой очереди метро, копал тоннель навстречу бригаде Сергеева. Даже в начальнике конторы, седоватом, солидном директоре-полковнике, узнал тоннельщик своего товарища по метростроевской юности, ставившего в свое время комсомольские рекорды. Это он когда-то так неистово громил на производственных совещаниях предельщиков, любителей старинки и покоя.

Всех их, людей теперь уже немолодых, подняла с насиженных гнезд, заставила проститься с привычной работой, с городскими удобствами все та же тяга к новому, желание стать участником замечательных строек. И как-то, когда проходили еще первые метры шахтного ствола, начальник шахты на дружеской вечеринке старых метростроевцев признался:

— Ох, и важное же дело доверила нам партия, товарищи! Таких задач решать тоннельщикам еще не доводилось. А нас, метростроевцев, мало. Все новички. Давайте станем, ребята, дрожжами, на которых поднимается все тесто!

Хорошими оказались дрожжи!

По традиции, московский Метрострой учил людей не только самих хорошо работать, но и окружающих воспитывать, чтобы творческий почин и мастерство распространялись широкими кругами, а новички с первых же шагов усваивали новаторские приемы.

Вокруг Сергеева, Уварова и других ветеранов сразу же сложились бригады энтузиастов. На ходу овладевая нелегким делом подземного строительства, новые люди, молодые строители, с первых же шагов приобщались к передовым методам.

Бригада Сергеева на всех стадиях строительства шахты — и на проходке ствола, и на монтаже щитов, и на постройке самого тоннеля — была лучшей. Бригадир, как прежде в Москве, при подведении итогов всесоюзного соревнования неизменно получал звание: «Лучший проходчик страны».

Тут, в степи, он особенно дорожил этим званием. Радовало оно его и потому, что после каждого нового присуждения со всех концов страны, где работали друзья-тоннельщики, к нему шли телеграммы старых товарищей. И он отвечал всем, что тут, в степи, московские метростроевцы берегут свое славное звание, работают, как положено людям, строящим коммунизм.

Да, именно так они и работали. И ни то, что в первые дни строительства пришлось жить в степи, в палатках, месить на дорогах непролазную грязь, ни то, что из-за трудностей транспорта техника порой запаздывала и приходилось волей-неволей браться за кирки, лопаты, ручные вагонетки, за методы и способы, которые советскими тоннельщиками давно забыты, — ничто не приостанавливало и даже не тормозило их работу. Когда же стройка прочно встала на ноги и оснастилась первоклассной техникой, дела пошли отлично. При труднейших, неустойчивых грунтах Сергеев и его сменщик Уваров проходили по метру, потом по сто десять и, наконец, по сто двадцать сантиметров тоннеля за смену.

Смена Смородина отставала. Начальник шахты вызвал к себе Павла Михайловича и предложил ему стать тоннельным мастером смены, где работал Смородин. У московских метростроевцев закон: от сложных поручений не отказываться! И хотя молодая бригада Сергеева теперь работала, по выражению инженера Рябова, «как оркестр», и бригадирство было ему больше по душе, хотя даже и заработок его, как передового бригадира, значительно превышал зарплату тоннельного мастера, — несмотря на все это, Павел Михайлович принял предложение.

Он принялся за дело с горячностью, с упрямством, какими славился еще на Метрострое. Целые дни он проводил на шахте. В уютном домике нового поселка с поэтическим названием «Восход» жене его по многу раз, до самой ночи, приходилось разогревать ему ужин. Павел Михайлович изучал людей, беседовал с бригадирами, прямо говорил, в чем недостатки каждого. Не удовлетворяясь объяснениями, указаниями, он сам иной раз брался за то или другое дело. Люди с невольным почтением следили, как ловко спорится у него в руках каждое дело. И в разговоре с новичками этой необыкновенной шахты часто звучали слова, с юности полюбившиеся тоннельному мастеру: «Партия прикажет — к центру земли пройдем!»

Он умел хорошо говорить. Но, захватив людей горячим словом, он тут же деловито указывал на то, что в их работе слабо или плохо.

И вот отстававшие бригады стали выправляться. Вскоре та из них, что еще недавно плелась в хвосте, дала рекордную выработку для всего Донтоннельстроя.

— Теперь самые трудные грунты мы прошли. Теперь темпы, темпы! — шутил Павел Михайлович, подбадривая людей.

...Странное чувство овладело мной, когда я вместе с Павлом Михайловичем Сергеевым спустился в шахту. Мы долго шли по облицованным коридорам, и он, гордясь своими учени-

ками, не без самодовольства рассказывал о них, все показывал и пояснял.

Я несколько раз бывал у строителей московского метро. И вот теперь, слушая тоннельного мастера, я никак не мог отделаться от мысли, что сто́ит мне сесть в клеть и подняться наверх, как передо мной откроются картины родной Москвы — сплошное движение автомобилей, веселая сутолока широких тротуаров, что стоит сесть на углу в троллейбус № 12, и через несколько минут я буду дома.

Но на поверхности меня ждала степная глушь, пестрые суслики, короткохвостые гадюки, притаившиеся в трещинах сухой земли; в белесом небе, распластав крылья, кружили кобчики, да ветер перебирал седые гривы ковылей.

Да, воистину советский человек, если партия ему прикажет, пройдет и к центру земли!





СЫН СТАЛИНГРАДА

У каждого случаются мгновения, когда с необыкновенной яркостью возникают в памяти, казалось бы, совсем позабытые лица, картины, целые сцены, и, снова видя это уже с дистанции многих лет, человек спокойно и мудро передумывает и переживает то, что он уже однажды передумал и пережил.

Нечто подобное испытывал Анатолий Павлович Усков, ожидая своей очереди выступить на Всесоюзной конференции сторонников мира. Он сидел в переполненном зале среди именитых людей, которых никогда до того не встречал, но которых узнавал по знакомым портретам и фотоснимкам. Его предупредили, что на этом заседании ему дадут слово. И вот, теребя в дрожащих от волнения пальцах листок с планом своей речи, он ждал. И вся его жизнь с тех самых лет, когда мальчишкой он ловил пескарей на волжских перекатах у грузовых пристаней и до этого вот момента, когда ему предстояло подняться на трибуну и от имени строителей сказать здесь слово мира, весь его жизненный путь возникал в радостно взволнованном воображении короткими, яркими картинами.

Он был не очень длинен, этот его жизненный путь, если считать его обычными календарными годами. Но того, что пережил этот молодой советский человек за свои двадцать девять лет, пожалуй, с избытком хватило бы и на несколько полных жизней людей дореволюционных поколений.

Он родился в Сталинграде и с той поры, когда в детской голове слагаются первые понятия о жизни, приучился гордо носить легендарную славу своего города. В семье Усковых свято хранили воспоминания о днях, когда в боях у городских предместий красные дивизии, руководимые товарищем Сталиным, решали судьбу молодой Советской республики. Когда отец бы-

вал в хорошем настроении, он иногда в выходной день возил сыновей за город, в степь, показывать им высотку, с которой Сталин в солдатской шинели, с артиллерийским биноклем на груди командовал решающим сражением. Потом они вместе ходили в музей Царицынской обороны. Отец показывал детям исторические реликвии. Для него самого они были памятниками славной юности. И когда в тетрадях сыновей вдруг обнаруживалась клякса или под сочинением появлялось сердито выведенное учителем «неуд», он говорил:

— А еще сталинградцами себя называете! Какие же вы, к лешему, сталинградцы!

В семье гордились своим городом и все, что в нем происходило, воспринимали, как нечто личное. Еще в те далекие дни, когда Анатолий вместе с другими мальчишками бегал смотреть, как в степи, на берегу Волги, растут просторные корпуса Тракторного завода — этого первенца пятилетки, который строила вся страна, — в нем зародилась мечта вырасти и работать тут, в этих необозримых цехах. И мечта эта, окрепшая в юношеские годы, конечно сбылась бы, как сбываются все хорошие мечты советских людей, какими бы смелыми они ни были. Анатолий хорошо окончил среднюю школу, поступил на тракторный факультет механического института и с увлечением, отличающим и до сих пор все, что он делает, взялся за науку.

Но началась война. Отец и брат ушли на фронт. Разве можно было усидеть на студенческой скамье, когда фашисты рвались к сердцу Родины! Анатолий без повестки явился в военкомат. Студент стал артиллеристом, командиром тяжелой гаубицы.

И сейчас, когда он сидел в Колонном зале Дома союзов, ожидая очереди выступать, в его мозгу с кинематографической быстротой сменялись картины сражений, в которых он участвовал: полные завывания ветра и свиста пуль осенние ночи на крохотном, окруженном врагом пятачке Ораниенбаума; бесконечные месяцы ленинградской блокады, когда как бы стерлась грань между передовой и тылом и люди тут и там, казалось, окаменели в своем непреклонном решении выстоять; радостный день прорыва, когда солдаты двух встретившихся фронтов под грохот снарядов и вой бомб обнимались и плакали на изувеченной, истерзанной взрывами земле.

Но особенно вспомнилась Анатолию Ускову родная, тронутая ранней оттепелью степь под Сталинградом, куда он попал вместе со своим дивизионом в самые горячие дни, когда танковые дивизии Манштейна упрямо, яростно долбили кольцо советских войск, окружавших всю ударную фашистскую группировку. Часть, в которой сражался Усков, была одним из звеньев этого кольца, сковавшего врага.

Прочно обосновавшись на гребне степной балки, выкопав для орудий глубокие ровики, артиллеристы отбивали атаки танков. Разведчики подсчитали тогда, что на позицию, защищаемую пятнадцатью гаубицами, наступало около полусотни машин. Артиллеристы встречали врага беглым огнем. Он нес потери, откатывался, но снова и снова бросался в бой.

Уже много черных колеблющихся столбов дыма, покачиваясь, поднималось к блеклому, потемневшему небу вблизи позиций, где находилось в ровике орудие Ускова: танки шли. Из прислуги орудия двоих уже унесли санитары, третий, мертвый, лежал под шинелью за пустыми ящиками из-под снарядов.

Остался один Усков. Он тоже был ранен. Противник, обходя свои горящие машины, широко маневрируя, продолжал наступать, и артиллерист, стараясь не замечать своей раны, сам подносил снаряды, сам заряжал, сам наводил и стрелял.

Его полушубок был черен от копоти и крови. В голове шумело Степь, как волна разбушевавшейся Волги, норовила выскользнуть из-под ног. Но за этой изъязвленной черными рябинами равниной лежал родной Сталинград, изувеченный, истерзанный врагом город. Этого не забывал артиллерист. Он знал: нельзя дать врагу уйти от возмездия. Сознание этого давало раненому, истекающему кровью сталинградцу силы. Он стрелял до тех пор, пока черные силуэты уцелевших танков не отползли окончательно за синевшую в сумерках кромку горизонта. Тогда Анатолий Усков присел на окровавленный, истоптанный снег, вытер ладонью пот со лба, посмотрел на свою черную от пороховой копоти, окровавленную ладонь и лишился сознания.

Он долго лежал в госпитале. А дальше были Белоруссия, Польша, Мазурские озера, болота Восточной Пруссии... Где-то на этом солдатском пути догнало Ускова письмо матери. Мать сообщала, что она снова вернулась в Сталинград, что домик их сожжен, сад выкошен осколками, что живет она, как и большинство вернувшихся в город, в котельной одного из разрушенных домов, но что это все перетерпеть можно — уже начали восстанавливать важнейшие здания.

Много было хлопот у артиллеристов в бурно развивающемся наступлении. Но мысли Анатолия Ускова даже в самые тяжелые боевые дни всегда устремлялись за границы войны, к мирной жизни, и эта трижды милая солдату мирная жизнь была всегда связана со Сталинградом.

В ответном письме артиллерист попросил мать узнать, сохранился ли институт, где он учился; если да, то съездить туда, спросить начальство, сможет ли он после победы продолжать учебу. И уже где-то в Чехословакии, в Австрии или в



Анатолий Павлович Усков.

Венгрии его догнало новое письмо. Мать сообщала, что здание института превращено в развалины. Но институт уже существует, студенты занимаются в нескольких больших подвалах. И еще писала она, что преподаватели его помнят, кланяются ему, желают поскорей вернуться с победой на студенческую скамью.

Да, так уж, видно, у нас в стране повелось, что обязательно сбудутся светлые человеческие мечты, какие бы препятствия ни городила судьба на пути к их осуществлению. И вот уже снова сидел Анатолий Усков за столиком в институтской аудитории, слушал лекции, записывал, отвечал, изучал материал; как и остальные студенты, побаивался экзаменов, будто между первым и вторым курсами и не лежали страшная война, ранение, тяжкие испытания ленинградской блокады, огонь сталинградских боев и победный освободительный поход по землям пяти европейских государств.

Даже то, что на первых порах пришлось заниматься в наскоро восстановленных зданиях, где гулял холодный ветер и замерзали чернила, не очень мешало учебе. Институт Анатолий Усков окончил отлично.

В качестве своей дипломной работы он спроектировал легкий садово-огородный трактор с электрическим двигателем. Вспомнив об этом, он не мог удержать улыбку. Декан факультета, поздравляя молодого инженера с первой конструкторской удачей, предсказал ему, что он станет знаменитым, продолжая столь успешно начатую работу над самыми маленькими машинами с электрическим двигателем.

Вышло наоборот. Анатолия Ускова прославила работа на самоходной машине с электрическим двигателем, самой большой из всех, какие когда-либо создавал технический гений человека.

Товарищи и преподаватели сулили молодому инженеру будущее конструктора. Но разве мог он, сталинградец, воспитанный на славных традициях своего города, устоять перед неотразимым обаянием проекта Волго-Дона, который в те дни еще только начинал строиться в степях, где совсем еще недавно шла великая битва! Диплом с отличием дал ему право выбора. Он не задумываясь предпочел тишине конструкторского бюро неведомую и, вероятно, очень трудную работу на строительстве великой трассы.

— Правильно! Конструкторское бюро от конструктора не уйдет. А вот работу, как известно, надо начинать большим запевом, — сказал отец, узнав о намерении сына...

Может быть, делегатам, сидевшим рядом с молодым, высоким, ясноглазым человеком на Конференции сторонников ми-

ра, было странно видеть, как тот без видимой причины улыбается, рассеянно вертя в руках листки с конспектом своего выступления. Но разве можно бывшему солдату скрыть радость воспоминания о том, какое счастье познал он на стройке, какие необозримые перспективы для смелого технического творчества открыла она перед молодым советским инженером, делающим свои первые шаги!

На стройках пятилетки умеют ценить людей. Талант молодого инженера был сразу замечен. Его послали на Урал наблюдать за рождением той необыкновенной машины, на которой ему предстояло работать.

Завод тяжелого машиностроения, куда он приехал, называли родиной гигантов. Но такой машины, должно быть, не доводилось еще изготовлять и здесь. Отправляясь в командировку, инженер, конечно, знал габариты машины, и все же всю грандиозность ее он постиг только здесь, увидев, как в цехе сваривали для нее ковш. Огромный, тяжелый, он возвышался над всем окружающим. Рабочий со своей державкой, излучающей фиолетовые молнии, возился возле стальной челюсти ковша. Он напомнил инженеру муравья, суетящегося на зубах лошадиного черепа. Анатолию Ускову посчастливилось видеть, как в канун семидесятилетия товарища Сталина впервые опробовали механизм шагания, как гигант, вдруг ожив, начал поднимать свои огромные лыжи.

Анатолий Усков был одним из тех, кто уже потом, на трассе будущего канала, монтировал первый шагающий экскаватор «ЭШ-14-65». Подчиняясь его воле, еще неуверенно переданной через приборы управления, эта машина осторожно сделала свои первые шаги, вынула первые четырнадцать кубических метров земли одним ковшом!

Здесь можно, конечно, привести и цифры. Рассекая гребень водораздела между Волгой и Доном, большой шагающий экскаватор, начальником которого бессменно, до самого победного завершения стройки, работал инженер Усков, только за один год вынул, отнес в сторону, выбросил в отвалы свыше двух миллионов кубических метров земли. Это целый горный хребет. Зубчатая гряда его, протянувшаяся вдоль русла канала далеко за десятки километров, видна сейчас пассажирам, проплывающим по новому водному пути.

Сознание важности проделанной работы — большая отрада труженика. Но разве в кубометрах вынутого грунта исчислишь радость того, что вот ты, первый из людей на земле, привел в движение эту гигантскую машину-завод, научился ею управлять, подчинил ее своей воле, создал свои, рациональные методы ее использования, научил этим методам своих товари-

щей, которые потом вывели на трассу других великих строек такие же огромные машины!

Вот в этом-то и заключался для Анатолия Ускова дорогой сердцу советского человека мирный труд, право на который честно завоевал себе солдат Сталинграда. Поглощенный своей необыкновенной работой, Анатолий Усков не мог забыть и не забыл, что пережил он солдатом. И так уж случилось, что довелось ему рыть канал примерно в десяти километрах от места, где он со своим орудием в составе дивизиона тяжелых гаубиц отражал последние атаки танков Манштейна. Он много думал об этом и однажды, сдав смену, сел в автомашину, повел ее не домой, в поселок, а в степь, на место недавнего боя. Без труда нашел он незаметную балочку, вдоль которой тянулись когда-то их позиции. А вот и подковка орудийного дворика, уже зализанная ветрами, заросшая седой шершавой полынью и нежными султанчиками ковыля.

— Тут я был ранен, — сказал вслух инженер, хотя рядом с ним никого не было.

Он попытался вспомнить, о чем же думал он, оставшись тогда один, последний солдат у своей пушки, в те короткие удивительные минуты, когда между двумя танковыми атаками давал остыть орудийному стволу, перед тем как загнать в него новый снаряд.

В самом деле, о чем же он тогда думал? Отбить врага, не дать ему прорвать кольцо. А еще? Поскорей освободить от фашистов родную землю. Ну, а еще? Мечтал, кажется, об учебе и о том, как после войны будет восстанавливать Сталинград. Ну, а еще, еще? О том, чтобы никогда уже не было войн, чтобы дать отпор тем, кто их замышляет.

И все сбылось: враг не прорвался и получил по заслугам, родная земля свободна, он, солдат, недалеко от места недавнего сражения на своей огромной, почти фантастической машине прокладывает великий водный путь.

...Гитлер отравился, как крыса; других бандитов из его шайки настигла позорная петля. Но вот уже новые империалисты хотят сменить тех, чьи старые каски, изуродованные, пробитые пулями, ржавеют то там, то тут по всей бескрайной степи, где Анатолий Усков строил великую водную трассу. Они хотят вновь терзать цветущую советскую землю гусеницами своих танков. Они хотят опять разрушить его родной Сталинград, восставший из руин. Они мечтают атомными бомбами превратить в пыль его стариков, его жену, его ребенка.

И инженер, сидя в ярко освещенном зале, где проходила конференция, ясно представил, как он раздумывал обо всем этом там, в степи, на склоне оврага, у заросшего травой ар-

тиллерийского дворика, который, как казалось, еще хранит где-то там, под седым полынным ковром, отпечатки колес его гаубицы

— Слово имеет начальник большого шагающего экскаватора Анатолий Павлович Усков! — услышал он голос председателя.

Инженер вздрогнул, не сразу оторвавшись от своих дум. Потом торопливо поднялся, захватив листок с конспектом. Вот он медленно идет через зал, поднимается на трибуну, щурится в лучах прожектора. Видя, что тысячи глаз устремлены на него, он чувствует, как сразу становится влажным и тесным воротничок рубашки.

Нет, он не будет волноваться! У него есть что сказать всем этим людям, собравшимся сюда для того, чтобы по воле могучего нашего народа защищать мир. Негромко, неторопливо рассказывает он притихшему залу о гигантских работах, которые ведутся сейчас, о необыкновенных советских машинах, работающих на великой трассе.

Он говорит, но мысль, которая пришла ему в голову, когда он ездил на место былого сражения, не дает ему покоя. И, отодвинув бумажку с тезисами в сторону, он говорит, сурово сдвинув темные брови:

— Мирные стройки — это всенародная гордость, это выражение могущества нашего государства, его неисчерпаемых резервов, его силы. Пусть помнят об этом слишком ретивые вояки, мечтающие о нападении на нашу Родину!..

На миг он останавливается, удивленный. Что это за шум поднялся? Из-за слепящих прожекторов ему не видно зала. Но он догадывается. Это аплодируют его словам, аплодируют шумно, упорно, так, что кажется, будто крупный весенний дождь стучит о железную крышу.

И, грозно сверкнув глазами, инженер произносит:

— Мы, сталинградцы, говорим слишком ретивым воякам: не забывайте про Сталинград, не забывайте уроков истории!





ЗАПОЗДАЛОЕ ПИСЬМО

«Милая Лидочка, здравствуй!

Я не писала тебе целых сто лет, и ты, наверно, совсем забыла мой, как ты когда-то говаривала, «взбалмошный» почерк. Каюсь, я не ответила тебе на ту давнюю открытку, но это не значит, что я забыла нашу милую, умную, рассудительную Лиду. Наоборот, я часто вспоминаю тебя. Когда мне бывает трудно, я даже мысленно советуюсь с тобой, и мне кажется, что я всегда угадываю, что ответишь ты своей беспокойной Аньке, и, честное пионерское, всегда точно следую этому твоему предполагаемому совету.

Что поделаешь! Годы, проведенные в институте, приучили меня в трудную минуту обращаться к нашему милому курсовому оракулу. А так как, признаюсь честно, трудных минут здесь у молодого инженера товарища Ковалевой хватает и мой диплом, увы, не служит универсальным ключом к решению всех производственных задач, то должна сказать: мне очень и очень недостает тебя, твоего «хладного» ума, такого всегда спокойного и рассудительного.

Может быть, взвесив все на аналитических весах своей неодолимой логики, ты объяснила мое молчание тем, что мы холодно расстались. Если так, логика тебя подвела. Признаться честно, твое решение остаться в Москве было одним из первых настоящих моих жизненных разочарований. Другу надо все говорить напрямик. И в этот день мне действительно казалось, что я обманывалась в тебе. А ведь ты была мне больше чем друг: ты чем-то заменила для меня отца, погибшего на войне; да-да, именно отца, которого я очень любила

и которому доверяла все, чего не доверила бы и моей доброй маме. Среди всех девушек и ребят, которые с нами учились, ты казалась мне самой настоящей. И, конечно, не только потому, что была начитанней, талантливей нас, а потому, что при всей своей любви к жизни ты всегда, как мне тогда казалось, умела спокойно предпочесть общественное личному. А это ведь порой нелегко, ох, нелегко делать!

Мы видели в тебе будущее светило нашей науки — гидромеханики. Когда я думала о будущем, я всегда представляла тебя, красивую, умную, смелую, руководителем каких-то работ невиданного размаха.

И вдруг... ах, это мне «вдруг»! — даже сейчас больно об этом вспоминать... Помнишь, как мы обрадовались, когда нам сказали, что дипломы с отличием дадут нам право выбирать место будущей работы? Я, даже не раздумывая, выбрала, конечно, Волго-Дон. И разве могло быть иначе! Валерий Яковлев и Федечка Кошкин, которые вместе со мной получили сюда назначение, на радостях даже расцеловали гардеробщицу тетю Пашу. И вдруг Кошкин мне говорит: «Твоя почтенная Лида остается в Москве научным сотрудником в исследовательском институте». Это сообщение показалось мне сначала нелепым, потом страшным. Да-да!

Лидочка, ты прости меня за прямоту, но мне показалось, что в то время, когда все мы, весь курс, стремились попасть на передовую, ты, воспользовавшись правом выбора, дезертировала в тыл. Так я тогда думала, и мне было особенно больно, потому что ты была самой близкой моей подругой.

Прости за эти жестокие слова. Я написала о том, что думала о тебе тогда, потому что теперь я уже так не думаю. Сейчас я уже не прежний «восторженный козленок», как ты меня называла. Волго-Дон — великая школа. И если институт вооружил нас знанием — он учит этим оружием управлять. Он закалил меня, научил простому, но не сразу дающемуся умению сначала все хорошо обдумать, взвесить, а потом решать или делать. Теперь я уже не считаю себя героем, устремившимся на «передовую», а тебя дезертиром, «скрывшимся в тылу». Наоборот, я верю, что твой ясный, спокойный разум подсказал тогда тебе трезвое решение пойти туда, где ты лучше применишь свой талант экспериментатора и принесешь больше пользы народу. И твою любовь к Москве я понимаю. Я помню, как на практике в таджикских горах ты ни за что не хотела переводить часы на местное время и упрямо жила по московскому. Что ж, Москва стоит такой привязанности, тем более что там твое гнездо, где ты родилась и выросла. Да и трудно так вот, сразу оторваться от сияния

Москвы и ехать чорт знает куда — в пустую солончаковую степь, где только суслики посвистывают да ползают отвратительные степные гадюки, короткие, как морковка, но страшно злые.

Нам действительно досталось на первых порах. Жили в палатках, работали в накомарниках, воевали с гнусом — отвратительной мошкой, вполне оправдывающей свое название. Валерий оказался почему-то, с точки зрения гнуса, невкусным. Зато милого Федечку гнус сразу оценил, и, не довольствуясь накомарником, инженер Кошкин мазал себе лицо и шею какой-то им самим выдуманной смесью из глины и керосина, благодаря чему походил на мумию.

Но, милая Лидочка, что значили эти смешные невзгоды по сравнению с тем, что раскрыла перед нами эта стройка! Сейчас каждый пионер знает ее значение, ее масштабы. Ты читала, конечно, о новых гигантских советских машинах, работающих у нас. Но разве по описанию можно их себе представить! И разве что-нибудь сравнишь с гордым — да-да, с гордым! — сознанием того, что вот я, простая советская девчонка, Анька Ковалева, дочь рабочего, погибшего на войне, строю сооружения, которые будут украшать нашу землю и в две тысячи и в три тысячи... бог знает, каком далеком году!

Я, Лидочка, конечно, не настолько наивна, чтобы возомнить, что все это строим только мы, работающие здесь. Говорят, что только на наш объект шлют свою продукцию пятьсот советских заводов. Но все-таки это не то что видеть собственными глазами, как изо дня в день вырастают в голой степи величайшие сооружения.

Милая Лидочка! А какой здесь простор для технической мысли! Стройка растет не по дням, а по часам. И так же быстро растут люди. Мы прибыли сюда в одно время с новыми земснарядами. Только не со стокубовыми, какие мы изучали в институте, а с огромными, недавно сконструированными, производительностью пятьсот кубометров грунта в час. На одно из этих судов нужен был начальник. Федечка Кошкин, с высоты своего инженерного диплома, эдак снисходительно изъявил желание «временно работнуть» за начальника, пока не подготовят нужного человека. И с треском провалился. Техника обогнала все то, что мы еще недавно изучали. И пришлось самоуверенному инженеру Федечке отправляться на соседний объект набираться опыта у тамошнего начальника земснаряда, из демобилизованных солдат, выросшего на стройке в крупного гидромеханизатора.

Впрочем, здесь все непрерывно учатся, и я в том числе. Не учиться тут невозможно. Ведь мы создаем такое, чего еще не

было на земле. Сами на ходу вырабатываем новые методы, соответствующие новой, невиданной технике, а это, в свою очередь, заставляет нас учиться и совершенствоваться. Тут как-то села я в кабину 25-тонного самосвала (у нас уже работают и такие), чтобы доехать до центрального поселка. На ухабе машину тряхнуло. Из-за светового щитка вывалились мне на колени две книги: «Механика» и «Сопротивление материалов». Шофер, увидев мое недоумение, смеется: «Чего удивляешься, девушка? Техникум я еще перед войной кончил. Сейчас этого мало. Мне вон какую машинищу доверили! Вот и поступил на заочный в автодорожный институт». Среднего образования шоферу мало! Вот они, дела-то какие у нас, Лидочка!

Милая ты моя умница-разумница! А люди какие здесь! Уверяю тебя, попади ты сюда, даже при твоем «хладном» уме ты обязательно влюбилась бы, и не в кого-нибудь персонально, а во всех сразу. Вот тут всё пишут о двух наших подружках-электросварщицах. Фантастические вещи! Работая на сварке каркасов, они выполняют план на тысячу процентов. Не тебе, инженеру, объяснять, что это значит. Я представляла их себе сказочными богатыршами. А тут как-то сижу на концерте в нашем клубе — к нам на стройку артисты из Большого на гастроли приехали. Максим Дормидонтович Михайлов поет «Чуют правду». Стекла дрожат. А со мной рядом сидят какие-то девушки, маленькие, щупленькие, обе очень хорошенькие, в легких крепдешиновых платьицах. Слушают и плачут: Сусанина им жалко. Слезы в горошину текут по щекам, на колени падают, они этого и не замечают... Очень они меня заинтересовали. В перерыве спросила знакомого инженера, кто эти смешные девушки. А он мне отвечает с упреком: «Ну как же вы не знаете? Это же наши знаменитые электросварщицы! О них вся страна говорит. А вы — «смешные»!..» Вот тебе и слезы в горошину!

Ох, и заболталась же я сегодня! У тебя, Лидочка, наверно, уже в глазах рябит от моего почерка. Ну, что поделаешь! Мы все избалованы всеобщим вниманием к нашей стройке, и я совсем забыла, что этими описаниями можно и наскучить серьезному научному работнику в Москве. Перехожу к делу.

Пока мы тут жили в палатках и деревянных чумах, пока вязли в грязи, ходили в накомарниках и воевали с гнусом, я, Лидочка, не решилась бы предложить тебе ехать сюда к нам на работу. Но теперь все это древняя история. Уже с год как выстроен чудесный поселок на берегу будущего моря, улицы и дороги гудронированы, болота осушены, комары и гнус, как уверяет известный тебе остроумец Федечка Кошкин, стали

ископаемыми. В одном из уютных домиков у меня маленькая квартирка с ванной. До твоих московских удобств не хватает только телевизора. Вот теперь-то я и решила попытаться смутить твое несколько холодное сердце.

Приезжай к нам! До окончания осталось не так уж долго, но сейчас здесь самый интересный период, и твои знания, твоя изобретательность — словом, вся ты сама была бы здесь очень нужна. Тебе же все это даст бесценную практику, какой ты не получишь в столице, работай ты хоть в самой Академии наук. Да разве и не заманчиво инженеру глянуть из сегодняшнего дня на технику коммунистического завтра? Приезжай! Мы поселились бы в моей уютной квартирке, стали бы вместе, как когда-то, работать, читать, мечтать. Ой, как это было бы хорошо! И я могла бы посоветоваться с тобой по одному очень важному и весьма личному вопросу, по которому просить совета на бумаге как-то нехорошо. Словом, приезжай. Я попрежнему люблю мою Лидочку-москвичку, но все же мне кажется, что было бы лучше, если бы ты приехала сюда и предстала бы передо мной в натуральную величину.

Начальник участка — инженер Ковалева,
она же любящая тебя *Анька»*.

Письмо было отослано. Ответ не приходил.

За новостями, трудностями, волнениями и радостями, которыми на стройке полон каждый день, инженер Анна Ефремовна Ковалева как-то совсем забыла об этом своем письме.

Однажды, после объезда дальних забоев, она, усталая, вернулась домой. С удовольствием приняла ванну и, накинув купальный халат, вышла на террасу. Терраску уже обтягивали жгуты вьюнков, именуемых в этих краях «кручеными панычами». Сквозь причудливо-кружевную сетку, образованную ими, было видно, как большое красное солнце медленно опускалось за гребни шиферных крыш.

Вместе с сумерками из степи надвинулась прохлада. Аромат табаков, которым веяло из палисадников, сгустился. Стали отчетливо слышны доносящиеся откуда-то издалека, должно быть из клуба или с автобусной остановки, где висел репродуктор, звуки футбольного матча, транслируемого из Москвы: хрипловатый взволнованный голос радиокомментатора, возбужденное бурление трибун, свистки судьи, вскрики и взрывы аплодисментов.

Анна Ефремовна поудобнее уселась на ступеньках, испытывая чувство приятного покоя. Сегодняшний объезд показал, что вся флотилия земснарядов, находившаяся в ее ведении, в отличном состоянии. Беседуя с ней, старший багермейстер

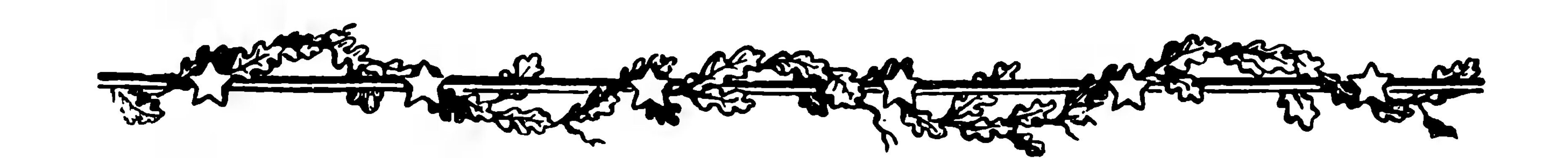
одного из них, стройный и широкоплечий парень, уйгур по национальности, внес интересное производственное предложение, поразившее инженера своей смелостью и новизной. Если его расчет оправдается, кто знает — может быть, удастся увеличить выдачу грунта на десять и даже двадцать процентов. Как бы это было кстати! А когда Анна Ефремовна возвращалась домой на своем вездеходике, ее догнал на мотоцикле инженер Кошкин. Безрассудный этот инженер на ходу долго уговаривал Анну Ефремовну пойти сегодня вечером с ним в клуб на лекцию о работах академика О.Б. Лепешинской. Он убеждал ее так горячо и упрямо, что чуть было не угодил под колеса. И девушке было приятно сознавать, что двигал им при этом, повидимому, не только интерес к смелым научным открытиям.

На лекцию она пойти отказалась и теперь вот, приятно сожалея об этом, сидела на ступеньках террасы, слушая отзвуки далекого матча и наблюдая, как в потемневшем воздухе над стройкой один за другим загораются огни.

Торопливые шаги на улице заставили ее вздрогнуть. Скрипнула калитка. Через палисадник шел незнакомый пожилой человек в фуражке и куртке Министерства связи. Он протянул разносную книгу, карандаш и телеграмму. Сразу почему-то взволновавшись, девушка прежде чем расписаться в книге, разорвала бандероль. На сером бланке, еще пахнувшем клейстером и непросохшей краской, она прочла:

«Вместе группой института перебралась новому адресу. Письмо дошло большим опозданием. Спасибо за память. Живу палатке, сплю нарах, едят комары. Масса интересной работы. Соединишь Волгу с Доном — приезжай сюда, на Жигули. Дела хватит. Мы только начали, но у нас грандиозней. Советую захватить гнусоуязвимого Кошкина вместе с его волшебной мазью. Очень пригодятся. *Лида*».





УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК

По чаше котлована неторопливо двигались двое: русоволосый сероглазый молодой человек, почти юноша, с книжкой в руке, и другой — пожилой, сухощавый, подобранный, с черными острыми и внимательными глазами.

Строительство, не знающее покоя ни днем, ни ночью, кипело вокруг них. От бетонных заводов в разные стороны непрерывно, точно ленты какого-то огромного конвейера, двигались вереницы самосвалов с кузовами, наполненными до самых краев густой серой массой. Гребень плотины щетинился лесом арматуры и весь сверкал острыми вспышками электросварки. На дальнем, еще не покрытом бетоном краю котлована множество экскаваторов, скреперов, бульдозеров рвало, передвигало, выравнивало массы грунта. Туго изгибаясь, уходила далеко в степь земляная насыпь.

Тысячи рабочих, управляющих большими и сложными машинами на всем этом огромном пространстве, рыли землю, возили и укладывали бетон, насыпали плотину, и вся долина до самого горизонта содрогалась от могучих звуков — гудков автомашин, лязга экскаваторных ковшей, свиста паровозов, грохота паровых молотов.

Но двое, о которых я начал речь, совсем не терялись в массе людей, занятых сложным трудом. Тут, в облаках жаркой и липкой цементной пыли и бензиновой гари, они шли чисто выбритые, принаряженные. Со всех сторон их дружески приветствовали.

— Евгению Петровичу! — кричал шофер, высовываясь из кабинки запыленного автосамосвала.

— Привет Симаку! — слышалось из группы рабочих, выравнивавших бетон на откосе котлована.

— Миллионеру — наше комсомольское! — произнес молодой голос в самой чаще стальных арматурных зарослей.

Молодой человек, который, повидимому, уже давно привык к такому отношению окружающих, отвечал на приветствия немного застенчивой улыбкой. Его пожилой спутник с достоинством оглядывался по сторонам; глаза его удовлетворенно щурились. Он то и дело трогал рукой густую щетинку аккуратно подстриженных усов, откашливался и говорил вполголоса:

— Знают, знают тебя тут, Женя... Вижу, знают... Заслужил...

Молодой, улыбаясь и сжимая локоть спутника, отвечал:

— Ваша выучка, Андрей Петрович! Вам честь, вам спасибо!

Пожилой откашливался и отрицательно мотал головой:

— Будет тебе, будет... Я человек скромный... Я под своим Хром-Тау до старости копаться буду. А ты вон на какой простор выскочил... Ребята-то, слышь, говорят: миллионер...

Он покашливал, хмурился, но черные глаза его с белками кофейного оттенка сияли, и как он ни старался, ему не удавалось согнать с лица выражение радости и самодовольства.

Перейдя забетонированную долину, они поднялись на крутой откос, где на земляной террасе стоял экскаватор «Уралец». Остановились возле машины и незаметно для тех, кто находился внутри, в кабине, понаблюдали, как экскаватор, точно играя, бросал в кузовы самосвалов по три кубометра земли за один раз.

— Мой, — проговорил молодой.

— Вижу, — отозвался старший и показал на надпись. На борту экскаватора красной краской было выведено: «С 7 ноября 1949 года по 6 сентября 1951 года экскаватор вынул из котлована 1 000 000 кубометров земли».

В кабине их уже заметили. Поднятый ковш на миг застыл в воздухе. Из окна высунулось разгоряченное работой, потное молодое лицо:

— Встретил?.. С приездом, Андрей Петрович!

Экскаватор сделал поворот, отнес землю в кузов очередного самосвала. Теперь из окна и дверей кабины выглядывал весь экипаж. Раздались голоса:

— Ну как строечка? Нравится, папаша?

— Учеником довольны?

— Что скажете о наших масштабчиках?

Пожилой человек стащил с головы форменную горняцкую

фуражку, пригладил черный с проседью бобрик и, отвернувшись, вытер глаза:

— Ох, и ядовитая у вас тут пылища, Женя! От цемента, что ли? А ведь верно, и меня тут вроде знают. Видать, и впрямь ты обо мне рассказываешь.

— А как же иначе! Ведь вы меня на машину посадили... Они — мои ученики, а я — ваш. Вы им вроде дедушка.

Теперь сто́ит рассказать об отношениях между Евгением Петровичем Симаком — знатным человеком стройки — и старым экскаваторщиком с рудника Хром-Тау Андреем Петровичем Бояринцевым, приехавшим сюда из далекой Актюбинской области, чтобы своими глазами взглянуть на невиданные работы.

Когда, демобилизовавшись из армии, Евгений Симак в конце 1945 года вернулся в степной поселок под горой Хром-Тау, Андрей Петрович Бояринцев был уже на руднике знатным человеком. И объяснялось это не только тем, что он работал на новой машине «Уралец», недавно привезенной в эти края, и даже не тем, что он отлично знал свое дело. На руднике каждому мальчишке было известно, что этот пожилой молчаливый человек был в свое время одним из лучших экскаваторщиков на строительстве Рыбинского гидроузла, а в дни войны со своей машиной выезжал на фронт и там, на передовой, под бомбами и снарядами копал траншеи и противотанковые рвы. Так трудовая слава Бояринцева переплелась со славой боевой.

И как-то так получилось, что, вернувшись на рудник, Евгений Симак сразу потянулся к этому человеку. По работе они мало соприкасались. Симак был электриком. Он обслуживал экскаваторы рудника. Мощные машины, каждая из кото́рых заменяла сотни рудокопов, нравились ему, привыкшему на войне к могучей технике. Но больше всего ему нравился «уралец» Бояринцева. Придя в кабину по ремонтным делам, подолгу простаивал он за сиденьем старого экскаваторщика, наблюдая, как тот точным и легким движением рук спокойно и уверенно управляет машиной.

Симак понимал, какой это сложный труд и какого большого он требует напряжения. Старик же все делал легко, будто играя. Это-то и восхищало.

Старый экскаваторщик, который, подобно всем истинным мастерам, любил учить молодежь, тоже исподволь приглядывался к любознательному электрику. Он чувствовал: из этого будет толк.

Как-то в минуту отдыха, вытирая масло с рук, Андрей Петрович будто невзначай бросил Симаку:



Евгений Петрович Симак.

— Ты бы, Женя, попробовал рычагами-то поиграть. У тебя, думается, должно пойти.

И электрик Симак стал обучаться новому делу. Учился он прилежно. «Уралец», со своей сложной системой управления, со своим умным взаимоотношением частей, чем-то напоминал ему боевую машину, с которой он сроднился за годы войны.

Андрей Петрович Бояринцев был терпеливым учителем, а Евгений Симак оказался отличным учеником. Он старался перенять у старого экскаваторщика не только суть профессии, но и все тонкости его приемов — то, что составляет душу настоящего мастерства.

Через месяц Евгений Симак был уже машинистом, через полгода — одним из передовых экскаваторщиков рудника. Его назначили сменщиком к Бояринцеву. Учитель и ученик соревновались. И когда ученик иной раз обгонял учителя, тот утешал себя тем, что сам открыл в Симаке мастера и привил ему любовь к машине.

— Не я вас — вы сами себя обгоняете. Ваша выучка, ваша хватка, — шутил Евгений, не только уважавший, но и любивший своего учителя.

Молодой экскаваторщик увлекался не только новой специальностью. Он постигал по первоисточникам историю большевистской партии, иногда часами неподвижно просиживал за новой книгой; был секретарем комсомольского комитета, членом обкома комсомола. Он познакомился и подружился с дочерью своего учителя — Олей Бояринцевой, с которой вместе ходил на концерты, спорил о прочитанных книгах, о жизни, о планах на будущее.

И поселковые кумушки, встретив Олину мать на базаре или в магазине, не без яда замечали, что, должно быть, неспроста Андрей-то Петрович «вытягивал в знаменитые» своего сменщика.

Молодые люди и не подозревали о таких разговорах. Дружба их крепла, но, мечтая о будущем, они еще не связывали его друг с другом. Чем звучней становилась производственная слава Евгения, тем чаще он думал, что девяти классов, оконченных им до войны, мало, что надо учиться. И Оля, хотя и не без грусти, соглашалась: да, он прав, время требует людей образованных. Оба они еще молоды. Когда же и учиться, как не в их годы. Она и сама не расставалась с книгами.

Евгений решил ехать на учебу. Андрей Петрович, узнав об этом, нахмурился. Но все же намерение ученика одобрил.

Симак отослал заявление и документы в Ленинградский горный техникум. Летом 1949 года товарищи по бригаде и

Оля проводили его на вокзал. Ребята, легонько пригубив по такому случаю, шумели, лезли целоваться, требовали, чтобы он писал им из Ленинграда каждую неделю. Оля ничего не говорила. Она стояла молчаливая, грустная, и, может быть, именно тут, когда в шуме посадки послышались звонки, Евгений понял, как дорога и необходима ему эта девушка, которую он до этих пор просто считал своим другом.

Симак уехал, и писем от него долго не было. На некоторое время он исчез, и даже Оля Бояринцева не знала куда. Уже поздней осенью пришло на рудник письмо — но не из Ленинграда, а с Дона, из станицы Цимлянской. Евгений писал, что жизнь его «неожиданно перешла на другие рельсы», что он не учится, а работает на таком же «уральце», как дома, работает в таких местах, названий которых, кроме местных людей, пока еще никто, пожалуй, и не знает, но некоторые скоро будут известны всему миру.

Получив такое письмо, Бояринцев помрачнел: чего-чего, а такого легкомыслия он от своего ученика не ожидал.

— Вот тебе и учеба! Просто удрал парень, — судачили поселковые кумушки.

— Цимлянская! Вроде как, кроме шипучих вин, данный населенный пункт ничем не известен, — недоумевали ребята из бригады Симака, отыскав на карте малозаметный кружок на берегу Дона.

Оля ходила встревоженная и чаще, чем всегда, заглядывала в жестяной ящичек, куда почтальон опускал газеты и письма.

Между хутором Ново-Соленовским и рудником Хром-Тау вскоре завязалась оживленная переписка. На руднике узнали, почему Симак оказался так далеко от Ленинграда. Дело было так. Прибыв в Москву и направившись на Ленинградский вокзал за билетом, Евгений встретил знакомого с Уралмаша. Этот человек когда-то на руднике монтировал экскаватор «Уралец». Он сказал, что едет на Дон и вслед за ним большой скоростью идут туда же части «двухсотки» — экскаватора «Уралец» № 200, который ему и предстоит там монтировать. Он рассказал, что среди донских плавней и прибрежных озер, в зарослях вербы и тала, тысячи строителей уже приступили к созданию Цимлянского гидроузла, который будет одним из крупнейших в мире.

Свердловский монтажник так ярко описал перспективы стройки, величие и большевистскую смелость идей строительства канала и всей оросительной системы, что Евгений был пленен его рассказом. И поехал Симак из Москвы уже не в Ленинград, не в техникум, а на Дон.

Евгений прибыл на строительство даже раньше, чем здесь появились части «двухсотки», следовавшие товарным составом. Он помогал такелажникам сгружать детали с платформы, вместе с монтажником собирал машину и 26 октября (он точно запомнил этот день) самоходом привел ее на просторный пустырь, которому суждено было стать основным котлованом.

В день тридцать второй годовщины Великого Октября, 7 ноября 1949 года, экскаватор «Уралец», на котором работал Евгений Симак, выбрал со дна будущего котлована первый ковш грунта.

Возвращаясь вечером домой по улицам строящегося поселка, над которым степной студеный ветер трепал красные полотнища флагов, Евгений Симак дал себе слово заставить вверенный ему стальной гигант раскрыть все свои возможности и отдать стройке всю свою мощь.

В тот же день он сообщил Оле о своем решении остаться на строительстве. И еще написал он, что когда-нибудь, когда строители обживут эти суровые края, переедут из палаток и бараков в квартиры нового поселка, который уже строится, он мечтает увидеть ее здесь женой, другом, товарищем по работе, хозяйкой своего дома. Там, на руднике Хром-Тау, возвращаясь бывало вечером из клуба, они подолгу ходили взад и вперед по улицам, говорили, молчали, опять говорили, но ни разу Евгений не решился сказать девушке то, о чем написал в письме из неизвестного хутора Ново-Соленовского.

Разлука, расстояние, разделившее их, сложность новой работы, большая ответственность, легшая на него, — все это как бы проявило его чувства к Оле.

В следующих письмах Евгений сообщал друзьям, что из таких же, как и он, приехавших сюда из разных концов страны людей сколотилась отличная бригада. Он писал, как придумал и ввел в дело своеобразный погрузочный конвейер из мощных самосвалов, о том, как втянул в соревнование десятки шоферов, обслуживающих его экскаватор, сделал их своими помощниками и товарищами. Он держал друзей в курсе всех своих нововведений.

А с рудника на новостройку тоже шли письма. Друзья сообщили, что благодаря его письмам далекое строительство становится им близким, что они гордятся своим товарищем, читают его письма вслух в обеденные перерывы, стараются применить на руднике его опыт, добытый на стройке.

Однажды Евгений написал друзьям, что ему удалось довести выработку на своем экскаваторе до 3300 кубометров грунта в смену. Этот рекорд привел всех в восторг на руднике Хром-Тау. Бояринцев в ответном письме сообщил, что он та-

кой выработки на своем «уральце» еще не достигал. Оля приписала к письму отца, что вся поселковая молодежь мечтает ехать на стройку и что лично ее, Олю, не пугают ни морозы, ни пыльные смерчи, ни неудобства бивуачного жилья, о которых он сообщает.

Эта приписка многое решила.

Ольга Бояринцева приехала на хутор Ново-Соленовский, который к тому времени уже стал известен в стране не менее любого старого города. Вся бригада в полном составе вышла встречать ее на вокзал. Воскресенье, когда Евгений Симак, как тут говорят, «играл свадьбу», было самым шумным и веселым в молодом поселке строителей.

Время шло, связь строительства с далеким рудником усиливалась. В Хром-Тау — правда, с двухнедельным опозданием, но во всех подробностях — узнавали обо всем, что происходит в Ново-Соленовском. Рудничные экскаваторщики, да и сам Андрей Петрович Бояринцев читали письма Симака, как страницы учебника. Когда Евгений вынул миллионный кубометр земли и земляки его узнали об этом из центральных газет, на стройку пришла телеграмма:

«Весь рудник поздравляет дорогого строителя коммунизма. Гордимся, радуемся, желаем успеха. Пью твое здоровье. На отпуск выезжаю смотреть твои дела. Бояринцев».

...И вот они ходят вместе по стройке, эти два человека, влюбленные в свою профессию, молодой и старый, высокие мастера своего дела.

Знакомые и неизвестные Евгению люди здороваются с ними. Старик доволен. Оглядываясь кругом, он шепчет:

— Экие махины! Экий размах!..

Они смотрят в степь, где, поднимая пыль, работают стальные гиганты, и сквозь зыбкое, колеблющееся над разогретой землей, марево обозревают, как рачительные хозяева, плоды трудов своих. Старик почему-то щупает орден Трудового Красного Знамени, висящий на лацкане пиджака, запорошенного бетонной пылью, и тихо говорит:

— А ведь, пожалуй, и я в коммунизме поживу. Как ты, Евгений, полагаешь, а?





НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ

Все началось с открытки, на которую поначалу Михаил Силыч Матвеев, знаменитый солист знаменитого театра, не обратил даже особого внимания. Артист был уже не молод, слава пришла к нему давно, и он едва успевал перечитывать обширную корреспонденцию, которая приходила к нему на театр. Да открытка и не содержала ничего особенного. Радиокомитет организовывал очередной концерт по заявкам слушателей, на этот раз рабочих и инженеров одной из волжских строек. В числе заявок, принесенных музыкальным редактором на выбор Михаилу Силычу, было письмо экскаваторщика Никиты Божемого, который просил певца исполнить старинную бурлацкую песню «Эй, ухнем».

— У него губа не дура, у этого Никиты, — с обычным своим грубоватым добродушием сказал Михаил Силыч редактору. — Что ж, включайте в программу «Эй, ухнем», пусть Никита порадуется.

Певец и сам любил эту песню, которую он давным-давно, еще маленьким конторщиком пароходного общества «Кавказ и Меркурий», замирая, трепеща и обливаясь пóтом в тесноте галерки, слышал в исполнении Шаляпина. Он пожалел только, что эту раздольную песню придется исполнять в радиостудии, к безлюдью которой он, как и большинство артистов, никак не мог привыкнуть.

Но на этот раз, оставшись один у микрофона, певец вдруг представил знакомое, дорогое ему с детства приволье волжских берегов, стройку, о которой он столько читал в газетах и которая смутно рисовалась ему как нечто огромное, даже с тру-

дом воображаемое. Он увидел массу людей и среди них Никиту Божемого, которого, может быть, из-за необыкновенной его фамилии воображение артиста нарисовало пожилым украинцем в вышитой рубашке с низким воротом, с лысоватым выпуклым шевченковским лбом, с пышными висячими усами и внимательными глазами, грустными и лукавыми одновременно. Он представил себе даже, как слушает его Никита, опираясь подбородком о загорелый кулак и пряча улыбку в пшеничные усы.

Должно быть, захваченный этим видением далекой стройки, Михаил Силыч в пустом помещении радиостудии спел так, как давно не певал и на больших концертах.

Через несколько дней пришло письмо от Никиты Божемого. Экскаваторщик сообщал, что он давний любитель пения, слыхивал лучших певцов страны, но такого исполнения любимой песни ему слушать еще не доводилось. Он звал Михаила Силыча к себе на стройку «обновить новый летний театр». Между прочим, в конце письма он сообщал, что в благодарность певцу экипаж его машины решил в следующем месяце перекрыть свой собственный рекорд и вынуть грунта на пятнадцать тысяч кубических метров больше, чем в предыдущем. «Это мы вам в подарок за прекрасное ваше пение», — писал экскаваторщик.

Последние, брошенные точно между прочим, строчки письма необычайно взволновали певца. Он давно привык к вниманию. Ни букеты, которые восторженные девушки торопливо совали ему в руку, когда он выходил из артистического подъезда, ни всяческие портсигары, палехские шкатулки, бювары и бокалы с надписями и без надписей, во множестве преподносимые ему по случаю разных юбилейных дат, — ничто ни разу так не порадовало артиста, как это простое сообщение. Пятнадцать тысяч кубических метров грунта! Ему, давно привыкшему к шумной своей славе, было необыкновенно приятно сознавать, что он вдруг как бы стал участником стройки.

И, неожиданно для всех своих товарищей по театру, он, слывший среди них человеком неподвижным, тугим на подъем, вдруг сам взялся комплектовать концертную бригаду. И делал он это не спеша, деловито, радостно, будто был не знаменитым певцом, а членом экипажа экскаватора «Уралец», выполнявшим задание своего бригадира. Он даже написал Никите Божемому, когда артисты прибудут, кто едет и что будут исполнять. В ответ он получил большое благодарное письмо от начальника политотдела и выразительную телеграмму от самого экскаваторщика: «Великое спасибо, ждем».

Артистов на стройке встретили радушно. К пароходу высы-

пала целая толпа. Всем преподнесли по букету. Михаил Силыч был обрадован такой встречей и все же невольно озирался кругом, стараясь разглядеть среди коричневых, загорелых лиц человека в рубахе с низким, завязанным шнурочком воротником и с висячими усами. Усевшись в машине возле начальника политотдела, он не удержался и спросил, был ли среди встречавших экскаваторщик.

— Никита Остапыч? Он сейчас в забое. А вы его знаете?

— Нет. Так... слышал... в газетах читал, — соврал почему-то Михаил Силыч.

За «победами», в которых ехали артисты, шел целый караван грузовиков со встречающими. Все же певца огорчало, что среди них нет человека со странной фамилией, которого он никогда не видел в глаза.

— Хорошая голова этот Никита Остапыч! — продолжал разговор начальник политотдела. — Наша гордость. Он тут такую выработку показал в прошлом месяце — все ахнули. Впрочем, дело не в цифрах. Остапыч — это целая школа. Он...

— А он будет на концерте?

— Ну как же! Со всем своим экипажем. Для них я приказал все правое крыло второго ряда оставить... Да, простите, я и забыл: это же он и сагитировал вас сюда приехать.

— Меня не надо было агитировать, — сухо ответил Михаил Силыч и замолчал на всю дорогу.

Огорчение перерастало в обиду на Божемого. Он, Матвеев, всенародно известный певец, приехал сюда в ответ на его приглашение. Привез великолепную бригаду. А тот даже не встретил! Не может быть, чтобы на такой огромной стройке, что вот уже полчаса тянется за стеклами машины, не нашлось человека, который смог бы его заменить. В театре и то заменяют исполнителей, а ведь это театр, и исполнители — единственные в своем роде... Певец дал себе слово ни за что не смотреть на правое крыло второго ряда.

Он так и сделал, когда во фраке быстрым шагом вышел на летнюю сцену, прикрытую изящной раковиной. Перед сценой, на склонах естественного холма, расходились радиусами ряды. Задние ряды терялись во мраке, как бы вливаясь в темноту леса, покрывавшего холм. Глубокое звездное небо служило потолком амфитеатра. Но раковина была построена так, что резонанс был великолепный. Голос певца, то бархатно гибкий и мягкий, то раскатисто гремевший на нижних нотах, легко покрывал бесконечные ряды и, уносясь вдаль, стихал в лесу или возвращался звучным эхом.

Этот огромный естественный зал, битком набитый людьми, так жадно воспринимал звуки, так чутко слушал, так дружно

аплодировал, что к Михаилу Силычу вернулось отличное расположение духа. Он простил экскаваторщику обиду и, кончив петь, добродушно и лукаво улыбаясь, посмотрел на первые ряды правого крыла. Они были хорошо видны, эти ряды, освещенные отсветом сцены. В огромном переполненном зале второй ряд бросался в глаза темными провалами пустых мест.

Рядом с этими пустыми местами Михаил Силыч разглядел полную миловидную женщину с тяжелыми косами, венцом уложенными на голове, загорелую худенькую девушку и еще какие-то женские фигуры. Михаил Силыч понял: пустуют места экскаваторщика и его друзей, понял, что они, эти люди, так настойчиво и тепло приглашавшие его, даже не пришли на концерт.

Артист как-то весь оледенел от обиды, но аплодисменты так дружно, так бурно и настойчиво гремели под звездным небом, что обида опять как бы растаяла в них. Забыв о Божемом, Михаил Силыч словно слился в единой общей радости со всеми этими загорелыми, обветренными людьми, сердца которых так чутко отзывались на каждую ноту. Подчиняясь радостной воле слушателей, он в этот вечер был необыкновенно щедр и пел, не жалея голоса.

А потом, когда его наконец отпустили и он, взволнованный, счастливый, юношески легким шагом сбежал со сцены, вытирая платком вспотевший лоб, к нему протиснулись те женщины, каких он разглядел давеча во втором ряду. Та, что была повыше, с венцом богатых кос, протягивая ему букет тяжелых роз, таких свежих, что казалось, будто в лепестках их прячутся капельки вечерней росы, сказала певуче:

— Это от Никиты Остапыча, от Божемого.

— А это от экипажа «уральца»! — торопливо прощебетала та тоненькая, что сидела в зале около первой. Сунув букет певцу и страшно при этом покраснев, она скрылась за спинами подруг.

Остальные отдали букеты молча. В руках у певца оказалась целая охапка цветов.

— А Никита Остапыч — где он? — спросил Матвеев, скрывая лицо за влажными, душно пахнущими цветами.

— Извиняется он перед вами. Я супруга его, Оксана. Велел передать, что не мог вас встретить и на концерт прийти. Сменщик у него заболел, а дело самое срочное... Перемычку насыпают, а осень-то — вон она, торопит! — И, обаятельно улыбнувшись, женщина вдруг перешла на украинский: — Вы вже мого чоловика звиняйте. Вин був дуже сумный, що вас не побачив. Дило ж! Сниданье и то на работу ему ношу...

— Где же вы взяли здесь такие цветы?

— А це вин сам выростив. Вин квиты дуже любит. Вин для вас весь садочок наш обирвав...

Сразу полегчало, посветлело на душе у певца. Ну да, как это ему раньше не пришло в голову, что тут бывают часы и дни, когда приходится во имя дела жертвовать самым дорогим, личным!.. Михаилу Силычу стало стыдно за свою эгоистичную обиду и захотелось поскорее увидеть своего корреспондента, пожать ему руку, познакомиться с ним.

После концерта управление давало артистам ужин. Михаил Силыч наотрез отказался сесть за стол и стал настойчиво просить показать ему строительство...

Была глухая ночь, но работы шли, как и днем, освещенные электрическими огнями. Провожатый, молодой инженер, москвич, любитель музыки, то принимался объяснять назначение тех или иных объектов, то пускался в пространные разговоры о вокальном искусстве. Михаил Силыч слушал рассеянно. Тут, на этом некогда тихом и пустынном волжском плесе, где в дни его юности стояла лишь старая баржонка, игравшая роль пристани, шла стройка неоглядного размаха. Певец даже и не пытался представить себе все, о чем рассказывал его спутник. Человек с острым музыкальным слухом, он воспринимал окружающее в виде потока звуков. Все они, такие ему непонятные и многообразные, как бы сливались в могучую, торжественную и раздольную симфонию.

И где-то здесь, среди этого звукового многообразия, на неведомой певцу машине, находился Никита Божемой, любитель музыки, пожертвовавший концертом для срочной работы. Его машина тоже, наверно, вплетает какие-то свои звуки в эту симфонию.

Певец слышал, как, прорываясь сквозь все эти шумы и господствуя над ними, раздавался звонкий девичий голос, далеко разносимый по радио. Он говорил обыкновенные вещи: кому-то приказывал ускорить оборот самосвалов, кого-то приглашал немедленно явиться к дежурному инженеру, кого-то сердито отчитал за недодачу бетона на третий участок. Обычные текущие дела. Но певцу этот голос казался голосом человека-творца, командующего всей этой массой сложных, могучих, рычащих, звенящих, пыхтящих машин и механизмов.

— Кто это? — спросил он.

— Это Нюра Капустина, помощник дежурного диспетчера, — ответил провожатый. И продолжал тоном экскурсовода прерванное объяснение: — Весь котлован у нас радиофицирован. Все распоряжения строителям — оперативные, конечно — передаются по радио. Вот слышите...

Вокруг разносилось:

«Бригадир автоколонны, бригадир автоколонны! Усильте оборот машин, не заваливайте подачу. Божемой сердится, Божемой сердится...»

— И голос ее слышно везде?

— Ну да. А как же! По всему котловану, — отозвался инженер, с удивлением улавливая в вопросе знатного спутника нотку волнения. — ...А первый раз в «Сусанине» я слышал вас мальчишкой, помню...

— Вот что: а если мне выступить сейчас по этому радио? — спросил вдруг Михаил Силыч. — Да-да-да! Что вы так на меня смотрите? Вот возьму и выступлю для Никиты Божемого, для всех, кто сейчас работает и не мог быть на концерте! А?

— Что вы, там же дощатая конурка! — испугался провожатый. — Скворешня, никакой акустики, там...

— Нет-нет, решено! Идемте. Где она сидит, эта ваша голосистая Нюра? — властно сказал Михаил Силыч, весь наливаясь веселой, озорной радостью, точно с плеч у него свалилось сразу лет двадцать — двадцать пять.

И через несколько минут известный всем здесь голос Нюры Капустиной, растерявший на этот раз свои самоуверенные, повелительные нотки, торопливо, единым духом выпалил:

«А сейчас по диспетчерскому радио выступит для рабочих ночной смены народный артист Михаил Силыч Матвеев. Он споет... Ой, этого я, товарищи, не знаю! Он сам вам скажет... Внимание! У диспетчерского микрофона артист — товарищ Матвеев...»

Сквозь рев моторов, бетоновозов, тягучий лязг баб, загоняющих в землю шпунты, сквозь пофыркиванье скреперов, скрежет экскаваторных ковшей — сквозь всю эту симфонию труда и созидания прорвался и полился могучий бас. Необычайно радостно, с веселой удалью гремела над стройкой старая бурлацкая песня, вслед за нею славный патриот Иван Сусанин говорил с родиной в свой предсмертный час, раскатывался по котловану сатанинский смех Мефистофеля, разудалый Еремка потешал русский народ веселыми прибаутками о широкой масленице...

Странный это был концерт. Паузы в промежутках между песнями и ариями заполнял взволнованный девичий голос, требовавший к прорабу проштрафившегося десятника, сообщавший экскаваторщикам, что автоколонна усилена, в третий раз вызывавший какого-то товарища Климова к дежурному инженеру. И снова гремел могучий бас, разносимый репродукторами на много километров.

Не переставая нажимать рычаги экскаватора, слушал его любитель пения Никита Божемой. Слушали бетонщики, мостя

в щитах опалубки влажную серую массу, сыпавшуюся из кузовов самосвалов. Слушали электросварщики, извергавшие молнии в железных чашах арматуры. Слушал дежурный инженер, который, так и не дождавшись исчезнувшего товарища Климова, присел на минутку на какой-то ящик перед репродуктором, да так и застыл, очарованный.

Певец стоял в крохотной диспетчерской кабинке, целиком заполняя ее своей мощной фигурой, почти упираясь головой в потолок. Крахмальный воротничок вместе с галстуком он давно уже сорвал и сунул в карман. Пот ручьями лился с широкого рабочего лица. В жаре и духоте, без аккомпанемента он пел одно за другим свои любимые произведения, щедро бросая в микрофон все сокровища своего голоса.

Это был самый радостный его концерт.





В ТУМАНЕ

Весна нагрянула сюда внезапно.

Перед этим несколько недель сильно мело, набросало много снегу. Метели заштопали все проплешины, и степь, где шли работы, стала вокруг строек ровная, чистая и такая белая, что казалась бескрайной, потому что совершенно сливалась с таким же белым, холодным небом и горизонт словно исчезал. Дули северные ветры. Они полировали сугробы сухим, шелестящим снежком, и когда солнцу изредка удавалось пробиться сквозь белесую дымку, наст ослепительно сверкал в его желтых, негреющих лучах.

Было очень холодно. Бетон подмерзал в самосвалах за то короткое время, пока его везли с завода. Электросварщики, крепившие арматурные блоки, боялись снимать рукавицы. При малейшей неосторожности руку прихватывало к металлу, и можно было поплатиться кожей ладони. Шоферам, возившим по степи строительные грузы, выдали меховые полушубки и фронтовые ушанки. По всей стройке день и ночь на железных листах горели костры.

Но однажды утром люди не увидели ни грандиозной панорамы строительства, которой они привыкли любоваться, идя на работу, ни улиц новенького поселка, ни даже своего крыльца. Все вокруг заволакивал седой туман, такой густой и плотный, что нельзя было разглядеть и собственной вытянутой руки. Было тепло, даже как-то душно. Дорога, которая еще вчера звенела, твердая как камень, расползалась под ногами влажным, зернистым снегом. Рабочие из местных жителей объясняли: это туман-снегоед, это нагрянула бурная весна.

И действительно, с быстротой, какая бывает разве только в театрах, пейзаж изменился: снега посерели, из-под них полезла черная, маслянистая, насыщенная влагой земля. Дороги развалились, расширились, расползлись по степи, и там, где еще вчера весело, ходко, точно по автостраде, бежали вереницы машин, сейчас лишь мощные тракторы, сердито отфыркиваясь, тянули срочные грузы, упрямо меся грязь своими не знающими устали гусеницами. Лишь им да вездеходам остались доступными степные дороги, над которыми весь день зыбилось студенистое марево да тонко и нежно звенели жаворонки.

Вот по такой-то дороге и двинулись мы с товарищем на дальний объект, который первым держал решающее испытание под внезапным напором вешних вод. Раскисший чернозем засасывал ноги. Резиновые сапоги от налипшей на них грязи стали тяжелыми, как обувь водолазов. Одежда взмокла от пота, липла, связывала движения.

К вечеру туман сгустился. Солнце увязло в нем, не дойдя до горизонта. Быстро наступившая ночь накрыла нас так неожиданно, что мы не успели хотя бы и приблизительно определить, далеко ли еще идти. Влажная мгла обступала нас со всех сторон. Под ногами чавкала грязь. То тут, то там легонько шелестел ручеек да вздыхал, оседая, оттаявший за день крупичатый снег. Лишь звон проводов, приглушенный туманом, служил нам в пути невидимой вехой.

Легко понять радость, которую мы испытали, когда где-то невдалеке впереди себя услышали вдруг голоса. Они звучали еле слышно, и порой казалось, что это обман усталого слуха. Мы ускорили шаг, и, как это всегда бывает в тумане, голоса сразу оказались так близко, что легко было узнать, что разговаривают две женщины. Они разговаривали на ходу и шли в том же направлении, что и мы. По тому, как уверенно двигались они и как спокойно беседовали, видно было, что дорога эта для них привычная и им не впервой ходить по степи в туман и распутицу. Разговор у женщин завязался, повидимому, уже давно.

— ...Так он вам прямо и сказал? — отчетливо воскликнул молодой, звонкий женский голос. И в нем прозвучали сразу и удивление, и гнев, и сочувствие.

— Так-таки и сказал, — отозвалась другая низким, грудным контральто, и хотя говорила она по-русски, в самой манере произносить слова звучала украинская напевность. — Так и сказал: «Уйди, говорит, Ольга, отсюда, потому мне сейчас вот как не до тебя!» У меня даже сердце упало: «Как не до меня? А до кого? Может, до этой глазастой сварщицы Надьки?

Может, до этой рыжей инженерши, что в штанах ходит?» А он, Женечка, знаешь что? Он смеется. «Раз, говорит, Ольга, я пятнадцатый год твой характер терплю, — значит, говорит, ты от меня не только весь женский пол, а само солнышко заслоняешь». Слышишь, Женечка, что придумал, чорт длинноногий! «А сейчас, говорит, все же уйди, не до тебя! У меня, говорит, сейчас все мысли, все силы — всё к одному: как наша работа воду выдержит, а ты, говорит, отвлекаешь». Я его, Женечка, отвлекаю! А? Для него ребят на дочь-малолетку оставила, десять верст такую грязюку промесила, и пожалуйста вам. Ну, ты скажи, Женечка: не обидно мне?

— Все, все, все они, Ольга Петровна, такие! Да-да-да! — зачастила та, которую называли Женечкой. — Все, ну абсолютно все! Знаете, откуда я к своему сюда ехала? Из Сибири. Четыре тысячи километров!.. Интересная работа, учеба, батя — первый человек на заводе. Дом. У меня своя комната в два окна, мама обо всем заботится, мне только работай да учись! А я, как последняя дура, все бросила, с отцом поссорилась — и к нему сюда. Здравствуйте! Приехала!

— А ведь вы, говорят, и женаты тогда не были?

— Ну, правильно... Да и там, дома, на заводе, между нами ничего такого не было. Ну, дружили, ну, в вечернем техникуме вместе учились, провожал он меня... Ну, там, в театр ходили. И все. Я ему и поцеловать-то себя ни разу не разрешила... Он ведь у меня только на работе Илья Муромец, а так он робкий... Я до того на него тогда рассердилась, что даже на вокзал его провожать не пошла: как же, променял меня на какую-то стройку! А потом, как отсюда первое письмо пришло, как написал он нам, что работать начал, что в палатке живет и комары его тут едят, я и сорвалась. Мать плачет, отец в комсомольский комитет на меня подать грозит, сама слезами обливаюсь. Но нет: поеду, и все! Оттого, что он сюда ушел и меня ради этого оставил, он мне даже милей стал... Первые-то месяцы мы в общей палатке прожили. Бывало комары так нажиляют — глаз не раскрыть, а ему что, он разве ценит?

— Как мой, как мой! Два сапога — пара.

— Все они такие, мужчины, Ольга Петровна, — тоном большой житейской умудренности произнесла Женечка. — Какого ни возьми... И ведь что обидно: экскаватор у него самоновейший — это ему страшно лестно, этим он гордится, а что рядом молодая жена — это ему не важно, этого он и не замечает!.. Реветь, реветь хочется! И ведь реву — вы что думаете?.. Помните, из Малого театра к нам на гастроли приезжали? Я как раз тогда новое платье сшила. Может быть, видели — это бордовое, из крепжоржета, с пелеринкой? Оно ко мне

очень идет. Я радуюсь: вот обновлю! И он рад. Хоть на языке-то у него все «деловые кубометры» да «деловые кубометры», а театр любит. Бывало дома ни одной постановки с ним не пропустим. И тут: надел серую тройку, в которой он на Конференцию сторонников мира в Москву ездил, ботинки начистил, хоть в них смотрись! Я ему свой батистовый платочек в кармашек сунула — ну, куда там!.. Идем, радуемся. А навстречу на самосвале его сменщик несется. Весь в глине. Мой ему: «Ты куда?» Тот кричит: «За механиком! Беда — поломка, второй час стоим!» Мой как был в новом костюме, с моим беленьким батистовым платочком в кармане, так в кузов и прыгнул. Стучит кулаком по кабине: «Назад, в карьер!» Я стою, как дура, на тротуаре, а он обо мне забыл и думать. Уж потом издали крикнул: «Ступай в клуб, приеду туда!» Вот я и сидела одна рядом с пустым местом, сидела и злилась до самого перерыва... Ольга Петровна, милая, вы подумайте, каково это мне, в новом платье, сидеть рядом с пустым местом? Ну, думаю, вернись только, я тебе покажу! И весь перерыв проходила в фойе с инженером Капустиным — знаете, из гидромеханизации, блондин такой, высокий, очень симпатичный.

— И холостой, кажется.

— Ну, это мне ни к чему. Это мне абсолютно все равно... Нарочно ходила с ним под руку, нарочно смеялась, даже в буфет с ним зашла, чаю с пирожным выпила. И вот какие мы, женщины, — прямо на себя досадно!.. Хожу с этим инженером, смеюсь, а слезы во мне кипят, и все я о своем, о нем думаю... Вернулись в зал, все концерт слушают, радуются, переживают, а я слезы глотаю и не вижу, что на сцене-то делается. Собралась было вовсе уйти, да вдруг пожалуйста, является. И вы думаете, прощения попросил, извинился? Ну как же! Первое слово: «Починили». А сам — матушки мои! — весь в глине, на ботинках целые лепешки, усталый, потный. Шепчу ему: «Хоть лицо оботри». Вынул он мой платочек, а тот весь черный, будто это и не батист вовсе, а концы для обтирки.

— Ай-яй-яй!.. Ну, ты его как следует проработала?

— То-то, что нет. Стыдно сказать: даже обрадовалась. Такая досада!.. Только уж слово дала: если он еще раз такое себе позволит, уеду! Сына заберу и уеду... Слабый у меня характер, Ольга Петровна!

— У всех у нас слабый характер, — отозвалась собеседница. — Но я еще своему покажу, как я его отвлекаю!.. Вот паводок сойдет, автобус наладят, явится он домой — я с ним потолкую! — И вдруг, перейдя на полушопот, она сказала: — Женечка, слышишь, что это они за нами тянутся — не отстают и не догоняют?

Последнее относилось уже явно к нам. И в самом деле, может быть нескромно подслушивать чужой разговор, но ведь не часто посчастливится литератору так вот, незаметно заглянуть в человеческую душу. Полагая, что спутницы возобновят разговор и он вновь потечет, невыдуманный, непосредственный, мы слегка уменьшили шаг.

— Ишь, и не подходят! Может, это какие нехорошие, а? — испуганным шопотом сказала Женя.

— «Нехорошие»! Нехорошего разве в такую грязюку да в туман в степь выгонишь? Наверно, как мы с тобой, по срочному делу, — отозвалась Ольга Петровна и громко, адресуясь уже явно к нам, сказала: — Эй, граждане, чего издали-то наши балачки слушать? Подтягивайтесь, в компании веселей...

Туман подвел нас. Женщины оказались совсем рядом, и мы чуть не натолкнулись на темные фигуры, высокую и поменьше, как-то сразу возникшие в сплошной переливающейся мгле. Спутницы были в ватниках и резиновых сапогах. Головы у обеих были обмотаны шерстяными платками так, что трудно было рассмотреть лица. В руках обе что-то несли.

Выяснилось, что идем мы на один и тот же объект, что дорога попутчицам хорошо известна и, по мнению их, идти осталось уже немного. По мере ночного похолодания грязь под ногами покрывалась ледяной коркой, словно подсыхала, туман начинал редеть, становился волокнистым, прозрачным. Проглянула луна, засверкали кругом подмерзшие лужицы в колеях, и мы разглядели спутниц.

У Ольги Петровны, высокой женщины средних лет, было строгое, точно очерченное лицо с крупным, энергичным ртом. Шелковистым пушком темнели над верхней губой усики. У маленькой Жени удалось разглядеть только вздернутый нос, глаза, посверкивающие из-под низко надвинутого платка, да развевающийся русый пушистый локон, который она, двигая щекой по плечу, все старалась убрать под платок: обе руки ее были заняты.

Произошло то, с чем, увы, часто приходится сталкиваться литераторам. Узнав, кто мы и зачем в такую пору спешим на объект, спутницы как-то сразу переменились. Исчезла непосредственность, которая минуту назад звучала в их разговоре. Они пустились наперебой рассказывать о стройке, где работали их мужья. Говорили с гордостью, со знанием дела, но, увы, тем ровным, безликим языком, который иногда ошибочно называют газетным. Об их мужьях, знаменитом экскаваторщике и бригадире бетонщиков, мы узнали только, что это передовые люди и на сколько целых и сколько десятых процента те выполняют свои месячные планы.

Вдали брезжили огни, пробивая прильнувший к земле и совсем уже поредевший туман, когда товарищ мой догадался поинтересоваться, зачем эти женщины в распутицу, в ночную пору спешат на стройку. И тут опять в их речи зазвучала прежняя простота:

— А паводок-то! Наши теперь и живут там, вроде бы на казарменном положении. Восьмой день дома не появляются, — отозвалась Женя. — Работа срочная!

— Да и есть им время! Три часа по грязи туда да три обратно. Машины-то через эту хлябь не проходят, — добавила Ольга Петровна. — Вот несем им поесть. Мы с мужем из-под Полтавы, — борщечку ему украинского сварила; мой любит борщ — страсть! А она вот пельмешек нашлепала для своего сибиряка... Ну и еще кое-чего по малости.

— А что же, у них столовки нет, что ли?

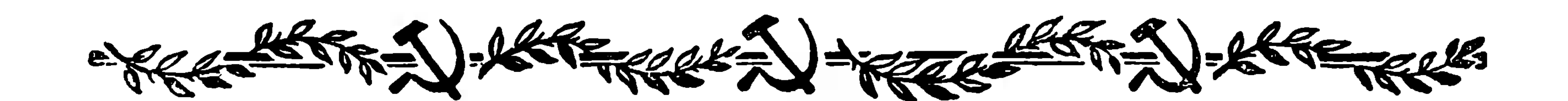
Женщины переглянулись и посмотрели на нас: одна — с недоумением, другая — со снисходительной улыбкой.

— У них там не только что столовка — ресторан! Шеф у них хвастает, будто в войну маршала питал. Меню висит — без словаря не поймешь, что в нем и есть, — пояснила Женя с некоторой даже обидой, усмотрев, повидимому, в самом вопросе непростительную неосведомленность.

— Есть, все у них есть там, граждане, да только разве этот их разлюли-повар со своими фрикадельками да соусом «тру-ля-ля» сготовит так, как хорошая жена? Он, может, и не врет, что маршала довольствовал, а только маршал, наверно, сл да по щам маршальши скучал... Разве ресторанное-то с домашним сравнишь?

...Похрустывала, расползалась под ногами жидкая грязь. Болела, как бы даже поскрипывала поясница, дрожали в коленях тяжело натруженные ноги. Каждый шаг стоил усилия. Но впереди, в очищенном морозном прозрачном воздухе бесконечной россыпью огней, в дрожащем электрическом зареве, все ближе, все ярче вырисовывалась стройка.





КОМАНДИР ЗЕМЛЕРОЙНЫХ ГИГАНТОВ

Едешь бывало на трассе строившегося Волго-Дона, видишь, как тут и там, группами, целыми комплексами, машины копают землю, перебрасывают ее в отвалы, грузят в кузова автомобилей, сами перетаскивают груз, могучими ножами ровняют грунт, причесывают ковшами откосы, — смотришь на все это и испытываешь какое-то особое уважение к техническому гению советского человека и к тем, кто, сидя в кабинах, диктует стальным богатырям свою разумную созидательную волю.

Но с особым уважением думалось всегда об инженерах, которые руководили всей этой мирной механизированной армией разнообразных стальных машин, организовывали ее наступление. Машины были все новые. Некоторые из них в заводских документах значились под номером «1». Многие впервые появились на канале и не имели в технике ни равных, ни подобных. И мне всегда хотелось увидеть одного из командиров этой армии стальных великанов, того, кто направлял их, кто тут же, на ходу, разрабатывал методы их использования. Такой человек всегда рисовался мне почему-то в виде убеленного сединой ученого-полководца.

И вот уже под конец строительства, когда земляные работы были окончены и лишь бульдозеры, упрямо тарахтя моторами, ровняли, как бы полируя, территорию вдоль новой, уже начинающей жить трассы, мне довелось познакомиться с одним из тех, кто в дни строительства командовал здесь техникой, — с Львом Павловичем Ермолиным, заместителем главного инженера Волгодонстроя по механизации.

Признаюсь, когда я впервые увидел его в маленьком кабинете, окна которого выходили на новую, просторную площадь города Калача, мне захотелось выйти в коридор, перечитать на двери табличку: не ошибся ли я, туда ли попал? Ничего полководческого во внешности инженера Ермолина не было. Это был плотный и с виду совсем еще молодой человек с подвижным, выразительным лицом, с серыми глазами, в уголках которых, как казалось, никогда не потухают бойкие мальчишеские лукавинки. Человек он оказался открытый, жизнерадостный, отличный собеседник.

Разговор наш то и дело прерывался телефонными звонками, приходом посетителей. Лев Павлович подолгу беседовал с ними по неотложным делам, но это не мешало, а как-то даже помогало проникнуть во внутренний мир инженера, понять способ его работы и общения с людьми...

— Для всех нас стройка — университет самых передовых методов организации работ. А вы, как видно, так на первом курсе и застряли! — с досадой сказал он инженеру, доложившему, что он запаздывает с ремонтом экскаваторов, отправляемых на Сталинградгидрострой...

— Спасибо за науку! Очень ты нам помог выжать все из малых шагающих, очень! Я твои приемы в научный отчет включаю. Ну, будь жив! Рад встретиться на новой стройке! — напутствовал он экскаваторщика, зашедшего попрощаться, и так крепко тряхнул тому руку, что у большого, коренастого парня аж губы дрогнули на загорелом лице. — Что нового придумаешь — пиши. Применим в самых широких масштабах...

— А я говорю: и так сумеете, раз надо, — твердо заявил он в телефонную трубку прорабу, жаловавшемуся на то, что ему не хватает техники, и просившему «подкинуть скреперов». — Это легко подкинуть, а вы думайте, как наличные лучше использовать. Да-да, посоветуйтесь с инженерами, со скреперистами. У вас чудесный народ — они подскажут. Работу восьмеркой не применяли? Ну вот, обязательно примените! С наличными машинами и досрочно всё сделаете. У вас всё? Действуйте, желаю успеха...

— Вам некогда обобщать опыт? — ледяным тоном спросил он своего сотрудника, забежавшего предупредить, что из-за перегруженности текущими делами он вряд ли успеет к сроку представить свои предложения в общий научный отчет об использовании машин и механизмов. — Скажите, пожалуйста, это только у одного у вас пусковой период? А по-моему, у всех, и все заняты по зарез, и всем спать некогда. Но ведь только вы забыли о нашем долге перед наукой. Вы один...



Лев Павлович Ермолин.

Инженер Ермолин вышел из-за стола, остановился перед собеседником, поправил ему галстук:

— Помните сказку? Человек вдруг получил способность источать золото. Скажет слово — и золотой; еще скажет — еще золотой. Мне это вот почему на ум пришло. Мы сейчас тоже такие: столько опыта в себя впитали, и такого опыта, что иное слово не золотой — кучу золота сохранит! — Инженер говорил теперь каким-то другим — мечтательным, я бы сказал, лирическим тоном. — Наш канал не только новый судоходный путь, возрождение мертвых земель и увеличение энергетического баланса страны. Мне кажется, он решил и четвертую, не менее важную задачу. Он был полигоном, на котором мы испытывали массированное наступление огромной строительной техники. Да-да-да, и все стройки сейчас ждут не только наших машин и наших людей. Опыт, опыт наш там нужен!.. А вам наукой заниматься некогда, обобщать драгоценный опыт...

Улыбка погасла на широком лице инженера, оно вдруг стало сухим, жестким.

— Завтра в десять тридцать жду вашу докладную. Перепечатанную и вычитанную. Договорились? Ну вот и хорошо! Всего...

Пережидая в углу на диване все эти деловые разговоры, поминутно вторгавшиеся в нашу беседу, я исподволь наблюдал за инженером Ермолиным. Странно, я никак не мог отделаться от ощущения, что когда-то, может быть давно, но я уже слышал его имя и фамилию и даже, как начинало казаться, был с ним знаком.

После того как очередной посетитель покинул кабинет и мы остались одни, я прямо спросил, не встречались ли мы когда-нибудь раньше.

— Не помню, вряд ли, — ответил инженер, вынимая коробку папирос.

Он достал спички, начал закуривать, и при этом сразу бросилось в глаза, что указательный палец у него наполовину отсутствует. Впрочем, после войны мало ли встречаешь людей с такими недостатками! Но фамилия инженера была Ермолин, и искалеченный палец в сопоставлении с этой фамилией помог раскрыть все.

Да, мы действительно не встречались. Но я и многие советские люди, никогда не видевшие его в лицо, знают об этом человеке.

— В годы войны вы партизанили на Украине?

— Точно.

— В отряде Героя Советского Союза Медведева?

— Точно.

— И это было под Ровно?

— Ну конечно, — улыбнулся инженер. — А вы как догадались? По книге Медведева, да?..

Сидя в маленьком его кабинетике, где «график использования механизмов» висел на стене, как боевая штабная карта, я припомнил книжку «Это было под Ровно», где один из мастеров лесной войны с подкупающей искренностью рассказывал о подвигах своих боевых товарищей, сражавшихся с фашистами далеко за линией фронта.

Лев Павлович Ермолин был сначала рядовым, потом командиром взвода, роты и, наконец, батальона в отрядах, сражавшихся в ровенских лесах. Он хорошо помнит инженера Кузнецова, который стал на войне легендарным разведчиком, да и сам он, пользуясь знанием языка, порой действовал против фашистов, переодевшись во вражескую форму.

В книге Медведева не раз упоминается о Ермолине. Потом я нашел в ней место, которое помогло мне догадаться о партизанском прошлом инженера, о чем тот из скромности умалчивал.

Автор, не без юмора, описывает там бой, который дали партизаны в честь победы советских войск, окруживших фашистские армии в районе Сталинграда: «У нас при этой операции совсем не было потерь. Только у бойца Ермолина пуля пробила каблук, но это с Ермолиным было уж неизбежно. Удивительно, до чего пули любили его! В любой стычке, будь хоть один выстрел, пуля обязательно попадает в него — вернее, не в него, а в его одежду: то в шинель, то в фуражку, то вот, как теперь, — в каблук. После каждого боя Ермолину обязательно приходилось сидеть и штопать свое обмундирование. Только один раз за все время пуля его ранила, да и то шутя — попала в палец».

Он действительно был счастливцем, этот инженер-партизан, который в первые дни войны оторвался от строительства московских набережных, чтобы лететь в глубокий тыл врага и там сражаться на стальных магистралях, на лесных дорогах, на улицах оккупированных городов, порой в самих вражеских штабах. Двадцать восемь месяцев воевал Ермолин в лесах под Ровно. Потом уже, до самой победы, столь же бесстрашно действовал в тылу вражеских армий на западных участках великого фронта. И хотя, как явствует из процитированных записок, жизни он своей не щадил и от пуль не прятался, он потерял только одну фалангу пальца на руке.

Зато советская жизнь щедро расквиталась с ним и за длинные студеные ночи, проведенные в секретах и засадах, и за

нечелогеческое напряжение, которое он испытывал, выходя в чужом мундире один навстречу вооруженным врагам, и за тяжкое чувство, которое переживал он, инженер-строитель, разрушая мосты, взрывая дороги, отправляя под откос поезда.

Ему повезло. Демобилизовавшись, он попал в Гидропроект, а затем в Гидрострой и таким образом сразу очутился в атмосфере напряженного технического творчества.

Находясь как бы в оперативном отделе штаба мирного наступления советских людей на природу, недавний партизан видел в конкретном воплощении все величие замышляемых большевистских дел, всю щедрость народа, не жалеющего средств на стройки, все могущество техники, которой правительство оснащало строителей, готовившихся к выходу на трассы.

Участвовать в разработке великих проектов — что может быть увлекательнее для молодого инженера! Но уже приближались сроки, когда проекты начнут воплощаться в сооружения, изменяющие облик земли. Льва Павловича все больше стало тянуть на практическую работу. Это стремление было оценено руководителями. Он прибыл на стройку в числе первых специалистов, и уже при нем начали приходить со всех концов страны новые машины. При нем их собирали, при нем они делали первое рабочее движение и при нем их выводили на будущую трассу канала, существовавшую тогда лишь на кальках.

О работе механизмов на первой грандиозной послевоенной стройке будут написаны томы научных трудов. Мне же хочется сказать о том, каким бесценным опытом обогатился молодой инженер, участвовавший в организации всей этой могучей техники, постоянно соприкасавшийся с теми, кто ею управлял.

Он не просто расставлял по трассе прибывающие машины, заботился об их ремонте и обслуживании, не просто наблюдал за тем, чтобы их лучше использовали. Нет, он не обмолвился, сказав в беседе с коллегой, что строительство — «университет массовой механизации». Это правильно. Каждый день на стройке был для него как бы лекцией, углублявшей знание предмета. Эти знания он спешил обобщить, отсеять случайное и сберечь все ценное, новое, передовое и сейчас же передать все это обратно, на трассу, во все строительные районы.

Так, совершенствуя самого себя, он помогал совершенствоваться всему коллективу механизаторов, которые выполнили на строительстве девяносто семь процентов всех работ.

Находясь далеко от столицы, он стремился быть в курсе всего нового, что давала советская наука. Он изучал машины, поступавшие на вооружение строительства, старался узнать

все их явные, записанные в технические паспорта, и скрытые, неизвестные порой даже самому конструктору, возможности. С такой же тщательностью изучал он людей, работающих на машинах, и они, эти люди, помогали ему применять лучшие достижения науки и постигать полную мощь новых механизмов. Лучшие экскаваторщики, скреперисты, бульдозеристы были его друзьями. Помощь их он особенно ценил.

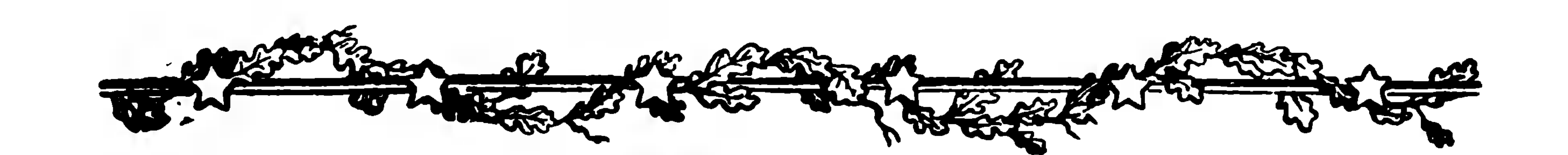
Мы долго беседовали с Львом Павловичем, и он, всячески отводя разговор от своей личности, охотно рассказывал о талантливых экспериментах экскаваторщиков Слепухи и Худякова, о смелом новаторстве скреперистов Мохова и Игнатенко, о всех вкладах, какие сделал творческий мозг рядовых тружеников в осуществлении гигантского проекта.

И когда мы прощались с этим командиром землеройных гигантов, инженер пошутил, улыбаясь юношеской улыбкой, которая удивительно молодила его курносое лицо:

— На войне везло: пули облетали меня. И тут везло: все время встречался с такими чудесными ребятами, что каждое такое знакомство стоило иной раз прочитанной книги. Сейчас вот стараемся, чтобы ничего из накопленного при переездах не растерять, не растрясти. Массированное наступление строительной техники продолжается. Оно развертывается, как наступление Советской Армии в Великой Отечественной войне. Много еще нам будет работы, да какой! И представить себе трудно.

Бойкие мальчишеские лукавинки сверкали в серых глазах инженера. Командир землеройных гигантов был действительно «везучий человек».





РЕПЛИКА С МЕСТА

Письмо пришло в самый неподходящий момент, как раз тогда, когда искания, опыты, радости, огорчения, связанные с созданием новой машины, остались уже позади и стальное детище Сергея Борисовича Пухова получило признание.

Инженер Пухов — главный конструктор большого завода. Последняя его работа, о которой идет речь, была лишь одной из сложных и мудрых машин, созданных конструкторским бюро, которое он возглавляет уже много лет. Но в этой работе как бы подытожился целый этап его творческой жизни. Он вложил в нее много своего, личного, что вызревало в нем десятилетиями. И этот его зрелый опыт запечатлелся в сложном замысле нового создания, в благородной простоте и оригинальности технических решений.

Человек от природы скромный, даже застенчивый, Сергей Борисович был далек от того, чтобы приписывать успех машины только себе. В лекциях, в статьях, в беседах с корреспондентами он честно делил этот успех с сотрудниками конструкторского бюро, помогавшими ему совершенствовать первоначальный творческий замысел, с рабочими, которые по чертежам изготовляли детали, со сборщиками, не спавшими порой вместе с ним ночей, когда из готовых узлов вырастала невиданная машина.

Все это было так. И все же где-то в глубине души Сергей Борисович считал машину своей и относился к ней любовно, ревниво, как мать к своему любимцу.

Завод выпустил несколько таких машин. Они были разосланы в разные концы страны. Для Сергея Борисовича

начались дни торжества. Посещая то одно, то другое предприятие, конструктор ревнивым глазом следил за теми, кто работал на его машинах, подолгу толковал с рабочими, с инженерами, с начальниками цехов, которых он про себя снисходительно называл «эксплуатационниками».

Да, машина была хороша! Добрые отзывы, слышавшиеся со всех сторон, бодрили Сергея Борисовича, и никогда, даже в дни уже далекой молодости, ему не работалось так хорошо и легко, никогда его мозг не был таким свежим, а мысль такой ясной и быстрой, как в эти дни успеха.

И вдруг письмо! Его вручили Сергею Борисовичу в момент, когда он излагал группе ближайших сотрудников свои последние разработки «малютки», как он шутливо называл новый, еще более грандиозный вариант машины, над которым сейчас трудилось конструкторское бюро. Докладывая, он успел рассмотреть краем глаза на конверте штемпель города, возле которого велась одна из крупнейших строек современности, где также работали его машины. Конструктор решил, что в конверте содержится очередная благодарность, каких он немало получил от эксплуатационников за последнее время.

Закончив сообщение, он передал слово своему заместителю, молодому инженеру Нечитайло — лучшему своему ученику и соавтору по новой конструкции.

— Вы, Константин Георгиевич, доложите товарищам свои соображения, а я пока пробегу, что нам пишут с Волги...

Сергей Борисович встряхнул конверт и начал неторопливо его вскрывать. Письмо было написано старательно, но не очень четко. Прислушиваясь к тому, что говорил помощник, конструктор пробежал первые строки. Вдруг он выпрямился и сердито отодвинул бумагу. Нечитайло вопросительно поглядел на него.

— Пустяки, пустяки, продолжайте, — как можно равнодушнее сказал Сергей Борисович.

Он сделал усилие отвлечься от письма, сосредоточиться на том, о чем говорил его помощник, но не смог. Глаза его то и дело перебегали на письмо, лежавшее поодаль. В этом письме точно заключался некий магнит, помимо воли притягивавший взор ведущего конструктора.

Теперь и остальные участники совещания заметили, что начальник их ведет себя как-то странно. Нечитайло прервал свое сообщение:

— Может быть, сделаем перерыв?

— Да-да. Пожалуй. Перерыв минут на десять, прошу вас, — с не свойственной ему суетливостью согласился Сергей Борисович.

Оставшись один, он несколько мгновений стоял у окна,

наблюдая сквозь задымленное с внешней стороны стекло знакомый пейзаж привольно раскинувшегося завода. Потом взял со стола письмо и начал читать со слов, на которых запнулся:

«...но нам сейчас нужна машина еще более совершенная, без этих недостатков, чрезвычайно мешающих при нашем огромном фронте работ». Дальше сухо, за буквами «а», «б», «в», «г», перечислялись эти якобы существенные недостатки. Упреки были высказаны с такой уверенной решительностью, с такой грубой прямотой, что Сергей Борисович, не дочитав, заглянул в конец письма, на подписи.

Нет, письмо было не от коллеги-конструктора, не от начальника механизации. Оно было подписано: «Рабочие Зыков, Карпухин, Семенов»... Чувство недоумения начало перерастать в обиду... Как же так! Машина так тепло — больше того: восторженно встречена. О ней пишут, ее изучают, ее даже какой-то поэт в стихи вплел. Отовсюду самые лестные отзывы! Он сам, чорт побери, видел, как отлично она работает, и вдруг... Зыков, Карпухин, Семенов... Гм!..

Сергей Борисович поднял телефонную трубку, назвал номер механика, который несколько месяцев назад с заводской бригадой шеф-монтажа выезжал на строительство, откуда пришло это письмо.

— Виктор Иванович? Приветствую... Пухов. Вот вы, голубчик, последний раз выезжали на монтаж. Не помните ли вы, кто там такие товарищи Зыков, Карпухин и Семенов?

Таких фамилий руководитель монтажников не помнил.

— Так-с!.. А претензий на нашу машину от эксплуатационников много тогда к вам поступило? Ну, там, замечаний, рекламаций? Вспомните, вспомните, Виктор Иванович! Это очень важно. Может быть, кто-нибудь ругал конструкцию, отдельные детали, узлы?

Виктор Иванович заверил, что никаких недовольств не было. Строители благодарили завод, просили передать привет создателям новой машины.

— Я же рассказывал об этом на общем собрании. Вы же, Сергей Борисович, в президиуме сидели и слушали! — В голосе, звучавшем из трубки, слышалось искреннее недоумение.

— Да-да, конечно... Спасибо, голубчик... Простите, что оторвал от дела по пустякам. Всего! — Конструктор положил трубку.

Зыков, Карпухин, Семенов! Кто же они такие? «О хороших качествах вашей машины много говорят, да вы их и сами знаете. Мы остановимся на недостатках». Почему они так разговаривают? О каких недостатках после стольких экспериментов, после такого широкого опробования и единодушного призна-

ния может идти речь? Если бы эти авторы письма были какими-нибудь известными новаторами, тогда механик наверняка знал бы их имена. Да полно, рабочие ли они? Может быть, это кто-нибудь из недругов? Какой-нибудь мелкий, беспринципный завистник, побоявшийся вслух ославить его труд, науськал Зыкова, Карпухина и Семенова написать все это? Да зачем же! Сам, наверно, написал и подмахнул чужими именами, чтобы омрачить торжество и бросить тень на отличную машину!

Такой вывод несколько успокоил Сергея Борисовича. Он пожалел, что давеча смалодушествовал и не огласил эту фальшивку. Можно представить, как возмутятся его сотрудники, вложившие в машину столько стараний, как будет негодовать весь заводской коллектив!

— Товарищи, жду! Продолжим, — сказал конструктор, выходя в чертежный зал.

Люди собрались быстро и пришли, как показалось Сергею Борисовичу, какие-то настороженные, будто что-то уже знали о неприятном письме. Опершись обеими руками о стол, ведущий конструктор объявил:

— Прежде чем продолжать о будущем, вернемся к прошлому... Извольте вот познакомиться: реплика с места, так сказать, оригинальное мнение. Константин Георгиевич, не откажите в любезности прочесть вслух.

Он отдал письмо Нечитайло, и пока тот, спотыкаясь на неровных строчках, оглашал текст, Сергей Борисович нетерпеливо всматривался в знакомые лица, стараясь угадать, что думают его товарищи, его соавторы по машине, так незаслуженно оскорбленной неизвестными Зыковым, Карпухиным и Семеновым.

Разные это были лица: замкнутые и открытые, спокойные и нервные, но на всех Сергей Борисович увидел сначала недоумение, обиду. Потом, по мере чтения, выражение лиц начало меняться у каждого по-разному, и ведущий конструктор, как ни старался, уже не мог понять, кто и как отнесся к содержанию письма.

— Ну? — нетерпеливо спросил он, когда письмо было зачитано и воцарилось неловкое молчание. — Что? Ну хотя бы вы, Константин Георгиевич?

Все молчали. Нечитайло снова пробегал строки письма. Наконец он оторвал глаза от письма. Взгляд его — растерянный, задумчивый, но не гневный, нет!

— Претензии перечислены недостаточно четко, — медленно начал он. — Авторы не совсем владеют технической терминологией, и порой их трудно понять, но...

— Какие тут могут быть «но»! — неожиданно взорвался

Сергей Борисович. — Я только что звонил Виктору Ивановичу. Он там всех знает. Все в восторге от наших машин. Благодарили. А таких фамилий он даже не слыхал. Нет там таких людей.

— Я не знаю, кто это писал, но по существу...

— О каком существе вы говорите? Это злобная болтовня: «а», «б», «в»... Болтовня! Вот-с! И я удивлен. Впрочем, виноват, прошу расходиться. Продолжим завтра. Всего хорошего!

Когда дверь за последним из сотрудников закрылась, главный конструктор пожалел, что выдал свои чувства. Придвинув папку с чертежами «малютки», он попытался сосредоточиться на них, но не смог: Зыков, Карпухин, Семенов со своими претензиями не выходили у него из головы.

«Нервы, Сергей Борисович, нервы, батенька! — упрекал он себя. — Вот человек — совершеннейшая машина, но и у него есть существеннейшие дефекты». И тут же мысль перескакивала на дефекты машины, отмеченные в письме, и все в конструкторе вставало на дыбы. «Дефекты! Какие дефекты? Почему никто их не заметил и только, видите ли, Зыков, Карпухин и Семенов оказались провидцами!»

Претензии потребителей были в заводской практике делом обычным. Когда новая модель выходила в свет и, по заводскому выражению, «обкатывалась» эксплуатационниками, Сергей Борисович сам любил ездить по заводам, выслушивать претензии, советовался с инженерами, с рабочими. Но тут речь шла о машине, уже получившей единодушные и самые лестные отзывы авторитетнейших комиссий, признанной везде, даже, по свидетельству монтажника, и там, откуда пришло письмо. Да что там говорить! Речь шла о любимой работе конструктора, и он испытывал такое негодование, будто авторы письма обидели его ребенка.

Чувствуя, что сосредоточиться на чертежах он сейчас не может, Сергей Борисович надел пальто, шапку, сунул в карман письмо. Обычным неторопливым шагом вышел он из кабинета, прошел чертежный зал. Все встреченные кланялись ему. Раньше такое общее внимание радовало конструктора. Теперь, когда письмо лежало в кармане и конверт касался жестким углом его руки, ему почему-то было неловко от этих почтительных поклонов, доброжелательных улыбок, пожеланий доброго здоровья. Хотелось поскорее уйти с завода, где его все знают, где ему самому знакома каждая мелочь, выйти на улицу, замешаться в потоке пешеходов и в этой толпе остаться наедине с самим собой, со своими тревожными мыслями, с этим письмом.

Выйдя из проходной, ведущий конструктор заметил директорский «ЗИС» и вдруг резко повернул обратно.

— Забыли что, Сергей Борисович? — участливо спросил вахтер.

Но старый конструктор прошагал мимо с таким выражением на лице, что тот застыл в недоумении.

Директор! Ну как же это Сергей Борисович в такую минуту мог о нем забыть? Что бы ни заключало в себе это письмо, кто бы там ни скрывался за тремя подписями, его критиковали не просто как гражданина Пухова пятидесяти семи лет, а как конструктора, как представителя завода, и он обязан — и как можно скорее — уведомить об этом директора. И тут же затеплилась надежда: директор — человек самолюбивый; когда нужно, он умеет драться за интересы и честь завода. Уж он-то наверное не станет прятаться за осторожные фразочки, как этот Нечитайло...

С ходу взяв бегом все четыре марша управленческой лестницы, запыхавшийся, возбужденный Сергей Борисович вломился — именно вломился! — в директорский кабинет. Директор говорил по телефону.

Ожидая конца телефонного разговора, Сергей Борисович сел, достал из кармана письмо и стал перечитывать его, строку за строкой.

— Слушаю вас, дорогой, — неожиданно пророкотал у него над ухом директорский бас.

Сергей Борисович вздрогнул. Директор стоял у него за спиной и, может быть, уже успел даже заглянуть в письмо. Ничего не говоря, он протянул директору листки. Тот отошел к окну, приблизил письмо к лицу и стал читать его, как читают близорукие люди, словно обнюхивая строчки.

И опять Сергей Борисович с тревогой следил за выражением лица читающего. Ему казалось, что директор назло читает подчеркнуто медленно, что некоторые строки пробегает даже по нескольку раз. Дойдя до конца четвертой страницы, до подписей, он вдруг вернулся на вторую. «Перечитывает эти пунктики: «а», «б», «в», — догадался конструктор и удивился: — Странно! Как это раньше не бросалось в глаза, что он такой тугодум?»

Дочитав наконец письмо, директор сложил его, убрал в конверт и задумался. Этот спокойный, самоуверенный человек, казалось, был скорее расстроен, чем разгневан. Это особенно встревожило Сергея Борисовича.

— Как вам нравится сие оригинальное послание? Высшие технические авторитеты одобрили, институты благословили, отовсюду похвалы, а вот товарищи Зыков, Карпухин и Семенов хотят быть бо́льшими католиками, чем сам папа.

Он принялся было рассказывать о своей беседе с руководителем шеф-монтажа, но директор снова развернул письмо, и снова на второй странице.

— Что ж, и так бывает, — сказал он вдруг, отрываясь от письма и поднимая свою большую круглую голову.

— Что бывает?

— А вот это. — Своей мясистой рукой, которая, как это хорошо знал Сергей Борисович, когда-то, в первую пятилетку, была рукой молотобойца, директор бережно разгладил смявшиеся листки письма.

— И это говорите вы, который и устно и печатно так хвалил машину? Выходит, мы с вами обманывали народ, партию?..

— Никого мы с вами не обманывали. Просто...

В этот момент пронзительно-длинными звонками телефон просигналил, что вызывает междугородная. Директор поднял трубку:

— Да, это я, соединяйте... Из министерства... Пока я говорю, вы прочитайте повнимательнее обратный адрес на конверте...

Директор говорил с министерством долго. Разговор шел о «малютке», которая еще несколько часов назад занимала все помыслы Сергея Борисовича. Теперь он сидел рядом и даже не прислушивался. Он смотрел на конверт, где под тщательно, должно быть по линейке, проведенной чертой был выписан обратный адрес. Смотрел и думал, в какой это связи может быть с незаконченной фразой директора и что последует за словом «просто».

Между тем директор положил трубку:

— Можем себя поздравить. К концу следующего года надо выпустить для Куйбышевской не менее пяти «малюток». Не подведете с проектированием? — Он энергично потер одну о другую свои большие руки.

— Зачем вы мне посоветовали перечитывать адрес? — угрюмо спросил Сергей Борисович.

— Ах, вы об этом?.. Знаете, что я бы на вашем месте сделал? — Большое, мясистое лицо директора, с жестким чубом, нависающим на квадратный лоб, с тяжелым подбородком, вдруг как-то помолодело. — Я бы на вашем месте, дорогой мой Сергей Борисович, потребовал для себя командировку, сел в самолет и айда туда! А? Дохнул бы тамошнего воздуху, ухи бы тамошней знаменитой стерляжьей похлебал, ну и... и критику бы послушал. А?

— Как! Только что вы требовали ускорить проектирование «малюток»?

— Это не я, это министр от нас с вами требует. Слышали

разговор? — Он повел рукой в сторону телефона. — И все-таки поезжайте... В письме вон правильно говорят: не увидев их фронта работы, его и не представишь... Едете?

— Странно все это как-то, внезапно и, простите, несерьезно, — дернул плечами Сергей Борисович. — Я, конечно, подумаю...

Он встал, медленно пошел к двери и, уже взявшись было за ручку, обернулся, не скрывая горькой усмешки:

— Если вы, конечно, считаете необходимым, что ж, прикажите выписать командировку...

И уже в приемной он услышал за спиной веселый директорский бас:

— Кланяйтесь товарищам Зыкову, Карпухину, Семенову! Большой им привет!

Ведущий конструктор поморщился и пожал плечами...

Сергей Борисович Пухов вылетел на юг в понедельник, а уже в пятницу директор получил от него телеграмму: «Задержите изготовление узлов «пять» и «восемь-бис», будут конструктивные улучшения. Приезде объясню. Пухов».

Через пять дней прибыла новая телеграмма: «Прошу продлить командировку десять дней. Срочно присылайте Нечитайло эскизами «малютки» для консультации здешними инженерами, рабочими-новаторами. Вероятны существенные усовершенствования. Сроки наверстаем. Приезде доложу массу интересного. Зыков, Карпухин, Семенов приветствуют. Пухов».

В тот же день конструктор Нечитайло, нагруженный папками и трубками чертежей, вылетел на Волгу.





СВЕРШЕНИЕ МЕЧТЫ

Это случается редко, но все же бывает, когда под влиянием большой радости с человека как бы спадает груз лет и даже самые сдержанные люди, вдруг превращаясь в детей, начинают веселиться с таким шумом, что через час-другой, придя в себя, и сами удивляются, вспоминая об этом.

Так было на Волго-Доне, когда на отрезке между первым и вторым шлюзами канала, сближаясь, двигались навстречу воды двух великих рек. Внешне не происходило ничего такого, что потрясло бы воображение. Два сильных потока, устремляясь по еще сухому руслу канала, несли в буроватой гриве пены щепки, обломки досок, строительный мусор.

По масштабам всех сооружений они были и не очень велики, эти два потока, разбегавшиеся по всему простору широкого искусственного русла. Но строители канала, занявшие в эти мгновения его берега, и гости, приехавшие сюда ради этого события, видели в быстром сближении вод итог гигантских работ. Им казалось, что это руки двух великих, воспетых народом рек тянутся одна к другой, чтобы навсегда сомкнуться в историческом рукопожатии.

И строители, имена которых за эти годы узнала и полюбила страна, экскаваторщики, бетонщики, скреперисты, монтажники невиданных конструкций, инженеры, прославившиеся смелостью технической мысли, прорабы, парторги — боевые организаторы славных строительных коллективов, — все они, как живого героя, преодолевшего невероятные трудности и гордо приближающегося к победному финишу, приветствовали эту воду, заполнявшую с двух сторон последний сухой отрезок канала. Солидные люди, позабыв о возрасте и положении,

бежали вслед за движущимися потоками, бросали в них цветы, зеленые ветки, носовые платки и даже собственные шляпы.

В эти мгновения, когда вода в канале вот-вот должна была сомкнуться и ликование людей, покрывавших оба берега, нарастало, поодаль от всех, на гребне откоса, сидел высокий, костистый, загорелый человек в куртке и брюках из грубого брезента, так густо пропитанных маслом и покрытых ржавчиной, что они коробились и казались сделанными из жести.

На ладони его большой узловатой руки лежали толстые странные часы в затертом жестяном футляре. Из-под козырька кепки, надвинутого на нос и защищавшего от солнца, человек этот следил за током воды и за циферблатом, по которому кружилась секундная стрелка. Он был неподвижен, лицо его хранило выражение спокойной сосредоточенности, и только серые, глубокие, очень выразительные глаза выдавали большую радость.

Глядя со стороны на его неподвижную фигуру, нельзя было и предположить, какая буря чувств клокочет в душе этого внешне спокойного, медлительного человека. А между тем он, Павел Тимофеевич Недайхлеб, бригадир монтажников, прославившихся в последние месяцы, волновался как никогда. Ведь это и его труд воплотили в себе величественные сооружения. Ведь это и он, сын Украины, посильно помог соединению двух великих русских рек. Ведь это и его работа проходила сейчас свою последнюю, но самую суровую, самую придирчивую, беспощадную проверку — проверку водой.

Он волновался не меньше тех, кто бурно приветствовал несущиеся навстречу друг другу потоки. Для того, чтобы скрыть это свое волнение, он и сел в стороне с часами в руках, стараясь поймать историческую секунду, когда сомкнутся посланцы двух рек.

Нет, он не был новичком на строительстве, этот монтажник, воздвигший на своем веку много сложных металлических конструкций.

Сын сумского сахаровара и сам сахаровар по семейной традиции, он с юных лет устремился к профессии строителя. Сахароварение, которому посвятил себя его отец, старый рабочий, не тронуло его пытливого ума. Отслужив действительную военную службу, Недайхлеб не вернулся домой. Он пошел на стройку.

Вот тут-то, на монтаже металлических конструкций, и проснулись его способности, развернулась инициатива и он по-настоящему узнал прелесть творческого труда.

Промышленными гигантами, возникшими в степях Запорожья, Дворцом культуры в Ленинграде, металлическим

шатром павильона Механизации на Сельскохозяйственной выставке, красивым мостом, переброшенным строителями через Неву в рекордный срок, за три месяца, и многими другими сооружениями, в которые Павел Тимофеевич вложил свой труд, силы и умение, отмечен его трудовой путь.

Он кочевал со стройки на стройку до самой войны. Каждое из сооружений, для которых он монтировал металлический скелет, было ступенью совершенствования его мастерства. Но именно в войну, на Урале, где ему довелось участвовать в монтаже металлических каркасов цехов, строившихся в тайге, зрелое мастерство Павла Тимофеевича прошло настоящую закалку, закалку на всю жизнь. Те дни навсегда сформировали его характер и, что особенно важно для монтажника на каждой новой стройке, встречающегося с новыми, неповторимыми трудностями, вселили в него веру в необоримость творческой воли советского человека.

Эвакуированный с Украины металлургический завод монтировался на опушке леса. Многие кадровые строители стали солдатами. В бригаде Павла Тимофеевича были старики-пенсионеры, добровольно прервавшие свой заслуженный отдых, женщины, покинувшие для труда на оборону домашние очаги, подростки-школьники, пожелавшие стать строителями. В мирное время Недайхлеб, конечно, отказался бы приступить к делу с такой бригадой. Но желание помочь Родине у всех этих людей было так велико, что они, еще полгода назад и не помышлявшие о сложном монтажном деле, постигали его премудрость в небывало короткие сроки и отлично работали, не считаясь со временем, и в дождь, и в снег, и в морозы, и под ударами студеных, обжигающих уральских ветров. Да могли ли иначе работать монтажники, когда они, крепя наверху стойки и фермы перекрытий, видели, как внизу, в цехе без крыши, где метель, как в поле, завивала снег, слесари, токари и фрезеровщики делали свое дело с обычной сноровкой и тщательностью!

В эти дни Павел Тимофеевич, человек весьма искусный в своей профессии, постиг то, что было новым и для него. Он убедился, что нет трудностей, которые нельзя преодолеть.

Однажды, когда смонтированный в небывалые сроки завод, продолжая расти, уже давал металл, в мартеновском цехе прорвало под печи и кипящая сталь ушла.

Павел Тимофеевич с товарищами взялся заделать печь до того, как она остынет. Страшное это было дело, но иного выхода не было. Сводки Совинформбюро сообщали о гигантских сражениях. Нужен был металл.

Закутавшись брезентом, Павел Тимофеевич забирался в жерло печи и при температуре, какую едва выдерживал чело-

веческий организм, измерял место прорыва. Когда сознание начинало покидать его, он давал сигнал. Изнеможенного, задыхающегося, его вытаскивали из пекла. Он жадно хватал пересохшим ртом свежий воздух, пил подсоленную газированную воду и лез обратно туда, где все дышало страшным, удушающим жаром, и снова измерял, прикидывал, соображал.

В минуты, когда ему становилось невыносимо тяжело, он думал о друзьях-монтажниках, которые воевали сейчас и ежедневно рисковали жизнью. Это для них нужен был металл всех мартенов страны. Он думал о советских солдатах, и это прибавляло ему сил.

Печь восстановили и пустили в сроки, о которых в мирное время никто не посмел бы и заикнуться.

Но как ни занят был Павел Тимофеевич своей работой, он даже после трудового дня не ведал покоя. Враг занимал родной край, где прошли его детство и юность, где он окончил школу и приобщился к труду. Доходили сведения, что фашисты разрушили знаменитые запорожские заводы, которые он строил еще юношей, что взорван Днепрогэс, величайшее из всех сооружений, какие только видел Павел Тимофеевич. Броня охраняла строителя от мобилизации. Но он добился, чтобы его послали на фронт, и воевал в качестве рядового, воевал так же скромно, самоотверженно и умно, как работал. Был дважды ранен и снова возвращался в строй. Словом, он был одним из тех скромных и неутомимых советских воинов, которыми сильна наша армия.

День победы был для него днем возвращения к родной профессии. Еще на фронте он решил, что, демобилизовавшись, поедет восстанавливать Днепрогэс. Прямо с фронта, миновав даже отчий дом, он направился в Запорожье.

Выйдя на днепровский берег, солдат, видевший на своем боевом пути так много руин, вытоптанных полей и городов, превращенных в мертвые развалины, должен был присесть на первый попавшийся осколок стены. Днепрогэс, искалеченный, мертвый, простирался перед ним. Но Недайхлеб был человеком, которому чуждо бессильное уныние, для которого действенны и ненависть и сама скорбь. С яростью, в которую воплотилась вся его тоска по любимому труду, включился он в восстановление.

Вместе с ним в его бригаде работали такие же, как и он, демобилизованные фронтовики, народ дисциплинированный, дружный и закаленный.

Уникальные машины фашисты взорвали начисто. Сохранились лишь спиральные камеры — огромные металлические улитки, которые теперь монтажникам предстояло соединить со

вновь устанавливаемыми турбинами. Подобных задач строителям нигде еще не доводилось решать. Не было опыта. Работы к тому же требовали точности. На монтажниках лежала ответственность за каждый миллиметр обрубленного или вырезанного шва. Вот на этом-то сложном деле, требовавшем напряжения всех духовных и физических сил, Павел Тимофеевич и отвел душу, истомившуюся по мирной работе за годы войны. Тут-то во всю меру развернулся его талант монтажника. Опытные инженеры и сам производитель работ не раз приходили к нему в бригаду советоваться.

Просторный и светлый турбинный зал поднялся из руин еще более величественный, чем был до войны. День, когда пошла первая турбина, Павел Тимофеевич и сейчас вспоминает, как большой праздник. Над турбиной вспыхнула лампочка. Турбина жила. Ток ее уже устремился в сеть. Гремел оркестр, говорили речи. Но Недайхлеб ничего не видел, кроме этой лампочки, светившейся сильным, ровным светом, ничего не слышал, кроме могучего, ровного дрожания работающей турбины.

Тогда он думал: лучше, ярче ничего уже в жизни, наверно, и не случится...

Но вот сейчас два потока воды идут навстречу друг другу, и снова все существо его ликует и радуется, как тогда в турбинном зале. Сердце бьется так, будто хочет вырваться из-под брезентовой блузы.

Да, работая на Днепрогэсе, за восстановление которого Павел Тимофеевич Недайхлеб награжден орденом «Знак почета», он не думал, что для него, монтажника, может быть дело и поинтересней. Но Днепрогэс был восстановлен. Павел Тимофеевич отправился на строительство Волго-Дона и тут, на этой стройке, убедился, что у нас нет предела для трудового творчества.

На канале его назначили бригадиром по монтажу металлических облицовок водоотводных галерей — огромных труб с затворами, по которым вода выходит из шлюзов. При всех своих богатырских масштабах работа эта требовала точности до доли миллиметра. Ее предстояло проделать на шести шлюзах. С таким размахом Павел Тимофеевич дела еще не вел.

Но суровый трудовой опыт военного Урала и радостные дни возрождения Днепрогэса научили его сочетать расчет со смелым экспериментаторством. На новой стройке, которая велась самыми передовыми методами, он первый организовал работы монтажников поточными методами.

Разделенные по процессам труда, люди по мере выполнения определенных работ, на которых они специализировались, переходили с одного шлюза на другой, постепенно оттачивая

свою квалификацию, совершенствуясь, повышая темпы. Когда этот опыт оправдал себя, Павел Тимофеевич усовершенствовал его, введя предварительный монтаж узлов.

Все это было настоящим техническим творчеством, творчеством смелым, новаторским во всех деталях. Павел Тимофеевич, человек одинокий, еще не успевший в своих скитаниях по стройкам обзавестись семьей, по словам его, «сердцем прикипел к каналу». И то, что люди его, накапливая опыт, все убыстряли темпы и довели, наконец, монтаж до небывалых показателей, было для него источником радости.

И вот теперь подводился итог.

Воды Волги и Дона благополучно прошли водоотводные галереи, каркасы которых были смонтированы бригадой Недайхлеба. Работа выдержала экзамен. Воды пришли сюда, в Красноармейский район. Они готовы сомкнуться.

Четко движется секундная стрелка на старых пузатых часах, прошедших с Павлом Тимофеевичем весь путь — через многие стройки страны, через военный Урал, через фронт, через незабываемые дни Днепрогэса, — сюда, на славный канал.

Ближе, ближе друг к другу два встречных потока. Кажется, будто вода нарочно медлит, испытывая терпение людей. Лишь посередине русла бегут выброшенные вперед острые ее языки.

Сердце строителя бьется все чаще, все неистовее. Павел Тимофеевич встает, чтобы лучше видеть. И вот передовые языки потоков сомкнулись. Встретившиеся воды схлестнулись, закружились, запенились. Вода обоих потоков быстро заливает последние сухие пространства дна. Еще несколько минут — и полноводная река уже течет в ровных, точно по линейке вычерченных берегах.

Павел Тимофеевич успевает заметить, что произошло это в 1 час 55 минут и 30 секунд. Но больше он ничего уже не видит: ни канала, ни циферблата часов, ни ликующего на берегу народа. Крик его, вырвавшийся из груди, вливается в общее могучее «ура», все кругом расплывается и точно растворяется в общем ощущении огромного счастья, счастья созидания, счастья осуществления большой мечты — самого большого счастья, какое только может испытать человек.





ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

— Ведь вот, кажется, будто и просто выполнить вашу просьбу. Столько людей каждый день видишь, столько кругом нового, небывалого...

Начальник стройки поднялся из-за стола, прошелся по комнате. Щегольские, ярко начищенные сапоги его поскрипывали. Была ночь. В квартире, чисто прибранной, но по-холостому неуютной, было тихо. Постукивала вода в батареях центрального отопления. Кто-то далеко не очень умело играл на гармошке. Но однообразная мелодия, смягченная стенами, едва слышная, приобретала неожиданную прелесть.

Скрип сапог раздавался резко, как звон двуручной пилы.

— Рассказать о какой-нибудь интересной, особо запомнившейся встрече?.. Так-так-так...

Собеседник произнес это задумчиво, как бы разговаривая сам с собой. Высокий, тяжеловесный и в то же время какой-то весь собранный, с голым, чисто выбритым черепом, он остановился около одного из окон и отбросил штору.

Черная, густая тьма прильнула к стеклу. На ее фоне, как на старой китайской гравюре, мерцали причудливые контуры сказочного леса, выгравированные морозом.

Стрелка на стенных часах медленно шла по кругу. Казалось, хозяин кабинета, стоя у окна, думает о чем-то своем, очень далеком от заданного ему вопроса.

Вдруг он резко отвернулся от окна:

— Хорошо. Я расскажу, пожалуй, один такой случай... Только не удивляйтесь, случай будничный и даже к нашим

делам прямого отношения не имеет. Садитесь, а я буду ходить. Так, на ногах, лучше отдыхается...

Так вот, произошло это в моем кабинете. Народу ко мне ходит много. И вот как-то, в начале лета, предстал передо мной какой-то молодой человек. Вошел и говорит: «Я к вам с жалобой на непорядки в вашем управлении». Произнес он это тихо, вежливо, но почему-то я понял, что в нем все кипит и что он, должно быть, все силы напрягает, чтобы не сорваться... Пригляделся. Лицо крупное, некрасивое, но привлекательное — юношеской чистотой своей, что ли. Глаза сердитые, на щеках румянец пятнами, скулы так·и ходят. Очень он мне вдруг почему-то сына моего, Борьку, напомнил, который погиб где-то в этих краях в сорок втором году.

«Что ж, говорю, садитесь, молодой человек, выкладывайте, чем наше управление вам не угодило». Бросил на меня сердитый взгляд. «Вы, говорит, товарищ начальник стройки, пожалуйста, не улыбайтесь. Я пришел заявить, что набором кадров ведают у вас сухие чиновники, деляги, плохо разбирающиеся в политике партии». Отвечаю ему совершенно искренне: «От вас, мол, первого такое слышу. Очень строгий, должно быть, вы человек». А надо вам сказать, что на кадрах сидят у нас люди толковые, опытные. Говорю ему: «Переходите, товарищ, к фактам. Чем это наши кадровики в ваших глазах так себя уронили?»

Он весь как вспыхнет: «Прошу оставить этот шутливый тон! Я пришел к вам по делу, и извольте слушать серьезно». Отчитал он меня таким образом и выкладывает жалобу. Оказывается, не приняли его на курсы экскаваторщиков. У него среднее образование, и ему предлагают идти на любые курсы: десятников, геодезистов, лаборантов, диспетчеров. А он в экскаваторщики — и только!

Выслушал я и отвечаю, что если он прав, то сухой и отсталый чиновник — это я сам, потому что именно я такой приказ и подписал. Он хмуро мне так: «Неверный приказ, отмените». Очень он был хорош этой своей юной настойчивостью, непосредственностью, верой в свою правоту. В искреннем негодовании было что-то подкупающее, и захотелось мне обязательно убедить его в моей правоте.

Чуть не насильно усадил его в кресло и говорю: «Объясните подробно, почему приказ мой кажется вам неверным. На стройку стремитесь попасть не вы один — тысячи! Наша и моя лично обязанность — целесообразно, с большей пользой распределить людей, помочь им найти профессию. Тех, кто имеет аттестат зрелости, мы направляем туда, где их образование может им больше пригодиться». Слушал он меня,

слушал, да как вскочит! В глазах торжество, какое иной раз увидишь у задорного охотника, когда ему хитрую дичь удалось подстеречь.

«У вас, говорит, передовая стройка, ведь так? Здесь столько техники, и такая техника, что существенные различия между умственным и физическим трудом тут у вас быстрее ликвидируются. Так? Я, говорит, уже побывал на объектах, видел машины. Разве у тех, кто на них работает, физический, а не умственный труд?» И, не давая мне возразить, продолжает: «Разве с ним сравнишь труд десятника! Труд в нашей стране — творчество, а творчество — это уже сфера ума, а не физической силы. Советую вам отменить свой приказ, и как можно скорее».

И все это говорилось с такой горячностью, с таким сознанием правоты, что и рассердиться-то на него было нельзя. Понравился он мне очень. Но ведь таких сотни. Признаюсь вам, больно мне было ему отказывать, и постарался я это сделать как можно мягче. Уважаю, мол, ваше стремление, но исключение для вас делать не считаю возможным.

Вскочил он, глянул на меня эдаким испепеляющим взглядом, выхватил из кармана красненькую коробочку, что-то оттуда вытащил и бряк мне о стекло стола! Это была золотая медаль. «Меня, говорит, с этим в университет без экзамена примут, а вы на курсы экскаваторщиков не пускаете. Ничего, говорит, я прав и своего добьюсь». Вышел и дверью хлопнул так, что штукатурка посыпалась.

Начальник стройки, продолжавший все время ходить, остановился у стола. На лице у него появилось какое-то новое выражение. Оно будто обмякло и оттого сразу постарело, но стало проще и мудрее.

— Очень, ну очень он мне моего Борьку напомнил... Тот с первого курса машиностроительного пошел добровольцем на войну. Должно быть, так же вот скандалил в военкомате, отстаивая свое право идти на фронт.

— Ну, а этот как?

— Что вы спросили?.. Ах да, как этот юноша с золотой медалью? Он своего добился. Пожаловался на меня министру, и нам разъяснили, что приказ неправильный. Пришлось отменить.

— А сам он?

— Сам-то?

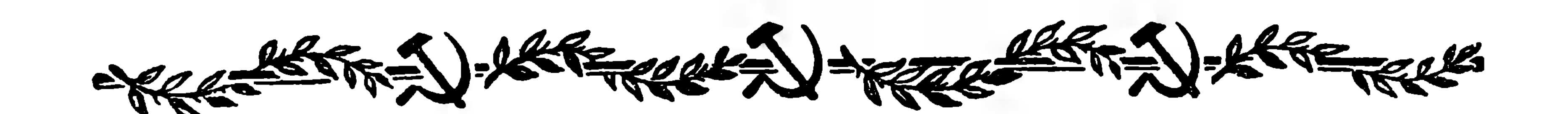
Начальник порылся в бумагах, стопками лежавших на окне, вынул вырезку из газеты, хранившуюся в одной из папок. На фотографии на фоне четырехкубового экскаватора «Уралец» был изображен высокий, худой юноша с крупным, угловатым

лицом. Внизу была помещена статья, в которой рассказывалось, как он и его бригада отличились на проходке трудного участка и какое интересное нововведение он для этого придумал.

— Это он?

Собеседник не отозвался. Опять стоял он у окна, смотрел куда-то вдаль, во тьму, может быть на далекие огни стройки, и рука его машинально чертила на узорчатой морозной плёнке, заволакивавшей теперь почти все стекло: «Борис, Борис, Борис...»





ЦЫПЛЕНОК

О человеке этом мы услышали, еще не добравшись до стройки, на вокзале, зайдя перед выездом на трассу пообедать в станционном буфете. Добрую половину буфетного зала занимала шумная компания молодых людей. Их чемоданы, баулы, вещевые мешки громоздились под окном, в сторонке. Сами же молодые люди, громкоголосые, обветренные, с руками и лицами, покрытыми зимним, фиолетовым загаром, сидели за сдвинутыми столиками, на которых теснились тарелки с закусками и бутылки. Как все, кто работает на открытом воздухе, они разучились соразмерять свой голос, и говор их гремел на весь зал.

Из их беседы нетрудно было выяснить, что все они — экипаж какого-то большого земснаряда, что, окончив свое дело на канале, они вместе отправляются на новую стройку, под Жигули, где им предстоит обновить небывало большое землеройное судно. Это явно льстило их самолюбию. Но, как всегда в таких случаях, всеми своими мыслями молодые механизаторы были еще там, откуда они только что уехали. Они вспоминали о канале тепло, с легкой грустью, точно ученики о родной школе в час расставания с ее стенами. И в разговоре их, оживленном легким хмелем, часто мелькало имя какого-то Федора Ивановича, который всем им, повидимому, был очень дорог и о котором они вспоминали теперь с особым вкусом.

— Вот бы Федору Ивановичу с нами на Жигули!

— Ну, скажешь! Разве такого человека до сдачи трассы отпустят!

— А как провожал-то он нас, ребята!..

Попав на стройку, я узнал, что Федор Иванович — инженер, начальник одного из строительных районов, как раз того самого, откуда только что выехал под Куйбышев встретившийся нам молодежный экипаж. И сразу бросилось в глаза, что все, с кем нам ни довелось говорить, принимались рассказывать о нем самые приятные вещи. И хозяйственник-то он расчетливый и рачительный, и инженер смелый, ищущий, вечно не удовлетворенный собой, и коммунист твердый, вдумчивый, прирожденный вожак, и человек бесстрашный, самоотверженный, трудоспособности необычайной.

Много интересных историй услышали мы о Федоре Ивановиче, и образ передового советского строителя как-то уже сам собой сложился в сознании. Но самого инженера в это время на стройке не было. С делегацией новаторов своего района он уехал к соседям, где почему-то затормозилось дело.

Легко представить, с каким нетерпением я ждал его возвращения.

Знакомство произошло случайно, на месте работ. Нам показали начальника района, когда тот, стоя на склоне плотины, что-то с жаром объяснял десятникам или бригадирам, толпившимся возле него. Потом они торопливо разошлись, а инженер остался на месте, должно быть залюбовавшись панорамой стройки.

Это был невысокий, коренастый человек с простым лицом, которое так и излучало веселую энергию, с глазами белесоголубыми, как степное небо. Черный ватник, плотно застегнутый и подтянутый ремнем, выглядел на нем весьма щеголевато. Кепку он держал в руке, и ветер, тянувший с реки, теребил его давно уже не стриженные русые волосы.

Я поднялся на вершину плотины и представился. В ответ он крепко тряхнул мою руку и неожиданно сказал:

— Повезло нам с вами! Во-время ухитрились родиться. Все самое интересное видим. Да что там видим — создаем!.. Нет, вы только поглядите, поглядите кругом! А?

Отсюда, с гребня плотины, далеко, до самого горизонта, простиралась панорама строительства. Весенний воздух был совершенно прозрачен. На фоне зеленеющей степи сооружения вырисовывались четко, как макет на столе. Студенистое марево зыбилось над ними.

— А ведь я видел, как тут первую лопату земли подняли! Нет-нет, не фигурально, а в буквальном смысле слова... Морозяка был. Грунт будто окаменел. Заступ чуть было не сломали, а поддели-таки с килограмм земли. Уж очень не терпелось поскорей начать...

По привычке я полез в карман за блокнотом, но инженер взглянул на часы и заторопился:

— Простите, спешу. Понадобится помощь — прошу не стесняться. Звоните в любое время.

Он с юношеской легкостью сбежал с откоса и зашагал к дороге, на которой его ожидал сутулый вездеходик.

Помощь он действительно оказывал очень охотно. Никто, как он, не умел так интересно рассказывать о людях, разъяснять суть их трудового героизма. Живой, общительный, интересующийся всем на свете, он мог, если было время, часами говорить о стройках, мечтать о будущем этого пока что скупого, пустынного края, уноситься мыслями в те недалекие уже годы, когда могучая сила покоренной воды великих рек, превратившись в электроэнергию, хлынет в нашу промышленность, а щедро напоенные пустыни превратятся в плодороднейшие земли.

И говорил он обо всем так, будто уже сам побывал в этом будущем, умным и цепким глазом все там успел осмотреть и теперь вот рассказывает как очевидец.

Беседуя с ним, я заметил, что он ничего не говорит о себе и, как мне начинало казаться, даже нарочно обходит все, что касается его собственной личности. В человеке открытом, общительном это было странно. Но интересовал он меня все больше, и я решил при случае поговорить с ним открыто.

Случай такой скоро представился.

В этот день на последней карте заканчивался намыв земляной плотины. Это был знаменательный день. Намывщики других смен, свежевыбритые, расфранченные, источающие аромат занозистых парикмахерских одеколонов, пришли сюда посмотреть, как лягут в гребень плотины последние кубометры песка.

Был тут и начальник района. В кожанке, в серой шляпе, задорно сбитой на затылок, стоял он среди других. Загораживаясь от солнца газетой, с тем напряженно-радостным выражением, какое бывает на лицах у завзятых театралов, когда они видят хорошую актерскую игру, он наблюдал, как бурая тяжелая грязь выплескивается из железных пастей пульповодов.

— Заканчиваете, Федор Иванович?

Вместо ответа он только утвердительно кивнул головой, потом звучно хлопнул свернутой газетой:

— Читали? Китайцы-то взнуздывают свою Хуанхэ! Миллионы людей на трассе! Здорово, а? И описано ловко — ясно себе все представляешь... — Помолчав, он добавил: — Китайцы вон грандиозные дамбы строят, румыны роют канал Дунай — Черное море, венгры хлопчатники и цитрусовые в центр Европы притащили... А кто им дорогу показал? Да мы с вами, со-

ветские люди. То-то вот и оно... Китай-то — вон он где, за горами, за долами, — а радостно, будто твое близкое дело делается!

Мы отошли в сторонку и присели на толстой трубе, которая тянулась по хребту плотины, сбегала вниз, в долину, и уходила далеко к горизонту, где у стеклянной полоски реки темнели неуклюжие земснаряды. Масса песка, перемешанного с водой, неслась по трубе. В ней все время позвякивали и шуршали увлекаемые потоком мелкие камешки, и от этого труба казалась живой. Федор Иванович похлопал по трубе рукой:

— Вы с парашютом прыгали?.. Я тоже, в юности, студентом... Вот когда я обо всем этом думаю, дух захватывает, будто в ясное, хорошее утро с парашютом прыгнул.

Настроение собеседника показалось мне подходящим. Я прямо сказал, что собираюсь о нем написать, и попросил рассказать о себе и уточнить кое-что из того, что мне было уже известно. Он сразу весь как-то погас и скучным голосом ответил, что о себе ему рассказывать нечего.

— Ну, например, ваш район второй год держит переходящее знамя. И это тут, где все перенасыщено трудовым героизмом...

Инженер улыбнулся и ответил снисходительно, точно я заставил его пояснять всем известную, непонятную лишь мне истину:

— Знамя! Правильно, держали, держим и мечтаем взять на вечное хранение... А какие у меня люди! С такими не только эту плотину — горный хребет соорудить можно... — Он вдруг вскочил. — Что это пульпа жидкая пошла?.. Усманов, Усманов! Звоните на земснаряд. Что они там бульон какой-то подают!.. Ну, мне пора. У меня в конторе, наверно, уже инженеры собрались...

Он шагнул на трубу пульповода, прошел по ней несколько шагов, потом оглянулся и, увидев мое разочарованное лицо, повернул обратно:

— Сердитесь? Ну, честное слово, некогда... Хотите, приезжайте ко мне вечером. Завтра воскресенье, я свободен, жена пельмени сделает, посидим, выпьем. Обещаю, как в отделе кадров, на все вопросы ваши ответить.

Он даже не пошел, а побежал по трубе вниз, в долину, что было нелегко, так как труба, приподнятая на деревянных козлах, местами тянулась высоко над землей.

Вечером мы были у Федора Ивановича. Занимал он половину просторного двухквартирного дома в новом поселке, который за эти годы живописно раскинулся на холмах на берегу моря, существовавшего тогда еще только на проектной карте.

Было известно, что инженер постоянно, вот уже много лет, кочует со стройки на стройку, но ничто в его просторной, уютно обжитой и хорошо обставленной квартире не напоминало о бивуачном жилье.

Пока жена его, веселая сибирячка с приятным и добрым лицом, возилась на кухне с пельменями и между делом, неторопливо, но ловко накрывала на стол, мы уселись с хозяином на диване, и я прямо спросил, почему он так упорно отказывается говорить о себе.

— Ну ладно. Буду говорить, — ответил он с таким видом, словно заставлял самого себя принимать неприятное лекарство. — Вам ведь нужны особые люди, жизнь которых увлекает, учит, показывает путь. Так? А я вам на что? Самый обычный советский человек. Партия меня воспитывала вот с такой поры: октябренок, пионер, комсомолец, коммунист. Правительство обо мне пеклось с детства: с яслей, куда меня мать носила, уходя на работу, до института, где мне дали сталинскую стипендию... Я ведь даже на войне не был. Выстрелы только на охоте слышал. — Он наклонился и, косясь на маленькую, четырехлетнюю дочурку, старательно и серьезно водружавшую в эту минуту масленку на накрытый уже стол, заговорщически шепнул: — Летучих мышей — а их тут гибель — боюсь... Ну зачем я буду перед вами рисоваться, говорить о том, чего нет?

— Как же нет?.. А, например, мост? Мне рассказывали, как вы спасли его в паводок.

— Это кто же рассказывал? Сотни людей его спасали, в ледоход по грудь в воде баграми работали. А я даже ног не промочил. Мост! Кабы не эти люди, плавать бы мосту в Азовском море. У нас один парень, водолаз, вот он действительно герой! Он в те дни знаете что...

— Погодите про водолаза. Ведь вы, говорят, тогда несколько суток с моста не сходили, спать не ложились... Эти толовые шашки придумали бросать.

Выражение скуки сменилось на лице собеседника недоумением:

— Простите, как же я, начальник, лягу спать, когда люди из холодной воды не вылезают? Толовые шашки!.. А кому же это все придумывать, как не мне? Меня сюда назначили, оказали доверие. Мне за это, наконец, деньги платят!

— Но, говорят, первый заряд бросили вы сами, приказав перед этим всем покинуть мост.

— Ох, любят у нас рассказывать! Во-первых, я был не один, нас было двое: кроме меня, был наш взрывник, чудный парень, полный бант орденов Славы еще за войну имеет. Во-вторых, я ж рассчитал заряд, знал, что лед он разнесет, а

фермы устоят. Все, все было рассчитано, иначе стал бы я рисковать мостом? Ну, а людей убрал, естественно, на всякий случай, мало ли что! Да и уши их берег — знаете как грохнуло! Я три дня после этого ничего не слышал.

— А случай с геодезистом?

— И об этом наболтали! Ну и что? Ну и вытащил! А вы бы стали сложа руки смотреть, как человек под лед уходит?

— А история на перемычке?

— А что в ней особенного? Если строго судить, за это происшествие нам бы, мне в частности, надо холку мылить: не предусмотрел силы осеннего паводка, просчитался, проницательности не проявил. А ведь знал, что река сердитая, взбалмошная. И опять — народ! Все он и спас. Вот бы вам тогда посмотреть, как люди работали! Орлы!

— А мне говорили, что в критический момент вы бросились в воду и телом своим преградили дорогу потоку.

Инженер рассмеялся весело и так искренне, что длинные ресницы, выгоревшие на солнце, потемнели и слиплись от слез:

— Вот так и создают легенды!.. — Вдруг он привлек к себе дочурку, которая, продолжая помогать матери накрывать на стол, несла из кухни тарелку с хлебом. — Видите эту девицу?

Девица, прислонившись к отцу, спрятала лицо у него на груди и лишь краем голубого, как у отца, глаза исподтишка поглядывала на нас.

— Ну, расскажи-ка дяде про цыпленка!

— Расскажи сам, — промолвила девочка, совсем зарываясь личиком в отцовский жилет — так, что осталось видно только ее маленькое побагровевшее ушко.

— Ладно. Расскажу. У нас тут наша мама кур развела. Ну, клушка высидела с десяток цыплят...

— И не с десяток, а одиннадцать штук, — последовало немедленное уточнение.

— Ну хорошо, одиннадцать. И вот эта особа взяла над ними шефство. Стала при клуше чем-то вроде ассистента. Так, дочка?

— И совсем не так. Никакой я не ассистент. Просто мы с мамой поделились: ей — взрослых куриц и петуха, а мне — цыплят.

— Опять верно. Они с мамой всегда правы... А у соседей, у инженера, который в той половине дома живет, есть здоровенная собачина. Противная, злющая, слюнявая морда с торчащими желтыми клыками.

— Его Фашист зовут, — сказала дочка.

— Ну вот, вот. Так этот Фашист, как фашисту и полагается, однажды нарушил границы и перепрыгнул в наш палисад.

ник. Мы обедаем — и вдруг страшный шум во дворе! Прежде чем мы с женой успели понять, в чем дело, эта вот особа срывается со стула — и из комнаты. Мы к окну. Картина: собака наступает на наседку. Та не струсила: прикрывая цыплят, вся распушилась — и на него, на него! И все это так самоотверженно, бесстрашно, с таким искренним материнским гневом, что даже этот поганец оторопел. Зубы скалит, рычит, а напасть боится. Но один цыпленок сплоховал, не успел за мать спрятаться. Собака его — цап! И тут вот она, эта особа, слетает с крыльца стремглав к этой громадной собачине, которую вся наша улица боится. Подлетела к ней и колотит ее кулачонками по морде, по морде. С матерью плохо. Я — во двор. Выскочил — глазам не верю: собака отступает. А эта вот, вся обливаясь слезами, держит в руках раненого цыпленка.

— И не раненого вовсе! Он цыпленку ножку сломал. Но мы его с мамой вылечили. Он теперь уже не цыпленок, а петушок, только хроменький, — говорит девочка.

Она уже не прячется, а сидит у отца на коленях, с удовольствием слушая рассказ и, повидимому, снова переживая все происшествие.

Жена инженера, в переднике, с. засученными рукавами, стоит в дверях, иронически улыбаясь:

— Опять про цыпленка! Федор Иванович у меня никогда гостю за стол не даст сесть, пока об этом не расскажет.

— А что, плохая история? — говорит инженер с деланым равнодушием, сквозь которое так и светится гордость. — Видели бы вы эту собачину! Телок! А она на нее с кулачонками, с кулачонками!





ИСТОРИЧЕСКИЕ ШУМЫ

Работники из группы кинохроники, шаг за шагом запечатлевавшие процесс рождения одной из величайших строек современности, устроили для друзей прослушивание шумов, записанных на кинопленку.

На своеобразный этот вечер был приглашен и начальник большого объекта, известный строитель, уже послуживший однажды прототипом героя одной из любимых наших книг, посвященных всепобеждающему коммунистическому созиданию. Расположились в маленьком номере поселковой гостиницы и набились в него так, что повернуться было негде. Только строителя, в знак особого к нему уважения, усадили в углу, у стола, в единственное имевшееся в комнате кресло. Для пущего эффекта выключили свет.

Аппарат заработал, и в душную комнату вдруг ворвались знакомые шумы, с которыми каждый из нас уже успел сродниться. Я никогда не думал, что простая звуковая запись может так выразительно рисовать целые картины строительства. Звуки то сливались в общую гамму, то расчленялись на отдельные, отчетливо различимые голоса.

Паровая баба с напряженным стуком загоняет в землю стальной шпунт, и металл сердито стонет, неохотно подчиняясь ритмическим упрямым ударам. Тихо воют электромоторы шагающего экскаватора. Чувствуется, что гигант работает легко — лишь глухо звякают цепи ковша да грунт шлепает с высоты в отвалы, напоминая фронтовикам тугой гром взрывающейся мины. Методично скрежещут шестерни машин земснаряда, слышатся отрывистые слова команды, глухой гул гигант-

ской фрезы, соленое словечко боцмана, сорвавшееся в сердцах, и даже можно различить, как мягко ахает, оседая, земля подмытых откосов. Неистово ревут моторы могучих бульдозеров, скрипят о твердый грунт их всесокрушающие ножи; кряхтя, скрепер набирает в ковш землю; тревожно крякают клаксоны бетоновозов. И, покрывая все эти звуки, отдаваясь эхом среди бетонных громад, обычный человеческий голос диспетчера передает по радио распоряжения, передвигая людей и отряды машин, и как бы дирижирует всей этой массой механических звуков.

— Нет, это здорово! Человек — творец, созидатель — господствует над всеми этими рычащими, кричащими, стучащими, скрежещущими стальными гигантами, — неожиданно срывается во тьме мальчишеский голос художника, которого в последние недели строители видели с папкой и с карандашами в самых неожиданных местах.

— Тише, не мешайте! — одергивают его.

Теперь идет пленка с записью шумов событий, происшедших за последнюю неделю, — шумов, которые уже отзвучали и больше не повторятся. Вот спокойный голос начальника стройки произносит по радио:

«Приказываю очистить котлован. Мы приступаем к пропуску реки через плотину».

Легкое позвякивание талей мостового крана, скрип поднимаемых щитов, плеск воды, хлынувшей в нижний бьеф, сначала осторожный, как бы нащупывающий путь, а затем быстро крепнущий, перерастающий в рев, и, наконец, взрыв человеческой радости, заглушающий этот рев воды: крики, аплодисменты, восторженный свист, которыми строители встречают первую волну, плеснувшую в гигантскую бетонную чашу.

И новая звуковая картина — перекрытие речного прорана, тот самый момент, когда советский человек-созидатель твердо сказал могучей реке: сойди со своего векового пути, сверни в сторону, подчинись моей воле, делай, что я прикажу!

Как хорошо запечатлены взволнованное слово начальника района, инженера-энтузиаста, о великом советском народе и Коммунистической партии, обращенное к строителям в эту историческую минуту, его приказ приступить к перекрытию реки, слитный рев бесконечной вереницы могучих машин, поднимающихся на деревянный помост с грузом камня в кузовах, и грохот каменных глыб, напоминающий залп фронтовых «катюш»!

Звуки ярко рисуют бешеный рев потока, новые и новые залпы падающего камня, всю эту трудную борьбу людей с разъяренной рекой. Вот силы воды иссякают, она затихает:

тоньше, глуше звучит поток, и наконец уже еле-еле плещут струи реки, смирившейся и побежденной. И снова, теперь уже спокойно, устало, начальник района произносит:

«Поздравляю вас, товарищи! Вашими усилиями река перекрыта за восемь часов пятьдесят минут вместо тридцати пяти часов, заданных по плану».

Тут уж находящиеся в комнате не могут сдержать обещания хранить тишину. Раздаются аплодисменты. Голоса перебивают друг друга:

— Здорово! Просто великолепно! Ведь только подумать: все это уже история, все это уже не повторится!

— Нет, главное не в этом. Все это, конечно, повторится, и не раз, и в бо́льших масштабах. Главное в том, что советские люди в две тысячи таком-то году смогут услышать сегодняшнее дыхание стройки, которую они уже видят во всем великолепии.

— А что вы скажете? Как вам понравилось? — спросила женщина-режиссер строителя.

Он молчал.

Кто-то включил свет, и мы увидели, что человек этот, который обычно всех поражал своим спокойствием, сидел, вцепившись руками в стол, взволнованный, потрясенный. Когда под потолком засветилась лампа, он резко отвернулся к стене.

Надо же было так не во-время зажечь свет...





НАЧАЛО ПУТИ

Это уж всегда так бывает на больших стройках: если человек деятелен, уважаем — он всем нужен и его очень трудно разыскать. Я долго бродил по десятому шлюзу, где тогда шли последние отделочные работы, и у всех спрашивал о прорабе.

— Грету Ивановну? Да она только-только вот тут была. Несколько минут назад ушла, — слышал я в разных местах, и это многократно повторяемое разными людьми «только что» красноречивее всяких характеристик говорило, что разыскиваемый человек весьма энергичен.

При этом нетрудно было заметить, что люди самых различных строительных профессий произносили несколько необычное имя своего прораба не только с уважением, но и с каким-то дружеским почтением. А это говорило, что начальник ими любим и его побаиваются. И я без труда представил себе этого прораба в виде быстрой, массивной, коротко остриженной женщины, обязательно в синем парусиновом комбинезоне, из кармашка которого торчат карандаши, распухший блокнот, сложенный метр и иные атрибуты ее специальности.

Когда же, после долгих поисков, прораб наконец был отыскан, все эти представления сразу рухнули. Высоко над землей, на лесах, еще обтягивавших башню шлюза, на самом верху, у купола, где бочардовщики своими молотками завершали последнюю отделку белоснежного камня, стояла высокая, совсем еще юная девушка в белой шелковой кофточке и, придерживая рукой прическу, которую ветер все норовил рас-

сыпать, что-то тихо, но твердо говорила загорелому каменщику, с ног до головы запудренному мраморной пылью.

— Вот она, наша Грета Ивановна! Бригадиру дяде Коле дает жизни, — сообщил ехидный, тоже с головы до ног покрытый белой пылью паренек, еще донашивавший черную фуражку ремесленника. Ломающимся, петушиным баском паренек пояснил: — Дядя Коля — на всем шлюзе спец наипервейший. Артист! Только с Гретой Ивановной очень-то не расспоришься... Ишь как она его там полирует!

Разговор наверху вели тихо. Горячий ветер, густо настоенный терпкими ароматами степи, относил слова. Но было видно, что бригадир слушает выговор молча, потупя взор. Нетрудно было заметить, что ему неловко и досадно оттого, что его «распекает» именно девушка, кажущаяся, вероятно, ему, человеку пожилому, совсем девчонкой. Но возражать, как видно, было нечего. Он только хмуро кивал головой.

Последнюю фразу прораб произнесла громко:

— Нельзя, Николай Гаврилович, нельзя забывать, где вы работаете. Это же честь и для такого мастера, как вы.

— Грета Ивановна, какой разговор! Все мигом исправим, — гудел в ответ бригадир. — Только насчет канала — это вы зря, об этом мы день и ночь помним, это у каждого вот тут...

Он большой загорелой ладонью хлопнул себя по нагрудному карману выгоревшей гимнастерки, по тому месту, где, согласно анатомии, у человека находится сердце.

Девушка между тем быстро и очень легко, точно ей вовсе не свойственно было чувство высоты, сбежала с лесов, протянула узкую, продолговатую загорелую руку и деловито осведомилась:

— Ко мне? Инженер Шекланова. Чем могу быть полезна?

Так познакомились мы с Гретой Ивановной Шеклановой, прорабом десятого шлюза.

Об этом прорабе, о ее организаторских способностях, о новых методах ведения строительства, которые она смело и с неизменным успехом применяла на своем участке, много говорили на трассе.

Но, начиная рассказ о молодом инженере, нужно сказать о великолепном шлюзе, белоснежные башни которого так радуют пассажиров, проезжающих по каналу, перенестись назад, в ту пору, когда тут, среди степного безлюдья, меж куч развороченной земли, на дне котлована, выгрызенного зубами экскаваторов, закладывались основы сооружения.

Именно тогда в дощатую комнатушку, торжественно име-

новавшуюся кабинетом начальника строительства шлюза, вошли две девушки с рюкзаками за плечами.

Представившись как инженеры, только что окончившие строительный институт, они заявили, что работа на стройке — их заветная мечта, что они направлены сюда в качестве прорабов и что готовы хоть сейчас приступить к работе. Чем скорее, тем лучше.

Начальник шлюза, опытный строитель, вспомнив, как сам он когда-то с такой же вот юношеской самоуверенностью и жаждой деятельности пришел на первую свою стройку, с трудом подавил улыбку. Усадив девушек, он стал рассказывать им об особенностях стройки, о необычных методах, которыми она ведется, не обобщенных пока ни в одном учебнике, и о том, какими еще невиданными в строительной практике машинами страна вооружила волгодонцев. Он говорил, что в этих условиях инженер должен работать с большей перспективой, должен научиться не ограничиваться задачами дня, а так знать материалы и чертежи, чтобы все время представлять сооружение и любую его деталь такими, какими они должны стать в окончательном виде. Не умолчал он и о трудностях, которые ждут молодых людей на новом месте работы

Девушки слушали рассеянно. Они смотрели в окно, где в тучах песчаной пыли вырисовывались контуры машин, двигались вереницы самосвалов. Им не терпелось скорее попасть туда, в котлован, активно включиться в жизнь строительства.

И в первый же вечер Грета Ивановна, назначенная производителем работ по возведению камер шлюза, горько пожалела о том, что невнимательно слушала наставления начальника. Она растерялась. Дело дошло до того, что одна из бригад, находившихся в ее подчинении, и именно бригада арматурщиков, куда-то исчезла.

Работы шли уже при электрическом свете. В клубах пыли, едва пробиваемых лучами прожекторов, фигуры рабочих вырисовывались нечетко. Пропыленные лица выглядели одинаково, и среди них она никак не могла угадать бригадира, с которым разговаривала днем. Она помнила только, что этот крупный суровый человек, слушая указания, смотрел на нее с насмешливой снисходительностью. Она даже фамилию его забыла и теперь, разыскивая среди массы работающих исчезнувшую бригаду, не знала, как спросить о бригадире и бригаде. Да и спрашивать было стыдно. Какой же она производитель работ, если в первые же часы потеряла целую бригаду! И так уже все эти бетонщики, опалубщики, арматурщики — мастера своего дела, носители опыта строек, люди с бронзовыми лицами, обдутыми степными ветрами, — с нескрываемым



Грета Ивановна Шекланова.

недоверием посматривают на нее, бледную городскую девушку, неожиданно появившуюся среди них в качестве начальника.

Измученная поисками потерявшейся бригады, расстроенная первой неудачей, Грета Ивановна вернулась домой уже под утро. Стараясь не будить соседок по общежитию, она нашла свое место, бросилась на койку и заплакала, заглушая рыдания подушкой. Стройка казалась ей теперь гигантским, сложным организмом, живущим своими законами, которых она не знала и которые ей не удалось разгадать. Ей казалось, что она переоценила свои силы, настойчиво просясь сюда, что для этой почетной работы у нее не хватает не только опыта, но и знаний. Ей думалось, что преподаватели и товарищи по институту ошибались, когда говорили, что у нее незаурядное организаторское дарование.

Это было крушение любимой мечты. Выплакавшись в подушку, Грета Ивановна присела возле своей тумбочки и при зеленоватом свете раннего утра написала обо всем этом матери в Куйбышев. В последних строках письма она ругала себя за то, что была слишком самоуверенна, и сообщала, что, наверно, придется ей идти на стройки жилищные, с которыми она познакомилась во время производственной практики.

Впрочем, уже на следующий день девушка жалела, что отослала письмо. Утром бригада нашлась. Оказалось, что бригадир, человек известный, опытный, но своевольный, не доверяя новому прорабу, без спросу перевел людей на другой участок, где, как казалось ему, он сможет использовать их с большей, как говорят на стройке, «отдачей».

Девушка собрала всю свою волю и, заставив себя глядеть в упор в насмешливые глаза бригадира, сказала ему спокойно:

— На первый раз я вам это прощу, но договоримся: если что-нибудь такое повторится, я расценю это как дезорганизацию работы.

Она произнесла это тихо, но в голосе ее, должно быть, было что-то такое, что заставило бригадира, бывшего фронтовика, подтянуться и одернуть гимнастерку. Уходя, она заметила, что люди смотрят на нее уже не с добродушной насмешливостью, как вчера, а с интересом. Она поняла — это уже маленькая победа.

Строительство велось новыми методами, создававшимися тут же, в процессе работ, и темпами, о которых только еще мечтали профессора строительного института, где училась Грета Ивановна. Молодому инженеру, приступившему к делу, когда работы шли уже полным ходом, трудно было сначала уловить

их ритм, включиться в него, научиться постоянно видеть перед собой весь фронт работ и равномерно, без рывков, без взлетов и спадов, руководить ими.

Первое время всё как бы расплывалось перед глазами. Овладеешь одним — ускользнет другое, теряется третье, и трудно, очень трудно держать в руках одновременно все нити.

Как говорят строители, «шел непрерывный бетон» — росла коробка шлюза. Эти работы, где каждая ошибка могла причинить потом неисчислимые беды, требовали внимания.

Но наставление начальника шлюза о том, что на стройке можно работать только с перспективой, что надо уметь на основе чертежей представлять сооружение и все его детали в окончательном виде, девушка запомнила. Свободное время она проводила над чертежами и до тех пор не свертывала их, пока не представляла себе до мельчайших подробностей весь процесс предстоящих работ.

Она уже не стеснялась обращаться с недоумениями к начальнику стройки, к старшему прорабу, приучилась советоваться по важным делам с бригадирами, с новаторами — бетонщиками, арматурщиками, каменщиками. А самое главное, в ней развивался неоценимый дар видеть, слышать, творчески вбирать в себя все то новое, передовое, что ежедневно, ежечасно рождалось в труде коллектива, и тут же применять лучшее из наблюденного.

Теперь, когда она все осязательнее чувствовала в своих руках нити, связывающие ее со всеми бригадами, со всеми строителями, и видела весь фронт работ, дела, казалось, становилось меньше. Находилось время все обдумать, порадоваться удачам, помечтать о будущем.

Грета Ивановна уже забыла о письме, которое она послала матери в первую тяжелую ночь, и только запоздавший материнский ответ напомнил ей о том, как она когда-то смалодушничала.

Она долго не решалась вскрыть конверт.

Мать призналась, что нарочно задержала ответ, чтобы дать дочери получше освоиться с новой работой, подумать и осмотреться. Она напоминала эпизод, который всегда всплывал в семье Шеклановых в трудные минуты жизни: ночь нападения фашистов на Советский Союз. Все в доме спали крепким предутренним сном, когда сообщили их отцу, командиру большого воинского соединения, что фашистские самолеты нарушили границу. Надлежало выехать на фронт. Отец собрался за несколько минут, сказав матери, что отправляется в командировку. Он был, как всегда, спокоен и только, целуя на прощанье дочерей, подолгу смотрел в лицо каждой.

— Любите Родину выше всего! Ни труда, ни жизни для нее не жалейте, — сказал он девочкам.

Таким большим, мужественным, спокойным, уверенным в правоте и победе дела, за которое он ехал сражаться, сильным своей любовью к советской Отчизне и остался в памяти семьи генерал Иван Шекланов, погибший в одном из первых сражений.

Об этом эпизоде и напоминала мать дочери в своем ответе.

Но та уже без чувства стыда читала эти слова. У молодого прораба теперь не осталось и следов первоначальной растерянности. Она прочно приросла к своему объекту, стала своим человеком в коллективе, освоилась с необычностью масштабов, с трудностями новизны. Вспоминая минуты прощания с отцом, она могла с полным правом сказать, что и она теперь исправный солдат в гигантском наступлении на природу, которое люди вели тут, в Донских степях.

А потом, в ходе работ, в непрерывном борении с трудностями, в постоянных поисках новых решений, новых методов, пришло и настоящее мастерство. Грета Ивановна стала не только хорошим производителем работ — она стала новатором своего дела и в числе первых успешно применила на бетонировании камеры шлюза поточную систему, систему чрезвычайно эффективную, но требовавшую от всех работающих и прежде всего от самого прораба большой организованности, маневренности и четкости.

Вместе с сооружением шлюза росло искусство молодого инженера. Грета Ивановна все больше срасталась со строительством и сроднилась с ним настолько, что воспринимала его уже не как объект работ, а как что-то очень родное, неотделимое от нее самой. День, когда их шлюз принял первую воду, был для нее днем личного счастья. Она смотрела, как зеленоватая донская вода наполняет каменную коробку, и вместе со всеми строителями, утеряв свое обычное, ставшее здесь даже нарицательным хладнокровие, кричала, прыгала, как девчонка, размахивала платком и аплодировала, приветствуя грязноватую, мутную волну, игравшую стружками и щепками.

В последние недели, уже в разгар несложных доделочных работ, с прорабом случилась беда: оступившись, девушка повредила ногу. Ее увезли домой, и вызванный к ней врач прописал строгий постельный режим, неподвижность, полный покой.

Полный покой! Может ли быть что-нибудь хуже для кипучей натуры!

Из окна комнаты Греты Ивановны были видны башни

шлюзов, на которых шли доделочные работы. Полный покой! Да разве мог он быть на душе человека, оторванного в такие минуты от любимого дела! Ее товарищи это понимали. Потихоньку от врача и соседок по общежитию, следивших, чтобы она выполняла врачебные предписания, бригадиры, рабочие то и дело забегали к своему прорабу, получали задания, советовались. Это общение со стройкой хоть немного смягчало нетерпение девушки.

Но однажды она услышала звук, который, точно развернувшаяся пружина, сбросил ее с кровати.

Это был обычный гудок пароходной сирены, не очень даже сильный, так себе, гудок небольшого буксира. Но тут, в степи, где несколько лет назад нельзя было найти воды, чтобы напиться, он звучал по-особому.

Грета Ивановна не помнила, как она очутилась у окна. Тихий и обычно пустынный в рабочие часы, поселок был необычно оживлен. Люди спешили по улицам к шлюзу, к каналу, в ложе которого, невидимый издали, двигался пароход.

Девушка заметила среди бегущих древнего старика, опирающегося на кривой посошок. Какая-то женщина в развевающейся пестрой шали спешила, прижимая к груди маленького ребенка. Подхваченная этой общей радостной волной, девушка, прыгая на одной ноге, цепляясь за стены, за косяки дверей, двинулась вниз и очутилась на крыльце. Но тут силы иссякли. Она так и осталась стоять, прислонившись к косяку двери.

А пароход, пришвартовываясь к причалам, нетерпеливо гудел, требуя пропуска в шлюз, и рев его сирены широко раскатывался по окрестным просторам, по опустевшим, точно вымершим, улицам поселка строителей.

Все были там, на шлюзе. Все видели этот первый пароход. Только одна она, Грета Шекланова, не примет участия в общем торжестве, не увидит, как первое судно пройдет через шлюз, с созданием которого тесно связана лучшая пора ее жизни.

Вот над черной кромкой толпы, сбившейся у причальных стенок, облепившей шлюзовой парапет, показался вымпел парохода, вступившего во входные ворота...

Горькие слезы закипали в груди девушки...

Но тут на улицу вдруг вырвался огромный бетоновоз. Он несся на полной скорости, рыча сиреной, гремя железным кузовом-самосвалом. Визгнув тормозами, он остановился возле ее крыльца. В кузове без фуражки стоял тот самый бригадир арматурщиков, который когда-то в памятную ночь без спросу

увел свою бригаду, оставив начинающего прораба в дурацком положении.

Ни слова не говоря, он выпрыгнул на тротуар. Вместе с шофером они бережно подняли девушку и усадили ее в кабину. Тем же бешеным темпом машина помчалась назад.

Пароход уже стоял в шлюзе. Наблюдая с высокого сиденья кабины, как он медленно опускался, сходя с очередной водной ступени, Грета Ивановна вспомнила почему-то зеленоватый утренний рассвет, отца, торопливо застегивавшего плащ, и последние его слова, которые в трудную минуту всегда повторяли в ее семье:

— Любите Родину выше всего! Ни труда, ни жизни для нее не жалейте.

Вспомнив эти слова, девушка думала о том, что ей повезло, что счастливо складывается ее жизнь, ее работа...

А ведь это только начало ее трудового пути.





ДЕФИЦИТНАЯ БАБУШКА

У Василия Рыбникова, бригадира автоколонны тяжелых машин, — того самого Рыбникова, который весной прославился конвейерной организацией перевозок стройматериалов, было одно удивительное качество, выработавшееся еще на фронте: он умел засыпать в любое время. Закроет глаза и спит, что бы вокруг него ни происходило. Когда нужно — проснется с ясной головой. Водители, уважавшие своего начальника, склонны были именно этой способностью объяснять его поражавшую всех неутомимость, умение, если того требовало дело, сутками не вылезать из кабины и сохранять при этом свежесть ума, бодрость, спокойствие и обычную для него распорядительность.

И вот этот человек маялся жестокой бессонницей. Недавно он вылетел со строительства на узловую станцию, чтобы принять новую партию, как он выражался, «техники». Самолет был открытый, погода скверная. Он застудил больной зуб. Получилось воспаление надкостницы. Правую щеку у Рыбникова безобразно раздуло. Возвращаться он решил на пароходе, и теперь вот уже вторые сутки пути он не мог заснуть. По очереди он перепробовал все успокаивающие средства, какие только нашлись в пароходной аптечке. По совету какой-то старой пассажирки, прикладывал к флюсу стручок красного перца. По рекомендации бригадира уральских монтажников, ехавшего с ним в одной каюте, полоскал рот коньяком, а потом принимал коньяк и внутрь, что, по утверждению другого пассажира, геолога по профессии, помогает при всех воспалениях. Ничего не действовало. Только ходьба, как казалось Рыбни-

кову, слегка успокаивала жгучую, сверлящую, пульсирующую боль.

И вот огромный человек в накинутом на плечи ватнике неустанно, как часовой, шагал по палубе маленького пароходика, который, хлопотливо шлепая плицами, медленно двигался по холодной, затянутой сердитым ноябрьским туманом реке.

Василий Рыбников ругал себя за то, что не поехал поездом, ругал капитана, который, как казалось ему, вел свое суденышко нарочно неторопливо, ругал промозглую непогодь раннего ноября, ругал пассажиров, которые, уютно рассевшись в салоне, слушали радио, стучали костями домино по столу, о чем-то разговаривали и даже смеялись. Вот ведь люди! Как они могут так беззаботно болтать, смеяться и даже не замечать, что это скверное корыто словно совершенно завязло в сырой, сочащейся дождем мгле!

Особенно раздражала Рыбникова маленькая, сухонькая старушка, что посоветовала ему «попользовать флюс» перцем. Он заметил, что стоит трем-четырем пассажирам сойтись вместе, как она уж тут как тут. И все-то она знала, во все вмешивалась, со всеми заговаривала. Вслед за ней неотступно ходила черноглазая девочка лет шести, такая кругленькая, загорелая, крепкая, что походила на здоровый, блестящий желудóк.

Вот и сейчас там, за широким стеклом салона, старуха с девочкой примостились возле стола, за которым ленинградские монтажники играли в домино. «Ну что ей там надо, что она понимает в игре! И вообще, куда она тащится с ребенком на пароходе в осеннюю пору! Сидела бы дома, вязала бы, что ли, или с соседками сплетничала», — думал Рыбников, бережно приминая ладонью раздутую щеку.

Когда боль немножко отпустила, Рыбников, совершенно уже продрогший на палубе, прошел в салон. Монтажники кончили игру, радио было выключено. Пассажиры толпились у кресла, на котором сидела давешняя старуха с девочкой-желудкóм на руках. Девочка спала, положив ей на плечо смуглую головку с двумя торчащими вверх косичками-хвостиками, а старушка о чем-то рассказывала. Все ее слушали. Это было время передачи «последних известий», и Рыбников включил было репродуктор. Но на него зашикали. Повидимому, беседа всех интересовала.

— Ах, мамаша, я думал, что теперь только мы, геологи, да цыгане кочевыми народами остались! — рокотал высокий, худой человек с торчащим кадыком, который утверждал, будто прием коньяка внутрь помогает от всех воспалений. — А тут

вон оно что — новая кочевая профессия: передвижная бабушка.

— Ты не смейся, не смейся, милый... Женат? Дети есть? И жена работает? Нет?.. Ну, тогда твое дело иное, ты этого, милый, и не поймешь. А вот у меня четверо сыновей было, старший-то, ее вот папка, — она погладила девочку, заснувшую у нее на плече, — он в войну погиб. А трое — живы, и у всех дети. Ну, меня на разрыв: «Мамаша, ко мне», «Нет, ко мне, пожалуйста», «Нет уж, мне окажите честь...» Вот что пишут.

— Это сыновья. А снохи? — сердито пробурчал Василий Рыбников, которого раздражали хвастливый тон и самоуверенность старушки и то внимание, с каким ее тут все слушали.

— Не помог, что ли, перец-то? — спросила та, поднимая голову и наводя на Рыбникова свои большие, круглые в черной оправе очки.

— Как мертвому припарки.

— Оно и видно. Хмурый больно ты человек...

— Нет, а верно, мамаша, как же с пословицей-то: свекровь в дом — все вверх дном? Иль уж устарела? — осведомился пожилой бригадир монтажников, по совету которого Рыбников полоскал рот коньяком.

— А и устарела, что ты думаешь? — спокойно отозвалась старушка. — Не прежнее время. Теперь мы, бабки-то, ах, в каком дефиците!.. Думаешь, у меня так все сразу гладко со снохами и пошло? Нет, миленький, все было: и раздоры, и разговоры, и «я или она»... Только мне что — живите, как вам лучше, а я сама себе голова. Мне за работу мою достойная пенсия идет. Комната за мной в фабричном доме навечно закреплена. Мы с Нюшей сами себе самые главные. На фабрике меня помнят, на торжественные заседания билеты присылают, да всё в первый ряд. Узнали, что зрение мое ослабло, что трудно читать мне стало, радиоточку велели ко мне бесплатно провести, чтобы тетя Ксюша от жизни не отставала. Нам с Нюшей и дома хорошо, а вот им без нас — иное дело.

— Сыновьям или снохам?

— Да и тем и другим. Одна семья-то... Ишь, заснула Нюшенька-то моя... Вот бы, товарищи, очистили диванчик, я ее бы и уложила.

Произнесла она это с такой уверенностью, будто была хозяйкой, и несколько загорелых стажеров, возвращавшихся со строительной практики, сразу вскочили, уступая место, а геолог принял спящую девочку из рук старушки и бережно понес ее на диван.

— Так вот, хмурый ты человек: спрашиваешь ты — сы-

новья или снохи... — продолжала старушка, удобно усевшись в кресле и опять наводя на Рыбникова свои очки. — А вот я тебе скажу: и те и другие из-за меня аж вздорят... Вот-вот, и ничего тут особенного — время такое, старый человек теперь в большом уважении. А как им иначе и быть-то? Вот месяц-полтора назад сын мой Михаил — он в Воронеже в институте лекции читает, и невестка Лида — она тоже у нас ученая: какую-то там клубнику удивительную вывела и даже премию за это получила, — так вот оба пишут мне: «Начинается у нас прием студентов, будем мы очень заняты. Вовка нездоров. Приезжайте, — они меня на «вы» зовут, — приезжайте, пожалуйста, мамаша, к нам». Ладно! Вовка болен — дело серьезное. Собираемся мы с Нюшей в путь-дорогу, благо нам не привыкать — город Воронеж нам известен. А тут, хвать, из Свердловска телеграмма! Большая — рублей пятнадцать, поди, за нее заплачено: «Мама, срочно самолетом командируйся к нам. Получили отпуск, путевки в Сочи в кармане, проездные командировочные перевели телеграфом, обнимаем, целуем. Федор, Сима». А Федор — сын мой. Он на Уралмаше мастер наипервейший. Машины для этих ваших строек какие-то ходячие собирает. А Сима — Серафима то-есть, его жена — тоже там в цеху по металлу что-то работала, а теперь студентка в институте. И вместе с телеграммой подает мне почтарь от них командировочные. И на меня и на Нюшу.

Что делать, куда ехать? Тут Вовка болен — там вовсе трое ребят осталось невесть на кого. А пока раздумывала, письмо отсюда, от сына моего Сенюши, то-есть Семена Петровича Зайчикова, — он где-то тут у вас на стройке тоннельный мастер, и жена у него Зойка. Они вместе в Москве метро строили, а теперь она тоже тут у них какое-то важное лицо. Я ее, грешным делом, не люблю. Занозистая такая: «Вы в мои дела не лезьте» да «я и без ваших советов проживу». Но у них беда — двойня маленькая. И пишут они: «Мама, знаем мы, и Свердловск и Воронеж на тебя претензию имеют, но нам ты должна оказать предпочтение: у нас стройка наиважнейшая — это раз, и четвертая по счету домработница на курсы строителей устрельнула — это два, и нам по зарез некогда, объект в эксплуатацию сдаем, — это три...»

— Ситуация! — говорит пожилой монтажник, и его длинные моржовые усы, нависающие на рот, не в силах прикрыть улыбку. — Вот и решай, к которому податься. Тут, брат-бабушка, нужен государственный подход!

— И правильно, что ты улыбаешься, милый. Мы с Нюшей так рассудили. Михаил с Лидой оба ласковые, обходительные, но они в большом городе и человека себе, если надо, легко

найдут, да и в случае чего могут тещу вытребовать, у них теща имеется. Так? Федор с Симой хоть проездные и командировочные нам прислали, у них тоже не крайность: детей можно в колхоз, к Симиному отцу, к свату моему, отправить. Я там у него бывала — крепкий, приятный колхоз, и живут просторно, ребятам раздолье, горы, река... А у младшенького-то мово, Сенюши, то-есть у Семена Петровича, хоть жена у него и репей, бог с ней совсем, а положение действительно серьезное. Возьмешь молоденькую в няньки — через месяц на курсы бежит. И правильно бежит! Ей профессию надо, чего ради она будет в няньках болтаться, когда, может, из нее через год-другой знаменитый человек выйдет? Ну, а старух в окрестных станицах давно поразбирали. Сколько людищей-то понаехало! Да и не очень-то они идут к чужим в няньки, станичные старухи. Больно им надо, когда колхозы тут богатые, всё у них есть! Да и свои-то внуки — они милей чужих детей.

— Стало быть, к занозистой невестке и едете?

— К занозистой и еду. А как же, тут стройка-то какая идет, должны и мы с Нюшей, чем можем, помочь!.. Да и что это, милый, значит: занозистая! Приеду — будет рада до смерти: «мамашенька» да «мамашенька»... Жизнь-то, она вежливости учит. А в случае чего — до свиданья, и на поезд. Деньги на билет у меня всегда в кармане, пенсия идет, комната ждет... Мы с Нюшей — люди самостоятельные...

И так уж это случилось, боль ли утихла или усталость взяла свое, но Василий Рыбников заснул в кресле под мерный старушечий голос.

Проснулся он на рассвете. Кто-то сильно тряс его за плечо. Это был вчерашний геолог. Лицо у него было озабоченное:

— Ну и спите!.. Вы ведь здешний? Говорите скорей: чтобы попасть на Отрадный, где слезать? Тут, на Новой, или до гидроузла плыть?

— Как, уже Новая?

— Ну да, минут пять, как привалили.

Рыбников бросился в каюту, схватил чемоданчик. Геолог шел за ним по пятам:

— Ну, так где же слезать: здесь или дальше?

— Если есть транспорт, слезайте здесь, тут втрое ближе. Только с транспортом худо: слякоть, дороги разъехались. Легковой сейчас не пробиться, только грузовик, да и то не всякий... Я вот слезаю, за мной приедут. Пока!

Геолог уже не слушал. Он исчез и через мгновение показался на прогибающихся сходнях с чемоданом, баулом и скаткой свернутой постели. Вслед за ним, боязливо держась за его

плечо, шла давешняя старушка. Усатый монтажник нес на руках спящую девочку. И едва провожавшие старуху успели вернуться на пароход, как сходни подняли, и, производя своими суетливыми плицами шумную кутерьму, судно начало отваливать.

— Бабушка! Младшенького, Сенюшу приветствуйте!..

— Не давайте снохе потачки! — слышалось с удаляющейся палубы.

— Вот балагуры, рассказать ничего нельзя! — улыбалась старушка, помахивая вслед удаляющемуся пароходу сухой, маленькой ручкой. — Ведь долго ли вместе проехали, а будто сроднились, и расставаться жалко...

— Вы лучше скажите, как думаете до Отрадного-то добираться? Машину, что ль, сын пришлет? — хмуро спросил Василий Рыбников.

— Я ему и не протелеграфировала. Они там вон что-то в эксплуатацию сдают, чего его пустяками беспокоить...

— Ай-яй-яй, — не на шутку встревожился Рыбников, — как же так можно! Ведь до Отрадного больше сорока километров, вы об этом подумали? А погода — вон она какая. Ведь глушь, степь, дороги развалились...

Злой дождь, косой и холодный, дробно стучал в железную крышу пристани. Мелкая сердитая волна часто пошлепывала по борту дебаркадера. Все кругом, будто на дне старого погреба, было пропитано студеной, промозглой сыростью.

— Как люди, так и я, — вздохнула старушка.

— А где ж они, люди?

— Ты-то вот как поедешь?

— За мной машина придет, но мне в другую сторону, понимаете... Ну как это можно сойти, ни о чем никого не расспросив! Да еще с ребенком... Эх!

— Не шуми, не шуми, Нюшу разбудишь! — невозмутимо отозвалась старушка, поправляя шаль, прикрывавшую девочку. — Не в Америке, чай, не пропадем — кругом свои люди. Сколько мы с Нюшей ни путешествовали, нигде не пропали... Вон, слышь, гудят. Не тебя ли кличут?

На невысоком берегу в промозглой мгле настойчиво ревела сирена автомашины. Потом под чьими-то ногами захлюпали сходни. На пристани появился коренастый паренек в синем комбинезоне, с ног до головы облепленный грязью. Увидев Рыбникова, держащегося за щеку, он виновато опустил глаза:

— Извините, Василий Иванович! Три раза в грязи по самый дифер сидел — развезло, ужас... Балки разлились.

— Возьми вон эти вещи, — кивнул Рыбников на имущество

старушки. Сам же он поднял девочку и сердито сказал: — Чего уж, пошли!

— Ну что ж, пошли так пошли, — спокойно согласилась старушка и деловито осмотрелась кругом — не забыла ли чего.

К приглашению она отнеслась, как к чему-то само собой разумеющемуся. Только когда Рыбников предложил ей лезть в кабину, она запротестовала: «Как же, с этакой-то щекой да в кузов, на ветер!» Но, увидев, что все ее доказательства только раздражают сердитого человека, она дала ему свою огромную черную шаль и взяла с него слово, что он обязательно накроется ею.

Шофер, явно раздосадованный тем, что его знаменитый начальник будет трястись в кузове, да к тому же еще придется делать километров сорок крюку, попробовал было протестовать, ссылаясь на незнание дороги, на то, что не хватит бензина, но Рыбников так посмотрел на него, что он, не договорив, торопливо прыгнул в кабину.

Ехали молча. Девочка, привыкшая к путешествиям, крепко спала. Бабушка ее тоже дремала. Холодный косой дождь заливал ветровое стекло так густо, что казалось, будто суетливые «дворники» смахивают с него не воду, а кисель. Машина то и дело буксовала в вязкой грязи, и шофер, сердито переключая рычаги скоростей, все время думал — как-то там его начальство чувствует себя в кузове, среди мокрых, холодных брезентов?

Но начальство чувствовало себя недурно. На каком-то толчке, где машину крепко подбросило, флюс, видимо, прорвался, и Василий Рыбников тотчас же уснул, закутавшись теплой старушечьей шалью.





РОЖДЕНИЕ КНИГИ

Поздно. За окнами давно уже прошла молодежь, возвращавшаяся из кино с последнего сеанса. Стремительно прошелестели по влажному гудрону шины большого автомобиля. Начальник проехал домой из управления, а это уж верный признак, что сильно перевалило за полночь.

В полутьме, развалившись на диване, лежит на спине загорелый парень в футболке, плотно облегающей его мускулистый торс, и в старых военных шароварах, из которых торчат большие, широкие ступни. Он крепко спит. Но иногда, разбуженный собственным храпом, вдруг пробуждается, приподнимается на локте, с удивлением оглядывается вокруг и, заметив в углу молодого человека, склонившегося над столом, бормочет шалым со сна голосом: «Все пишешь?» — и, не получив ответа, засыпает.

Молодой человек даже не оглядывается. Он поглощен своим делом. Перед ним раскрыта толстая общая тетрадь. Он что-то неторопливо пишет в ней, тщательно выводя буквы.

Сразу видно, что писание — не его работа. Его пальцы слишком уж старательно сжимают карандаш. На широком, четко очерченном, будто высеченном из камня лице заметно напряжение. Иногда, дописав страницу, молодой человек выпрямляется, разминает спину, точно он нес тяжесть; иногда останавливается посреди фразы и что-то бормочет, покусывая кончик карандаша.

И в то же время писание несомненно доставляет ему удовольствие. Его полные губы то и дело трогает улыбка. Порой он переворачивает страницы обратно, перечитывает написан-

ное и, откинувшись на спинку стула, задумывается, зажмуривая глаза.

Вот он встал, подошел к окну, смотрит вдаль — туда, где за крышами новых улиц темная осенняя ночь светится ровным желтым заревом и вся вздрагивает то ли от света движущихся фар, то ли от молний электросварки. Молодой человек задумчиво смотрит минуту, другую, третью... На твердом лице его появляется выражение удовлетворенности. Он возвращается к столу, склоняется над тетрадью и опять пишет.

Тот, что на диване, снова проснулся, щурясь посмотрел на часы, на пишущего, звучно зевнул и сырым, хрипловатым со сна голосом говорит:

— Расписался! Первый час на исходе... И чего тебе, Юрий Сергеевич, надо? Ты ж мировой водитель, гордость всего шоферского сословия, кой тебя чорт в писатели тянет!.. Ложись, ведь к машинам выходить чуть свет.

— Спи, спи, я сейчас... — не оглядываясь, отвечает молодой человек, к которому, несмотря на юность, величание по отчеству почему-то все-таки очень подходит.

— Ну чего тебе этот дневник дался! Твой дневник — работа автобригады, наши дела. А это уж пусть газетчики тебя описывают, у них лучше получится...

— Спи, тебе говорят! — уже сердито обрывает Юрий Сергеевич. — Я тебя завтра будить не стану.

Он перечитывает последнюю страницу, дописывает что-то и закрывает тетрадь.

На переплете значится:

«Юрий Пронин. Дневник гидростроевца.
Часть вторая. На левом берегу».

Автор дневника отложил карандаш и задумался.

В самом деле, для чего он ведет все эти записи? Нужны ли они кому-нибудь? Или его товарищ по автобригаде, случайно зашедший к нему переночевать, прав и не стоит тратить на писание столько дорогого времени?

Почему он, водитель машины рядовой стройки, которая растет сейчас на волжском левобережье, человек очень занятый, вдруг взялся за дневник, регулярно его ведет, одну книжку уже издал, а сейчас вот работает над другой?

Он продумывает свой жизненный путь, в общем еще очень короткий и весь связанный со Сталинградом, с этими славными местами. Нет, никогда, даже в ту пору, когда он учился в школе, его не тянуло к литературному труду. Техника? Вот техника — другое дело. Техника его увлекала еще тогда, когда он мальчишкой ходил к отцу, рабочему-мукомолу, на знаменитую

теперь сталинградскую мельницу, руины которой оставлены в центре города как заповедник, как суровый памятник отгремевшему здесь великому сражению.

И потом, мобилизованный в конце войны в армию, сделавшись там сначала водителем, а потом инструктором военной автошколы, он тоже никогда не думал о литературе. Даже в «боевой листок» писал редко, и то, когда замполит уж очень поднажмет...

Автомобильное дело поглощало все его способности. Как бы ни были совершенны новые конструкции автомашин, поступавших с заводов, какое бы восхищение ни вызывали они среди его товарищей, Юрию Пронину всегда казалось, что их можно сделать лучше и что в техническом паспорте не раскрыты все их возможности. Он начинал эти возможности искать, поражая начальников сметливостью ума, изобретательностью, настойчивостью.

Когда в часть, например, пришли новые четырехтонные грузовики «ЗИС-150», он опытным шоферским глазом сразу определил, что отличная конструкция и могучий мотор позволят безболезненно увеличить их нагрузку. Попробовал и увидел, что для этого слабоваты рессоры. Тогда Юрий Пронин сам изготовил в мастерской и установил на своей машине дополнительные подрессорники. Нагрузку он стал увеличивать в полтора раза, и результаты были отличные. Шоферы части последовали за ним. Усиление рессор — эта простая, казалось бы, мера — значительно подняло грузоподъемность парка автомашин, нисколько при этом не отразившись на их эксплуатации.

Это было лишь одно из новшеств, примененных Юрием Прониным.

...На волжскую стройку, после демобилизации, его привела та же страсть к механике, к новым, первоклассным машинам, к постоянному общению с большими массами новой, могучей техники. Тут, на стройке, как недавно в армии, он продолжал экспериментировать. Только размах экспериментов расширился и мыслить он стал просторнее, уже не в пределах только своей машины, а в масштабах целого автопарка. Страна щедро вооружила строителей лучшими машинами новейших марок. Но шоферский коллектив был пестрый, люди съехались со всех концов советской земли, и каждый прибыл со своими навыками, своими методами работы и, чего там греха таить, нередко и со своими дурными привычками. А фронт работ был необозримый, задачи огромны. И понял Пронин — здесь важно не только самому хорошо работать, но и помочь организовать работу всего автопарка.



Юрий Сергеевич Пронин.

Юрий Пронин — рядовой шофер. Организация работы не его дело. Но он знал: от автопарка зависит и ход стройки. Он видел, как много возможностей еще не используется, и со всей методичностью и страстностью, которые одновременно были свойственны его широкой творческой натуре, занялся организацией дела.

Сначала он стал соревноваться со своим сменщиком. Они добились еще не виданной здесь производительности машин и наглядно показали всем шоферам, какие у них у всех имеются возможности. Потом начали развивать движение вширь. И тут родилась счастливая мысль: создать стахановские бригады шоферов, крепкие производственные коллективы, с жесткой дисциплиной, со взаимной ответственностью, где каждый в отдельности и все вместе работали бы самыми передовыми методами.

Это, казалось бы, и не очень хитрое нововведение дало хорошие результаты. Раньше лишь лучшие из лучших водители, как и сам Пронин, выполняли план перевозок на сто пятьдесят процентов. Теперь вся автобригада Юрия Пронина, работая ритмично, без рывков, без спадов и взлетов, ежедневно перевыполняла план перевозок раза в полтора, а порой и больше.

Момент, когда Юрий Пронин возглавил этот небольшой, но пестрый коллектив шоферов, можно считать началом его приобщения к литературе. Память человеческая — инструмент мало надежный. Бригадир шоферов в помощь своей памяти завел записную книжку. Закончив смену, он стал заносить сюда все, что ему хотелось запомнить о работе своих людей.

Сначала это были отрывочные заметки: фамилия, цифра, процент, факт. Он использовал их для разговоров с участниками бригады, для выступлений на производственных совещаниях и собраниях. Это ему очень помогало.

Но по отрывочной фразе, написанной телеграфным слогом, всего не припомнишь, да и дела бригады все больше и больше увлекали Юрия Сергеевича. Понемногу от отрывочных заметок он перешел к более пространным. Теперь он заносил в книжку и интересные беседы и характеристики людей, с которыми встречался, а потом, войдя во вкус, стал записывать свои чувства, мысли, мнения. Уж очень интересной была теперь его жизнь!

Так из насущной необходимости записать материал, нужный для работы с людьми, и начался дневник гидростроевца Юрия Пронина.

День ото дня его работа в качестве руководителя автобригады усложнялась. Пронин, который раньше увлекался механизмами и мало внимания обращал на тех, кто работал

на этих механизмах, все больше интересовался теперь именно людьми, своими товарищами, членами своей автобригады. Раньше они казались ему обычными ребятами, ничем, пожалуй, друг от друга не отличавшимися, а на поверку они оказались все разными, с разными характерами и устремлениями, с разными методами работы и жизненными целями.

И бригадир убеждался, что к душам человеческим универсального ключа не существует, что каждый из членов бригады требует к себе особого подхода, что только тогда общее дело пойдет хорошо и бригада будет тянуть повышенные нагрузки, когда взаимоотношения между всеми ее членами будут правильными и четкими.

Все эти мысли отражались в дневниках Юрия Пронина. У него вошло в привычку, вернувшись с работы, садиться за тетрадь и записывать все, что произошло за день нового, стоящего внимания.

А интересного было много. Каждый день Сталинградгидростроя рождал новые трудности, новые заботы, открывал новые перспективы, нес новые радости.

Порешили, например, на бригадном собрании выполнить план перевозок на полтораста процентов, а выполнили на сто шестьдесят и больше. Решили один день в месяц работать на сэкономленном горючем, а работали по два дня, даже иной раз и на третий хватало.

Увидел однажды Юрий Пронин в журнале «Советский Союз» фотографию нового, двадцатипятитонного самосвала, выпущенного Минским автозаводом. Увидел и весь загорелся мечтой поработать на этой небывалой машине.

На следующий день принес журнал со снимком своему начальнику, инженеру, а тот в ответ смеется:

— Зачем же фотографию рассматривать, когда можно въявь увидеть!

— Тут, на Сталинградгидрострое?

— Ну да, уже прибывают. Первые на товарной станции сгружаются.

— И мне можно будет на такой машине поработать?

— Можно. Вы, Юрий Сергеевич, этого вполне заслуживаете.

В этот день Юрий Пронин только и думал, что о новой машине, и, разузнав, где стоят прибывшие самосвалы, не стерпел и понесся туда.

Вот они стоят на товарной станции, эти автобогатыри, рядом с которыми все вокруг как бы уменьшается в размере и даже паровоз и вагоны не кажутся такими привычно большими, как всегда.

Юрий Пронин с почтением осматривает новые машины. Колесо с баллоном в человеческий рост. В кабину, как в будку локомотива, ведет металлическая лесенка. С сиденья, как с капитанского мостика, далеко все видно. Новое детище советской индустрии поражает водителя мудрой простотой своей конструкции. Он сидит в машине, ласково трогает приборы управления, и ему не хочется пересаживаться с этого гиганта, как бы прибывшего из будущего, в свою обычную, объезженную автомашину.

А потом он выводит одну из этих машин на степную дорогу. И радостно ему наблюдать с высоты своей необычной кабины, как десятитонные «язы» почтительно уступают ему дорогу, как встречные люди, отойдя на обочину, провожают удивленным взглядом невиданного автобогатыря...

Много, очень много нового, интересного, неповторимого доводится наблюдать на Сталинградгидрострое. Все это сто́ит бережно сохранить в памяти. Не для истории, нет — для себя, чтобы потом легко было вспомнить эти страницы своей жизни.

Понемногу литературное творчество начинает увлекать шофера. Незаметно для него дневник перестает быть достоянием только самого автора. Иногда, желая в точности воспроизвести то или иное происшествие, Юрий Сергеевич, выступая перед бригадой, читает отрывки из своего дневника. Он замечает, что слушают его с неизменным интересом. Записавшись в прения на комсомольской конференции, он решает и там почитать кое-какие отрывки. Не для того, чтобы заинтересовать делегатов своим литературным мастерством, нет, — просто, чтобы ярче рассказать о том, как вставала на ноги его комсомольская бригада.

Поднявшись на трибуну, он раскрывает дневник, читает и, читая, с удивлением чувствует, что его слушают с каким-то иным, особым вниманием.

В перерыве незнакомые юноши и девушки подходят и благодарят его. За что? Да за интересные записи.

Литературный эффект дневника совершенно неожидан для его автора. Он смущен. И вдруг ему предлагают издать дневник книжкой.

Книжкой? Юрий Пронин колеблется. Разве он писал для читателей? Нет, он писал для себя. Ему доказывают, что дневник имеет общественное значение, что в нем правдиво отражен один из участков стройки, что это интересно и ценно не только для него самого, но и для читателей, живо интересующихся всем, что происходит сейчас на волжском левобережье, у Сталинграда.

Нет, все же публиковать дневник нельзя. Он писал, не

думая о читателе, не заботясь о форме. Он хотел только запечатлеть для себя кусочки своей жизни. Многие записи сделаны кое-как, в них немало лишнего, несущественного. Но люди, которых он привык уважать, успокаивают его: ничего, записи можно отредактировать, содержание же дневника — единственное в своем роде.

И шофер соглашается: «Издавайте».

Однажды, когда Юрий Пронин едет на «слоне», как он ласково называет свой двадцатипятитонный самосвал, путь ему заступает легковая машина. Из нее выскакивает человек и поднимает руку. Пронин тормозит и открывает запыленную дверь кабины. Человек по металлической лестнице поднимается в кабину. В руке у него небольшая книга.

— Ваш авторский экземпляр! Поздравляю, Юрий Сергеевич!

Оказывается, это очень радостно — впервые видеть свою книжку, может быть так же радостно, как в первый раз загрузить кузов землей, вынутой из котлована будущей гидроэлектростанции.

Юрий Пронин перелистывает книжку и с некоторым даже удивлением видит свои слова, свои фразы напечатанными. Он переживает какое-то щемящее, но радостное чувство оттого, что теперь вот его мысли, рожденные наедине с записной книжкой, будут читать тысячи людей.

«Дневник гидростроевца» — как славно звучит заглавие! И сверху: «Юрий Пронин». Но радоваться некогда. Пронин не литератор — он бригадир шоферов. Сунув книгу за козырек машины, он продолжает свою работу, совершая один за другим рейсы от экскаваторов, копающих котлован, до отвалов, куда сбрасывается вынутый грунт. Только изредка, когда какая-нибудь из предыдущих машин задерживается под погрузкой, шофер вынимает книгу — свою книгу, на переплете которой написано: «Юрий Пронин. Дневник гидростроевца»...

С тех пор он регулярно ведет записи. Успех книжки помог ему понять, как ценно и неповторимо все, свидетелем чего он сейчас является. Но этого мало. Теперь он понимает, что был слишком скуп в своих записях, слишком близко видел вокруг себя. Работая над продолжением дневника, он записывает уже не только дела своей бригады, но и все свои наблюдения над буднями стройки, над людьми, с которыми сводит его работа, над тем, как здесь, на лысых, облизанных ветром, пустых холмах, понемногу, подчас незаметно для глаза ежедневного наблюдателя, растет одно из чудес коммунистического строительства.

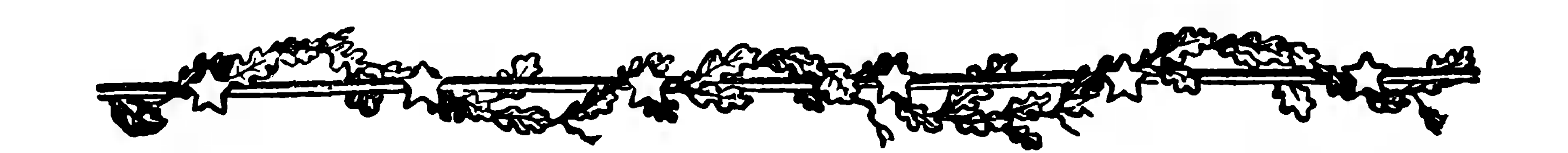
Очень богата жизнь Юрия Пронина, много у него интерес-

ных дел. Он руководит теперь комплексной бригадой машин, в которую входят два экскаватора «Уралец», мощные самосвалы, десятитонные «язы» и двадцатипятитонные «мазы», бульдозер, поливочная машина.

Но как ни занят Юрий Пронин всеми этими делами, какой тяжелый ни выдался бы ему день, как поздно ни возвратился бы он домой, — вернувшись, он обязательно раскрывает тетрадь дневника.

Так в ряду других больших дел этого энергичного гидростроевца рождается его новая книга.





ВКЛАД

С того самого дня, когда бригада Сетьстроя прибыла в эти знаменитые теперь края, Петр Синицын как-то сразу разочаровался в своей профессии.

Нет, «разочаровался» — не то слово. Все было сложнее...

Петр Синицын попрежнему любил свое нелегкое, опасное дело монтажника-верхолаза. Со стороны, издали, мачты высоковольтных электропередач кажутся легкими, ажурными, точно парящими в воздухе над простором степей или трудолюбиво шагающими гуськом через леса по широкой просеке, прорубленной для них. На самом деле это тяжелые, стальные сооружения. Поднять, установить и укрепить их на бетонных подушках, а потом на большой высоте подвесить к ним провода и грозозащитные тросы — дело нелегкое. Оно требует большой ловкости, сообразительности и умения, если надо, идти на разумный риск. Петр Синицын, трудовой путь которого начался в этой бригаде сетьстроевцев, сразу оценил живое дело, привык к нему, увлекся им и начал считать самым интересным и увлекательным из всех дел, какими занимаются люди. К тому же — что там говорить! — приятно сознавать, что ты прокладываешь свет, двигаешь культуру в далекие районы, в пустынные края, в степь, в тайгу.

Но вот стальные мачты зашагали по трассе стройки. С их вершины, с высоты птичьего полета, в погожие дни можно было видеть окрестности километров на пятнадцать-двадцать. Перед Петром Синицыным начали открываться картины больших, непонятных ему строительных работ, сменявшие одна другую. Среди изрытой, развороченной степи юный монтажник

видел в облаках пыли целые стада больших и сложных машин; машины эти казались ему сверху живыми существами, а маленькие люди, сидевшие в их кабинах и так умело управлявшие ими, — мозгом этих гигантов.

Все это было так необычайно, что всегда дисциплинированный монтажник, иной раз забыв работу, застывал, безмолвно и очарованно созерцая происходящее. Среди работающих на стройке было много его погодков, самых обыкновенных парней и девушек. И он с неудовольствием начал замечать, что завидует им, уверенно хозяйничающим на всех этих сооружениях, управляющим машинами и механизмами, по сравнению с которыми его собственный инструмент казался ему простым, как каменный топор. О стройке, которая поднималась над ископанной, взлохмаченной землей, каждый день писали в газетах. Вся страна следила за работой этих парней и девушек, а он, Петр Синицын, со своими товарищами продолжал ставить все одни и те же, похожие одна на другую мачты, тянуть бесконечные провода, совершенно одинаковые и в тайге, и в степи, и на трассе огромных строительств.

Вот тут-то Синицын и почувствовал, что начал к своей профессии охладевать. Видя, что это уже начинает отражаться и на работе, он однажды доверил тревожные свои мысли мастеру Захарову, который когда-то приобщил его к сложному делу верхового монтажа. Захаров, или, как все его называли, Захарыч, человек покладистый и даже осуждаемый начальством за мягкость и панибратство с подчиненными, с недоумением посмотрел на своего ученика, потом вдруг покраснел до испарины и пустил такую очередь соленых, дореволюционного качества, словечек, что Петр отскочил от него и поспешил убраться, не ожидая ответа по существу.

Но вечером, приняв от бригады работу, мастер сам подошел к Синицыну, взял его за плечо своей маленькой жесткой рукой и, посмотрев в сконфуженные глаза парня, сказал с упреком:

— Петька, профессия баловства не терпит!

Квартировали в ту пору монтажники в доме на окраине поселка. В большой комнате помещалось человек шесть. Мастер жил здесь же, в уголке, отгороженном одеялом. Ночью, когда все уже храпели на разные голоса, Синицын ворочался и не мог уснуть. Он уж принимался и считать до ста и обратно и пытался представить, как он, стоя наверху, на краю мачтовой балки, вдруг срывается и летит вниз; все эти неоднократно проверенные способы самоусыпления на этот раз не помогали. Сна не было. Разговор с мастером снова и снова приходил на ум.

Вдруг Петр услышал, как в углу скрипнула деревянная

кровать и кто-то на ощупь, осторожно обходя спящих, пробирается к нему.

— Маешься? — услышал он рядом с собой шопот Захарыча. — И мне что-то не спится... Вертелся, вертелся, аж бока болят... Очень ты меня, Петька, сегодня обидел!.. Я—што! Меня можешь какими хошь словами критиковать — выслушаю. Ты дело наше обидел. Профессия — она вещь святая! В нее, брат, верить надо.

Синицын молчал. Его поражало, как это мастер, из которого обычно слова не вытащишь, вдруг так разговорился.

— Вот ты толкуешь — машины. Верно, знаменитые машины, сам любуюсь. А разве в машине только дело? Главное в том, кто в ней сидит. Посади в нее дурака, он машину угробит и дела не сделает. А человек с умом — он и с простыми кусачками себя проявит. Вот ты в нашем деле усомнился, на стройку потянуло. Стройка — она, конечно... А вот не поставим мы вовремя на Волге мачты и упоры, не перекинем линию — всей стройке тормоз: машины встанут, питаться им нечем.

Мастер склонился к парню и горячо зашептал ему на ухо. Он был на совещании: предстоит работа огромной важности, невиданная, небывалая. Нужно подвесить между двумя береговыми упорами провода длиной в полтора километра. Да где подвесить! Метрах в ста над рекой. И когда? Теперь вот, срочно, до паводка, а то как раз левобережье без тока и оставишь.

— Слыхал? Вот и разумей, что такое верхолаз-монтажник! И помни, парень: не важно, на какой ты машине сидишь; важно, что ты умеешь, да ум, да сердце, да к делу любовь. А если все это есть, будь ты хоть перевозчиком на пароме, придет твой час — проявишься, и народ тебе свое спасибо скажет...

Ночной этот разговор, тихие жаркие слова мастера припомнил Петр Синицын некоторое время спустя, когда над рекой на обоих берегах уже возвышались огромные ажурные мачты, уходящие в синеву неба, а на них, слегка провисая над стремниной, протягивались толстые, впрочем едва различимые снизу, провода. Небывалая в истории техники задача была уже решена, решена умно, смело, во-время. Но вот за день до того, как по проводам этим должен был пойти ток, контролеры выяснили, что над серединой реки на одной из фаз произошел обрыв жилы провода.

Страшное это было открытие. Опускать провод вниз нельзя: на реке уже началось судоходство. Задержать сдачу линии невозможно: механизмы стройки, все эти многочисленные земснаряды, экскаваторы, уже заняли исходные позиции, ждут тока. Оставалось одно: найти человека, и не просто человека, а отличного мастера, который взялся бы по проводам, висящим бо-

лее чем в ста метрах над уровнем реки, добраться до места обрыва и там, качаясь над бездной, наложить бандаж. Такой работы никому еще из монтажников Сетьстроя производить не доводилось, да и вряд ли вообще доводилось делать что-нибудь подобное хотя бы одному верхолазу в мире.

Как когда-то на фронте на опасное, героическое дело вызывали обычно охотника, так и здесь инженер, собрав лучших монтажников, спросил, не возьмется ли кто-нибудь из них добровольно совершить этот трудный и опасный подвиг.

Наступило молчание. Монтажники, загораживаясь ладонями от солнца, смотрели на провисший, покачивающийся над водой провод, стараясь разглядеть на нем роковой обрыв. Призматический бинокль переходил из рук в руки. Через его сильные линзы можно было даже рассмотреть завитки оборвавшейся жилы. И люди стояли в тягостном молчании, прикидывая в уме свои силы и расстояние, которое нужно карабкаться по проводу, высоко над бездной. Каждый мысленно совершал этот опасный путь, и каждый чувствовал, как от одних только мыслей об этом начинает учащенно биться сердце и дыхание становится прерывистым.

Петр Синицын тоже был тут. Когда инженер вызвал охотника, он вдруг вспомнил, как Захарыч говорил ему ночью, что в каждой профессии настает час, когда человек может проявить свои способности; и еще подумал он, что стройка, на которую его так тянуло, может остаться без тока. Эти мысли разом мелькнули у него в голове, и прежде чем даже созрело окончательно взвешенное решение, он приблизился к инженеру и торопливо сказал:

— Я полезу. — Потом ревниво взглянул на остальных монтажников и прибавил, уже оспаривая свое право на риск: — Я полезу, я наложу бандаж!

Сердце его колотилось так, что он даже испугался, как бы этого не услышал начальник, решавший его судьбу. Он даже попятился от инженера. Вызвались и еще охотники. Инженер неторопливо всматривался в их загорелые лица, видневшиеся из-под кепок.

Инженеру предстояло принять решение, от которого зависела не только своевременная подача тока строительству, но, может быть, и человеческая жизнь; взгляд его остановился на взволнованном юном лице, на котором даже под густым загаром угадывался возбужденный румянец.

— Пойдет Синицын, — сказал инженер как можно спокойнее. И отдал распоряжение принять все меры безопасности.

Обычно думают, что верхолаз — человек, лишенный ощущения пропасти, этого могущественнейшего чувства, возникаю-

щего и укореняющегося в человеке в те моменты, когда он младенцем делает свои первые шаги по земле. Нет, тягостное это чувство живет даже в самых опытных высотниках, и только воля обуздывает его, позволяя трудиться где-нибудь на шпиле высотного дома с тем же расчетливым мастерством, как на твердой земле. Верхолаз, знающий, что такое высота, и научившийся хладнокровно на ней работать, стоя на земле не может без волнения наблюдать своего товарища, находящегося наверху.

И сейчас, когда Петр Синицын с инструментальной сумкой через плечо проворно карабкался на вершину стальной мачты, о которую, как казалось снизу, распарывали свои груди сырые весенние облака, за ним с волнением следили его товарищи. На их глазах Петр становился все меньше и меньше. Вот уже не стало видно его лица. Только силуэт его фигуры то стушевывается, то проясняется среди грязноватых торопливых тучек.

— И ветер еще, чтоб его!.. — сказал кто-то из наблюдавших за ним верхолазов.

— И сырость... Провод-то, он теперь скользкий, — добавил другой.

— Тише вы! — простонал Захарыч, не отрывая глаз от маленькой фигурки, как будто этот тихий шопот людей на земле мог отвлечь, рассеять внимание того, кто там, наверху, оторвавшись от железных ферм мачты, медленно, очень медленно начал двигаться по проводу, качавшемуся над пропастью...

— Пошел!.. А провод-то, провод-то как парусит!

— Не каркать! — рычит Захарыч, а сам шепчет чуть слышно: — Осторожней, осторожней! Перехватывайся, отдыхай...

Большая река живет между тем своей обычной жизнью. Маленький шустрый буксирчик тянет за собой баржи с тёсом. Катер волочит огромную барку-паром, палуба ее сплошь покрыта людьми и машинами. Белоснежный большой теплоход плывет величественно, как лебедь. Маленький человечек, медленно перемещающийся там, наверху, на раздуваемых ветром проводах, с земли еле виден, но его уже заметили отовсюду, взоры сотен людей устремлены к нему...

Мастеру Захарову, которому самому приходилось так вот ремонтировать провода, хотя, конечно, не на такой высоте и не при таких невероятных обстоятельствах, начинает казаться, что все эти взоры, тарахтенье катерного мотора, гудки пароходов как-то мешают тому, кто, вися над пропастью, медленно, но неуклонно движется к месту обрыва.

— Петруха... Петя... Петенька, осторожней, осторожней! — шепчет он, и когда кто-то из монтажников прикладывает к

глазам бинокль, он смаху его вырывает: — Не смей! Не в цирке!..

Инженер, который дал Синицыну разрешение, уловив конец фразы, думает: «В цирке! Что стоит самый сложный цирковой номер, в сотый раз повторяемый на ограниченной высоте, над распростертой сеткой, по сравнению с тем, на что сейчас добровольно вызвался вот этот парень, колеблющийся над бездной! Сто четырнадцать метров над уровнем воды!» Математический мозг инженера сам собой производит расчет: скорость падения в первую, во вторую, в третью секунду... Боже, какая страшная скорость! И все-таки нужно послать туда катер. Под провода, на всякий случай... Хотя какой может быть случай! Удар об воду — и...

— К катеру! — командует он.

Взревев мотором, катер стремительно отрывается от причала и, точно привязанный, начинает кружить по реке под проводом. В нем — инженер, мастер Захаров и водитель, вихрастый паренек в тельняшке. Он так бледен, что слой загара кажется на его лице зеленоватым, а веснушки черными.

Захаров ложится на корме, чтобы не терять своего ученика из виду.

— Да не трещи ты мотором, чорт конопатый! — зловеще шепчет он мотористу. — Не тещу катаешь! Ходи на малом газу...

Всем своим существом, взором, мыслями мастер находится с тем, кто, продвигаясь метр за метром, уже почти достиг середины реки. Самое горячее его желание сейчас — быть наверху, рядом с учеником, и только большой опыт, говорящий, что в верхолазном деле там, где достаточно одного, двоим нечего делать, да самодисциплина высотника мешают ему просить у инженера позволения лезть на помощь Петру...

А Петр Синицын между тем уже добрался до места обрыва жилы.

Вначале, когда он поднялся на вершину гудящей, ощутительно вибрирующей под ударами ветра мачты и перед ним протянулись провода и тросы, которые, как это было видно отсюда, будто плавали вперед и назад, ему стало страшно до дрожи в ногах. Высотник с первых же своих трудовых шагов, он научился справляться с этим тягучим, томительным чувством, которое охватывает человека, когда он находится на краю пропасти. Синицын никогда без нужды не смотрел вниз и приучил себя воспринимать все окружающее его на высоте как бы лежащим на земной поверхности.

Но тут не было твердой опоры для ног и рук. Тросы, по которым предстояло двигаться, раскачивались и как бы стре-

мились выскользнуть из-под него. Щемящий холодок страха, рожденный где-то под ложечкой, быстро сковал все мускулы. Руки и ноги потеряли обычную эластичность, стали неповоротливыми. И, может быть впервые за всю свою работу, верхолаз почувствовал каждой точкой своего тела, как вздрагивает и раскачивается верхушка мачты.

Что же, слезать назад? Он хотел смерить взволнованным взглядом расстояние, отделяющее его от земли, посмотрел вниз. Перед глазами развернулась стройка, отлично видная сверху. Широко простираясь в излучине реки, она вся курилась дымами многих труб, куталась в облака пыли. Словно пловучие дома, стояли на рейде землесосные снаряды, за ними тянулись похожие на огромные сосиски пловучие пульповоды. У опоясанного причалами мола теснились суда, краны неутомимо снимали с барж фасонное железо, стальные фермы, пачки теса, бревен, мешки с цементом и вновь металл, и вновь бревна...

Вся окрестность до самого горизонта кипела трудом.

Что же, слезать?

Сотни людей смотрели в эту минуту на Петра Синицына — с берегов, с пароходов, с парома, — но он этого не замечал. Зато он знал, что сейчас на него, простого комсомольца, смотрит вся эта стройка, где он мечтал работать все эти последние месяцы.

Слезать назад?.. Да как это могло прийти в голову! Вперед, только вперед!..

Цепким, пружинистым движением Петр Синицын соскользнул на провод и, радостно — да, именно радостно! — ощущая, как вновь становится эластичным все его тело, а руки обретают цепкость, двинулся по нему. Сомнения, опасения, колебания сразу остались позади. Мысль, воля, энергия — все сосредоточилось на одном твердом решении: добраться до обрыва, наложить бандаж.

Карабкаясь по раскачивающемуся проводу, Петр уже ни о чем не думал, кроме того, как бы сделать свои движения более точными; он ничего не видел, кроме своей парусящей опоры, то обнимаемой сырым туманом, то вырисовывающейся с необыкновенной четкостью. И все в нем соединилось в стремлении не поскользнуться, сохранить равновесие, добраться, починить. Он не смотрел вниз, не думал об опасности, он двигался расчетливо, сантиметр за сантиметром карабкаясь там, где, казалось бы, не смогла пройти и кошка.

И очень странно, это удивило даже его самого: он не заметил, как добрался до места. Вот он, проклятый обрыв. Провод второй фазы, завитки оборвавшейся жилы... И почему она,

чорт ее подери, все-таки оборвалась тут, над рекой? Может быть, проглядели и подняли провод с дефектом? Нет, место обрыва еще золотится крупичатым изломом — ясно, что жила лопнула, когда провод уже висел. Впрочем, теперь уже все равно — надо чинить, скорее чинить!

Петр Синицын медленно раскачивается над бездной. Но руки его уверенно накладывают бандаж. Работа пустяковая сама по себе, но сделай ее вот тут, на проводе, который все время качается! И еще этот проклятый ветер — он то стихает, то неожиданно бьет с упругой силой, будто прячется, а потом выскакивает на тебя исподтишка, стараясь столкнуть вниз.

— Нет, шалишь, не выйдет! — цедит сквозь зубы Петр, а руки его работают и работают.

И вот все окончено. Можно возвращаться назад. Но происходит событие, которое сразу меняет все. Из рук выскальзывают плоскогубцы. Переворачиваясь в воздухе, нехитрый этот инструмент медленно, как это кажется сверху, падает вниз. Глаза монтера невольно провожают его до того мгновения, пока, пробив волну, плоскогубцы не скрываются под водой.

Впервые после того, как Петр Синицын оторвался от стальных креплений мачты, он отчетливо видит под собой желтоватую взлохмаченную реку, кое-где просвечивающую янтарными клиньями мелей. Белые барашки гуляют по воде, чайки кружат где-то внизу, и маленький катер, на котором монтажник различает и инженера и мастера, вертится внизу.

Петр видит даже, как Захарыч, сложив руки рупором, должно быть что-то кричит. А тут, рядом, покачиваясь, гудят под ветром провода и тросы. Глядя на них, верхолаз снова, как было там, на мачте, каждой клеткой своего тела, сразу покрывшегося испариной, ощущает и страшную высоту, и неустойчивость парусящих проводов, и злую силу ветра.

Сразу же появляется головокружение. Руки, потеряв веру в свою силу, вцепляются в провод и начинают противно дрожать. Все точно расплывается. Медленно теряя равновесие, Петр, судорожно взмахнув рукой, неудержимо валится со своей зыбкой опоры в серую шевелящуюся бездну...

— А-а-ах!

Этот неопределенный крик вырывается одновременно и у мастера, который лежит, смотря вверх, на корме катера, и у инженера, и у монтажников, наблюдающих с берега за работой товарища, и у многочисленных пассажиров парома, идущего от стройки в обратный рейс, — у всех, кто видит в этот момент Петра Синицына...

Петр сорвался с провода. Но через мгновение его уви-

дели повисшим на цепи монтерского пояса, пристегнутой к проводу. Верхолазы бросились к мачте, карабкаются вверх. Катер кружит по воде под тем местом, где на головокружительной высоте беспомощно висит раскачиваемый ветром человек.

Кровь медленно течет по подбородку инженера, от волнения прокусившего себе губу. Мастер снова приложил руки ко рту и во всю мощь своих легких кричит:

— Петь, Петь! Не болтайся... виси покойно... Отдыхай, Петя, отдыхай, копи силы! Слышь? Силы копи!

На мгновение руки мастера бессильно опускаются, он растерянно смотрит на инженера:

— Не слышит — ветер, волна... Да не трещи ты мотором, окаянная сила! Глуши свой паршивый примус!

И, снова приложив руки ко рту, Захаров кричит до хрипа, до красных кругов в глазах, до дрожи во всем теле:

— Петя, виси, виси! Накопишь силы — раскачивайся, цепляйся ногами за провод, Петя! — И вдруг, оборачиваясь к инженеру, он удовлетворенно хрипит окончательно сорванным голосом: — Услышал...

Но Петр Синицын не услышал ничего.

Оправившись от падения, он перевел дыхание и понял, что цепь и пояс, которыми он иногда на работе пренебрегал, спасли его. Теперь он знал, что в реку не упадет. Это сразу дало возможность обдумать положение.

Не может быть, чтобы не было выхода! Не висеть же вот так над рекой на цепи, как бы крепка она ни была! Ведь вот дополз же он — и бандаж наложен, и дефект устранен, и ток давать можно.

Эти мысли окончательно привели его в себя. Но как же быть? Если он будет так вот висеть, начнут опускать провод. Обязательно опустят! Вон уже и сейчас лезут на мачту... Огромная работа... А главное, поднять провод снова смогут не скоро, на это нужны недели. Как же, как же быть?

Он не слышал, что кричал ему с катера мастер Захаров. Ветер уносил все, что тот силился сообщить ученику. Но недаром мастер славился умением учить молодых: Петр сам сообразил, что нужно делать.

На несколько томительных минут он затих, вися над бездной в полном покое, если, конечно, можно говорить о покое в его положении. Копил силы. Отдохнув, принялся раскачиваться на цепи. Он раскачивался все шире и шире... Вот нога его уже коснулась провода. Еще, еще! Ах, как кружится голова!.. Еще немного... Провод неясно мелькает рядом... Верхолаз весь напрягся, сжался в комок и, разжавшись, зацепился за провод сплетенными ногами.

Теперь он перестал быть игрушкой ветра. Он может сознательно управлять своими движениями. Это уже хорошо. Еще некоторое время он отдыхал, вися вниз головой. Теперь он даже не боится, он уверен в себе. Провод не придется опускать. Перехватываясь руками по цепочке, которая спасла его, он дотягивается до провода. Рывок — и он уже снова на проводе.

Нет, он не слышал восторженных криков, прокатившихся по реке. Он ничего не видит и не слышит: он отдыхает, выключив все органы чувств, экономя каждое движение.

Потом, собрав силы, уже уверенно, балансируя, цепко перехватываясь руками, он движется обратно к стальной мачте...

Те, кто внимательно следит за ним снизу, поражаются тому, как быстро он на этот раз проходит расстояние до твердой опоры. Ему же, наоборот, путь его кажется мучительно медленным, и каждое свое перемещение он отмечает, как маленькую победу.

Петр очень устал. Порой он движется как бы механически, но движется, движется... Воля и вера в себя, только что выдержавшие такую проверку, безошибочно ведут его. Вот рука касается наконец металла мачты. Все чувства, приглушенные усталостью, вспыхивают с новой силой. Радость распирает грудь; кажется, будто и сердцу становится тесно.

Это не только радость спасения — нет, это радость неизмеримо бóльшая.

«И моя копеечка не щербата», — удовлетворенно цедит он сквозь зубы любимую поговорку Захарыча, слезая с мачты.

Впрочем, когда на земле Петра Синицына обступают обрадованные монтажники, ликующий инженер и мастер Захаров, глядящий теперь на него не с обычной своей снисходительностью, а с почтением, когда все наперебой начинают его хвалить, поздравлять, он только хрипло, с трудом произносит:

— Попить бы, а? Водички бы холодненькой... Дайте попить!





СОН

В знойный летний день я шел по плотине, подпиравшей большое водохранилище.

Плотина эта как бы разрубала пейзаж на две равные части, полные самых вопиющих противоречий. Справа от нее далеко, пока доставал глаз, зыбилась на солнце зеленоватая прозрачная волна, чуть подпушенная нежнобелыми барашками. Слева, тоже до самого горизонта, простиралась степь. Она лежала ниже воды, и на ее ровном, тусклозеленом фоне то здесь, то там желтели незажившие рваные раны, нанесенные ковшами скреперов.

Над водой кружили чайки, то падая, то вздымаясь в ветровом потоке; вдали, подпрыгивая на волне, плавала пара чирков. Вода разливалась так широко и привольно, что, глядя на нее, невольно думалось, что озеро это вечно плескалось здесь, отражая в своих водах неутомимо сиявшее солнце. Но стоило взглянуть в другую сторону, как сразу становилось ясно, что и волны, и чайки, и чирки появились здесь совсем недавно, и появились не сами, а приведены созидательной волей человека.

Даже воздух — и тот здесь противоречив. Он был влажен и свеж, как всегда бывает у озер и морей. Но вместо сырости водорослей он отдавал терпкими ароматами полыни, чебреца и других степных трав, растущих обычно на сухой, потрескавшейся, бедной влагой земле.

Плотина была совершенно пустынна. Белые легкие башни насосной станции, поднимавшиеся над ней в зыбком полуденном мареве, казалось, плавали в мираже. Лишь возле бетонного водослива на откосе, у самой воды, темнела неподвижная человеческая фигура. Приблизившись, я рассмотрел молодого

плечистого парня с кудрявой меднорыжей головой. Охватив руками колени, он следил за тем, как с аппетитным нарзанным шипеньем накатывали на берег одна за другой маленькие волны.

Возле него лежали туго набитый и аккуратно завязанный брезентовый вещевой мешок, из тех, какие солдаты звали на фронте «сидорами», потертый ящик патефона и новенькая, совсе́м еще не обмятая шляпа из дорогого бархатистого фетра.

— Рыбу ловите?

Парень с неохотой оторвал от воды взгляд больших белесых глаз, замкнуто смотревших из-за светлых ресниц.

— Кто это позволит ее здесь ловить, рыбу? Тут рыбу разводят, — сказал он; помолчал и точно для себя добавил: — Прощаюсь... Уезжаю вот, машину жду. Застряла где-то окаянная машина, чорт бы ее побрал!

Он не очень располагал к себе, этот хмуроватый плечистый рыжий человек. Но я тоже ждал машину, которая вот-вот должна была появиться на степной дороге, и потому присел возле него на каменную облицовку откоса, нагретую солнцем.

— На новую стройку переезжаете?

— Зачем? К себе, в МТС. Срок мой истек. Хлеба́-то — вон они какие, скоро убирать... Комбайнер я, понятно?

— Ну, а сюда сооружения поглядеть приезжали?

— Зачем? Тоже, нашли экскурсанта! Работал здесь на монтаже, в бригаде товарища... Да что я вам называть буду! Все равно, видать, не здешний, наших людей не знаете.

— Как же так? Комбайнер и монтажник — очень уж разные профессии.

— А вот так, как есть. Для человека с головой ни одно дело не закрыто. Была бы башка на плечах да охота — всему научиться можно. У нас вон в монтажной бригаде даже бывший парикмахер был. А я комбайнер. Тут металл, там металл; тут механика, там механика... Мне легко. — Чесанув пятерней медные свои кудри и озорновато блеснув белесым глазом, он добавил, усмехаясь: — У нас в эмтеэсе тоже вот нашлись такие-то: куда ты, мол, поедешь от своего комбайна, какой от тебя там прок... ну и прочее разное, в этом роде. Тут, мол, тебе и слава, и почет, и трудодни, и девки с ума сходят, а там затеряешься, как иголка в стогу. Сиди, мол, дома, чего тебе тут не хватает... А я вот не затерялся!

— Не хотели из МТС отпускать?

— А как же! Я у них там на всю зону самый что ни на есть передовой. Я им человек во как, по зарез нужный! Ну они за меня и взялись — и миром, и лихом, и уговором, и угрозой: не пустим, и всё. И без тебя строителей хватит, рыжих твоих вихров там не видали! А я, вполне конкретно, уперся — и ни в

какую. Мне эта стройка так в сердце въелась... Уйду — и всё! Жить не стану, коли на ней всласть не работну... Отговаривали меня наши эмтеэсовские, отговаривали, можно сказать, целым общим собранием; потом директор не устоял, плюнул: «Шут с тобой! Хлеб уберешь — и катись! Отпускаю до будущего урожая».

Ну он-то разрешил — это ладно, а ребята, товарищи-то мои, комбайнеры, трактористы, эти — нет. Эти так: «От ремонта бежишь! Неохота с ключом под машиной лежать, пенкоед».

А один бригадир наш, Василий Парфеныч, — этот и вовсе чорт-те что заподозрил. Стал я прощаться, а он свои руки назад: «И руки тебе, говорит, не дам, и доброго пути не хочу желать тому, кто от родного дела да за длинным рублем пускается».

Длинный рубль! А у меня вон еще позапрошлогодний хлеб лежит, на трудодни полученный. На базар тащить вроде совестно, съесть — не съешь, много. Девать некуда... И ладно бы, какой-нибудь там барабошка это сказал, а ведь нет — старый партиец. Да и хоть бы один на один, а то при всей мастерской, и нарядчица наша Надя тут была. Так мне от этих слов его обидно стало! «Ладно, говорю, ребята! Вот будущим летом к вам вернусь, море за собой в степи наши приведу — станете у меня прощенья просить, не прощу вам таких слов!» Дверью — бац! — и в путь...

Парень сидел, покусывая травинку. Он смотрел не в мою сторону, а куда-то вдаль, где зеленоватая вода сливалась с таким же серо-зеленым небом. Должно быть, он испытывал сейчас ту неудержимую страсть все рассказать незнакомому человеку, то властное желание с кем-то поделиться пережитым, какое приходит в иную минуту к самым замкнутым людям.

— Н-да... А ведь скажу вам по совести — чуть не сбежал с канала обратно. Да-да, вы что думаете! Это ведь в газетах читать легко, а работать тут не всякому по разуму. Я у себя и комбайнер хороший и в слесарной не последний человек, но то эмтеэсовская мастерская, а тут вон оно все какое! Вверх взглянешь — шапка валится. И комбайн наш — степной дредноут, как у нас в районной газете один все пишет, — он, если его со всем этим посравнять, букашка не букашка, а так, жучок! И обратно — работа. Это ведь я так брехонул, что, мол, монтажник и комбайнер чуть что не соседи: там металл, тут металл... Как же, держи карман шире! Металл-то металл, а габариты разные, все равно что хедер и серп...

Ну, в отделе кадров меня легко оформили, когда я им все свои грамоты вывалил. Благословили меня как человека, с механикой знакомого, прямо — на монтаж в бригаду к одному

тут дяде, украинцу, известному человеку, который еще за Днепрострой орден Ленина имеет. Вот с орденоносцем-то с этим у меня и началось. Мастерище он, верно, знаменитый, такого другого, может, и вовсе нет, но характер у него, авторитетно вам заявляю, прямо автогенный: чуть что — взрыв! А главное, всё ему на свете просто, и никак он в толк не хочет взять, что люди-то разные, по-разному, в разные сроки понятия к ним приходят. И еще он, вроде меня, стройками болеет. Страшно он переживал, когда кто чего не так сделает! Так бывало, как котенка, носом и ткнет!

Ну я терпел, терпел, да и не стерпел — схватился с ним. Говорю: «Если у тебя орден, так тебе и задаваться можно?» У меня, мол, у самого Трудовое Знамя, только я его, мол, из скромности не ношу; я, мол, лучший комбайнер в районе и орать на себя не позволю. Как он взовьется! «Ты, говорит, такой-сякой, где — на Волго-Доне на монтаже или в артели «Напрасный труд» примусные иголки чинишь? Тебе, кричит, доверие оказали, взяли сюда, а ты мне бригаду разлагать?» И прямо ляпает мне: «Демагог»... «Хочешь, говорит, дальше работать, слушайся, учись! День учись, ночь учись, без отдыха и срока, и характер, говорит, свой спрячь подальше. С рыжим волосом тебя в бригаде своей стерплю, а с рыжим характером мне не надо».

Решил я в тот же день уходить. А что? Действительно, каково тебе, когда после почета да этак-то с тобой разговаривают? Так меня потянуло назад в МТС, будто лучшего места и нет на свете. Думал-думал ночью — и так нехорошо, и так неладно, и решил: не иначе, мне на следующее утро идти к прорабу насчет увольнения. С тем и уснул.

И понимаете ли, дело какое! Сплю я и вижу во сне: являюсь будто бы к себе в мастерскую, явно так всех вижу — и Василия Парфеныча, и Надю-нарядчицу, и всех наших ребят. Вхожу я и говорю: «Здравствуйте, хлопцы! По всему видать, у вас тут без меня запарка, вот я на помощь к вам и прибыл...» И вижу, никто со мной не здоровается и все будто смотрят куда-то не на меня, а мне за спину. Оглянулся — позади дверь открыта, за дверью степь, снега синеют. Спрашиваю: «В чем дело, куда смотрите?» А Василий Парфеныч будто спрашивает меня: «А где же море, что ж ты его к нам не привел? Кишка тонка — не выдержала...» И все смеются, а Надя-нарядчица пуще всех. И такой у нее смех обидный, будто она меня иголками язвит...

Проснулся я в испарине, точно с банного полка́ свалился. Ведь пригрезится же такое! А главное, дальше так глаз и не закрыл.

Ну, а на следующее утро нашел я бригадира своего знаменитого, отвел его в сторону, извинился за вчерашнее, обещал рыжий мой характер не обнаруживать и учиться всему, что он укажет. «Хоть за электродами, говорю, в кладовку бегать, а только в бригаде оставь». Оставил — и не зря: не жалел потом. Хвалиться не стану: в первой пятерке среди монтажников был; как где что заест, бригадир туда — меня: исправляй, раскумекивай... Там вон у шлюза и сейчас на почетной доске физиономия моя красуется. Да дело и не в том — не впервой мне на почетной-то доске сидеть. Главное, что со стройки к себе в МТС возвращусь с таким багажом, что этот-то багаж перед ним тьфу! — Он пренебрежительно плюнул в сторону туго набитого своего вещевого мешка. — Длинный рубль! Я вернусь, покажу им длинный рубль! Будут знать, как над человеком смеяться: ха-ха, хи-хи! Я им одних благодарностей четыре штуки выложу да телеграмму министра, где мое имя помянуто с положительной стороны... Длинный рубль! У нас, у комбайнеров, он, может быть, и подлиннее, да разве тут в заработке дело!

Где-то внизу на дороге гудела сирена. Запыленная полуторка сигналила явно моему собеседнику, но тот разговорился и будто не слышал ее. Тогда шофер, должно быть обиженный таким невниманием, дал протяжный гудок.

— Чорт! Аккумуляторы посадит... Слышу, слышу! Соскучились...

Сильным рывком собеседник мой взвалил за спину мешок, подхватил патефон и на самый затылок насадил свою роскошную бархатистую шляпу.

— А море? — напомнил ему я.

— Море?.. Вон они, мои моря! И это, и другое, и третье. Море меня опередило. В газетах читал, будто в наш район не отсюда, а из самого Цимлянского вода по оросительному еще весной прошла! Не с пустыми руками возвращаюсь!.. Ну, бывайте здоровы!

Пружинистым шагом сбежал он с высокого откоса туда, вниз, где стояла полуторка.

У береговой кромки, где давеча сидел монтажник-комбайнер, остались следы его тяжелых, подкованных сапог. Зеленоватые волны, набегая, казалось стремились их смыть, но не могли до них доплеснуться.

И я подумал, что не только волны, но и время бессильно сгладить следы таких людей.





РУКИ

По закопченному заводскому двору, затянутому густыми, тяжелыми дымами, торопливо двигалась небольшая и ничем особенно не примечательная группа людей. Рабочий день на «Красном Чепеле», как тогда назывался крупнейший в Венгрии машиностроительный комбинат, был в разгаре. Меж цехов по асфальтовым дорожкам взад и вперед сновали вереницы автокаров, груженных деталями. Тракторы, тарахтя, тащили повозки с позвякивающими пучками сортового железа. Пронзительно звенели сигнальные колокола трансбордеров, костлявые руки электрокранов неторопливо поднимали стальные чушки и бережно опускали их на платформы узкоколейного поезда.

В этой сутолоке машин и механизмов люди, спешившие по заводскому двору, почти терялись. Их попросту было трудно заметить. И всё же рабочие, как-то прослышав об их приближении, выбегали из ворот цехов и, толпясь возле них, приветствовали проходящих, подбрасывая шляпы, береты, каскетки. Они выкрикивали немногие известные им русские слова: «Москва! Советы! Сталин!»

Небольшой худощавый человек в черной шляпе, застенчиво улыбаясь, приветливо помахивал в ответ рукой. Он был явно сконфужен таким приемом, поэтому торопился, и сопровождавшие его люди едва поспевали за ним.

Но весть о госте из далекой Москвы, облетая цехи комбината, опережала его. Во дворе становилось все люднее, все больше рабочих высыпало навстречу, приветствия звучали все громче. Так, под шумные рукоплескания, сопровождаемый уже целой толпой, московский токарь Павел Борисович Быков и вошел в цех, где, как ему сказали, ждал его один из видных тружеников народной Венгрии — Муска Имре.

Это был небольшой человек в стареньком, но чистом комбинезоне, с живым лицом и маленькими прищуренными глазками. Быкову он сразу понравился. Он любил таких вот, как он выражался, «моторных» людей, не теряющихся ни при каких обстоятельствах.

Знаменитые токари познакомились, тряхнули друг другу руку; потом Муска заявил, что приветствует московского собрата по профессии, как ученик учителя. Он сказал, что, используя опыт Быкова, о котором узнал из газет, он выполняет теперь в день по три-четыре нормы. Он просил москвича передать благодарность стахановцам советской земли, подвиги которых вдохновляют венгерских тружеников.

Пока всё это переводили, Павел Борисович, продолжая улыбаться, цепким глазом осмотрел станок, на котором работал Муска, оценил приспособления, которыми тот пользовался, будто бы невзначай пощупал рукой резец и установил для себя, что передовой человек этого первоклассного в Европе завода имеет хороший станок, а резцы и приспособления у него такие, какие в Москве употреблялись еще на заре стахановского движения.

Тем временем их окружила большая толпа. Все ближнее крыло цеха прекратило работу. Станки утонули в шевелящейся массе блуз, кепок, каскеток, беретов и шляп. Кое-кто уже забрался и на станины. Таким образом, вокруг рабочего места Муски как бы образовался амфитеатр.

Тут были рабочие в заскорузлых, просмоленных комбинезонах, техники и инженеры. Все с нетерпением смотрели на Павла Борисовича. Толпа тихо, но возбужденно шумела, ожидая, когда гость заговорит. А москвич стоял среди них спокойный и сосредоточенный, с улыбкой в уголках губ. Пока что он сам смотрел и слушал.

— Какая у здешних токарей скорость резания? — неожиданно спросил он.

— У лучших? Она достигает шестидесяти метров в минуту. Товарищ Муска у нас рекордсмен, он довел до ста метров, — ответил инженер, директор токарного цеха, и, в свою очередь, поинтересовался: — А у вас?

Теперь можно было начинать разговор.

— Скоростники на нашем заводе дают обычно шестьсот-семьсот метров. Моя рабочая скорость — тысяча, — ответил Павел Борисович.

Переводчик передал его слова в толпу, и в ответ послышался такой шумок, что директор цеха, стоявший возле гостя, тревожно покосился на окружающих. Павел Борисович не понял, конечно, восклицаний, раздававшихся на незнакомом

языке, но в самом тоне их он уловил и восхищение, и удивление, и недоверие. Приметил он также, что в узких глазах Муски Имре вспыхнули восторженные огоньки. Это обрадовало токаря. Он улыбнулся, как может только улыбаться человек широкой, открытой души.

— Это еще что! — сказал он, переходя с официального тона на обычный, каким он говорил дома, в родном цехе, в кругу товарищей, пришедших посмотреть на его работу. — Это еще цветочки, а вот недели три назад... да как раз перед отъездом сюда, в Венгрию... довелось мне, товарищи, испытывать новый станок. Пробу я ему делал. Вот это я вам скажу — станочек! Я на нем довел скорость до тысячи ста, а потом до тысячи трехсот пятидесяти метров в минуту. И без всякого напряжения.

Переводчик, заводской человек, научившийся языку у нас в лагере военнопленных, вопросительно посмотрел на токаря. Он знал технику скоростного резания металла, и ему подумалось, что московский гость обмолвился или что он, переводчик, не так понял его.

— Сколь скоро? Пожалуйста, прошу назвать последний цифр...

— Тысяча триста пятьдесят, — раздельно сказал Павел Борисович тем тоном, каким учитель произносит слова диктанта.

Переводчик покорно сообщил эту цифру. Узкие глаза Муски Имре вспыхнули еще восторженнее. Но шум, который снова прошел по толпе, на этот раз был уже другой. Одобрительных нот в нем почти уже не звучало. Быков уловил удивление, недоверие.

Его не понимают. Что ж, он не первый раз за границей, он уже знает, что как бы хорошо люди ни относились к его стране, как бы радостно ни воспринимали рассказы о ее достижениях, им все-таки трудно понять все то необычное, великое, что рождает в себе мир строящегося коммунизма. И, не обращая внимания на явную настороженность аудитории, он принялся неторопливо разъяснять методы своей работы, рассказывать обо всем, что позволило ему достичь столь поразивших всех результатов в скоростном резании.

Павлу Борисовичу не раз доводилось читать лекции в высших учебных заведениях и однажды даже делать доклад в научно-исследовательском институте. Он уверенно излагал тему. Говоря о любимых вещах, он увлекался и едва сдерживал себя, чтобы давать время на перевод.

И тут он заметил старого человека в чисто выстиранном, даже отглаженном комбинезоне и с беретом на голове. Этот незнакомый человек почему-то сразу привлек его внимание.

Что ему надо? Почему он с таким недоверием смотрит на руки московского гостя? Почему так насторожены мутноватые старческие глаза, которые изучающе и недружелюбно сверкают из-под седых бровей? А главное, почему он смотрит не в лицо, а на руки — да, именно на руки Павла Борисовича?

В одну из пауз, когда слова токаря переводились на венгерский язык, старик шагнул вперед и взял гостя за руку.

— Что вы хотите? — спросил Павел Борисович, слегка даже отпрянув от неожиданности.

Старик твердил какой-то вопрос. Смущенный переводчик смолк. Рабочие сердито шикали. Кто-то из задних рядов потянул старика за рукав. Директор цеха тоже пытался отвести его в сторону. Но старик стоял крепко, расставив свои толстые ноги, упрямо вновь и вновь повторяя те же слова.

— Да переведите же! Что он хочет? — спросил Павел Борисович.

По тому, как застеснялись окружающие, он почувствовал, что сейчас вот произойдет самое важное в этом его дружеском визите на венгерский завод.

— Он просит вас показать всем свои руки, — пробормотал смущенный переводчик.

Не отдавая себе отчета, что означает эта необыкновенная просьба, токарь понял только, что старый венгр в отглаженном комбинезоне не верит его словам. Дальше получилось все как-то само собой. Токарь сбросил пальто. Он спросил у Муски халат и достал из кармана брюк свой резец, который привез, чтобы показать его на венгерских заводах. Поставить резец на станок — дело нескольких минут. Укрепляя резец, Павел Борисович сердито бормотал, что рассказывать больше он не станет, а будет наглядно демонстрировать, как работают советские токари-скоростники.

Наладка станка — дело затяжное, но пока он возился на рабочем месте Муски Имре, вся окружающая его толпа точно застыла. Люди следили за быстрыми движениями рук, будто это были руки фокусника. Потом Павел Борисович выпрямился, вытер со лба пот и попросил увеличить число оборотов с трехсот до семисот.

— До семисот? — переспросил директор цеха, который уже несколько раз безуспешно пытался замять инцидент.

— Для начала попрошу до семисот.

— До семисот, до семисот! — прошелестело по толпе.

Старый человек в комбинезоне стоял впереди других; он еще недоверчиво, но уже смущенно следил за тем, как руки русского точно, с проворством несомненного мастера, орудовали у станка.

Между тем весть о том, что знаменитый советский токарь будет показывать свои методы, уже облетела цех. Толпа вокруг станка увеличивалась, уплотнялась. Семьсот оборотов! Это было неслыханно даже на этом первоклассном венгерском заводе.

Павел Борисович пустил станок, и пока он прогонял первую стружку, взоры всех сосредоточились на зубе резца с тем возбужденным вниманием, с каким завзятые болельщики смотрят на финишную ленту в дни соревнований.

Станок работал. Токарь все время слышал за своей спиной напряженное дыхание сотен людей. Понимая, что тут, на заводе, который совсем недавно еще принадлежал капиталисту, он демонстрирует перед людьми, только начинающими приобщаться к социалистическим методам труда, всю нашу индустриальную культуру, Павел Борисович испытывал тот радостный подъем, который всегда ощущал при опробовании каждого своего новаторского усовершенствования.

Все чувства заострены. Сердце бьется радостно, мозг работает с предельной четкостью, грудь глубоко дышит, хочется петь... Теперь уже он был уверен, что, увеличив скорость, он далеко не исчерпал мощности станка, что станок этот, хотя и значительно уступает новейшим советским моделям, еще таит в себе много нераскрытых резервов.

Станок и резец выдержали испытание. Он спросил:

— Сколько оборотов станок может дать максимально?

— Тысячу четыреста, но это предел. Это, так сказать, рекламный предел, — ответил директор цеха.

— Я прошу вас перевести на тысячу четыреста оборотов, — твердо сказал Павел Борисович.

Шум, похожий на тот, что пробегает по вершинам деревьев перед первыми ударами грозы, был ему ответом. Люди застыли. Только теперь Павел Борисович заметил, что никто уже в цехе не работает. Толпа стянулась к нему, как железные опилки к мощному магниту. Люди карабкались на штабеля железа, заполняли подоконники, гроздьями свисали с пожарных лестниц.

— Простите, я не могу этого разрешить. Может произойти несчастье... Ведь так никто еще в Европе не работал, — бормотал директор цеха.

Он был бледен, капельки пота сверкали у него на висках, намокшая прядь волос прилипла к высокому лбу.

— Так работают в Советском Союзе. Ничего не произойдет, я ручаюсь, — уверенно ответил московский гость.

И директор комбината, венгерский инженер, работавший когда-то на одном из советских заводов и знающий, что́ такое слово стахановца, разрешил произвести эксперимент.

Обороты были увеличены.

— Прошу всех отойти — может поранить стружкой! — громко сказал Павел Борисович.

Эти слова перевели несколько раз, но никто не послушался. А когда над бешено вращающейся деталью поднялся серый султан дыма и раскаленная стружка, извиваясь змейкой, рванулась из-под резца, толпа, ахнув, сама отпрянула. Кольцо раздалось. В нем остались только Павел Быков, стоящий у станка, да Муска Имре возле него. Умные, цепкие глаза венгерского токаря старались поймать, проанализировать, запечатлеть каждое движение московского гостя.

В цехе настала необычайная тишина. Кто-то, сорвавшись с подоконника, вскрикнул, на него сердито зашикали. Те, что стояли поближе, достав часы, следили за секундными стрелками. Когда деталь была готова, директор цеха громко объявил, что она обточена за две с половиной минуты вместо восьмидесяти минут по нормам завода.

И эта самая обыкновенная деталь, какие десятками лежали возле станка, сложенные в аккуратный штабелек, стала ходить по рукам. Ее осматривали как некое чудо, как изумительное произведение искусства.

Вот тогда-то в цехе и раздались аплодисменты, столь бурные, что Быкову показалось, будто от них дрожат устои, поддерживавшие потолок.

Старый рабочий в отглаженном комбинезоне, опустив глаза, медленно подошел к московскому гостю.

— Спасибо, товарищ, — сказал он, не поднимая глаз, — спасибо за урок! Это урок жизни.

Павел Борисович, в котором еще не погасло веселое напряжение работы и чувство победы, одержанной над неизвестным еще врагом, с удивлением ощутил прикосновение большой ладони незнакомца, ладони шершавой, как подошва. Теперь он понял, что перед ним не враг, как он подумал было сначала, а ошибавшийся друг, друг навсегда. И, задерживая его руку в своей, он спросил старика:

— А руки? Для чего вам понадобилось смотреть мои руки?

Широкое, оплывшее лицо старого рабочего покраснело до свекольного цвета.

— Я когда-то работал в Америке и слушаю иногда их радио, — выговорил он с некоторым усилием. — «Голос Америки». Там говорят, будто ваши трудовые рекорды — выдумка пропагандистов. И еще говорят, будто вместо рабочих у вас за границу посылают партийных функционеров и инженеров. Я не хотел, чтобы меня на старости лет водили за нос.

Теперь Павел Борисович все понял. И им вдруг овладел тот безудержный приступ смеха, который накатывает порой и на людей с большой самодисциплиной, когда тем приходится подолгу сдерживать свои чувства. Московский токарь хохотал звонко и заразительно, на весь цех. И вместе с ним смеялся его новый венгерский друг Муска Имре, смеялись все эти токари, слесари, фрезеровщики, пришедшие посмотреть его работу, смеялся директор цеха. И, наконец, оправившись от смущения, сначала улыбнулся, потом засмеялся и сам старый венгр, пожелавший смотреть руки Павла Быкова.

— Чтоб они все перелопались, эти американские врали! — приговаривал он, трясясь от хохота. — И выдумают же... Я, ребята, теперь скорей приемник сломаю, чем еще раз поймаю волну Нью-Йорка!

— Тебе б давно его надо сломать, дядя Лайош! Голова б светлее стала, — послышалось из толпы.

Обо всем этом со всеми подробностями рассказал мне однажды сам Павел Борисович, когда мы бродили с ним далеко на чужбине, в Италии, по парку города Милана в перерыве между заседаниями Второго Всемирного конгресса профсоюзов.

А потом, несколько лет спустя, довелось мне побывать и на дунайском заводе, в том цехе, где произошло когда-то описанное мной событие. Комбинат тогда уже носил имя Матиаса Ракоши, многое стало там неузнаваемым. Но Муска Имре работал на прежнем месте, и я познакомился со вторым действующим лицом этого рассказа.

Муска тоже стал иным. Его знала вся Венгрия.

Мы присели с ним в стеклянной кабине мастера, и, вспоминая этот давний уже эпизод, венгерский токарь сказал:

— То была искра, а теперь по всем заводам нашей страны бушует пламя.

— И много сейчас у вас последователей?

— Очень много. И среди них тот старик, который попросил Павла показать тогда руки. Он очень хороший рабочий... Только все они не мои ученики, это ученики Павла.

Муска Имре подумал, чуть улыбнулся своими тонкими губами:

— Для всех нас солнце взошло на Востоке!





РАССКАЗ О СТАРИННОЙ МОНЕТЕ

Передо мной маленькая серебряная монета размером с наш гривенник. Это старый английский трехпенсовик, каких давно уже нет в обращении, с профилем толстой сердитой женщины, вычеканенным на лицевой стороне. Над головой женщины, на месте короны, пробита дырочка. Монета так истерта, что надписи на ней не разберешь, а у женщины можно разглядеть лишь длинный, висячий нос.

Сегодня в Москве отличный зимний день. Ночью была большая метель, но сейчас тихо. Светит солнце, и все, что видно за широким окном — сквер соседней школы, два строящихся дома, синеющий между ними кусочек велотрека на Стадионе юных пионеров и даже старые липы Ленинградского шоссе, темнеющие на горизонте, — все запорошено мягким свежим снегом, все белеет, искрится и сверкает.

Я смотрю на чужую истертую монету, и перед глазами встает иной пейзаж, картина далекого английского города. Он очень скучен, этот пейзаж. Улицы-щели узки, длинны и так однообразны, что, сколько по ним ни идешь, с непривычки кажется, что движешься по одной и той же, не имеющей ни названия, ни конца, ни края.

Кругом ни деревца, ни травинки. Под ногой осклизлые от сырости и точно заплесневевшие плиты тротуара. Густой рыжий туман придавил город. Он так тесно обступает вас, что всё кругом — и низкие однообразные дома с гребешками каминных труб над черепичными крышами, и фонарные столбы, похожие на виселицы, и выгоревшие щиты реклам — вырисовывается расплывчато и неясно, точно в тяжелом, беспокойном сне.

Этот туман, бурый от душной фабричной копоти, оставляет во рту солоноватый привкус, першит в горле, вызывает кашель. Он приглушает звуки и мгновенно, как только выйдешь на улицу, покрывает лицо и руки холодной влагой.

Я смотрю на старинную монету, лежащую на столе, и мне вспоминается город английских текстильщиков, самый страшный из городов, какие только мне довелось видеть, путешествуя по белу свету. Он еще совсем молод по сравнению с другими английскими городами. Но даже самые новые из зданий кажутся здесь древними, ибо копоть фабричных труб, всегда висящая над ними, так густа, что любая постройка за несколько лет становится тут черной, как будто века опалили ее своим дыханием. Глухо, точно из-под земли, звучат здесь по утрам фабричные гудки. И в этот час, когда солнце уже поднимается, а на улицах еще совсем темно все из-за того же тумана, отовсюду раздаются странные звуки:

«Клик-кляк, клик-кляк, клик-кляк...»

Это во мгле спешат на фабрики текстильщики, стуча о плиты тротуаров деревянными подошвами своих башмаков.

И еще напоминает мне старая монета митинг, устроенный друзьями Советского Союза в этом городе, в маленьком зальце над старинной ресторацией. Скрипит и хлопает входная дверь, мужчины и женщины входят, стряхивая со шляп и пальто серую водяную пыль. По привычке, они сначала проталкиваются к электрическому камину, потом, немного обогревшись его скупым сухим жаром, подходят к нам, советским делегатам, и крепко жмут наши руки своими руками, еще холодными и влажными от уличной сырости.

Мы только что приехали в этот город и никого здесь не знаем. Но среди всех этих незнакомых людей почему-то сразу бросается в глаза старая женщина, маленькая, худая, сутулая, с морщинистым лицом, на котором выделяется только хрящеватый орлиный нос. Одета она победнее остальных. Протертые локти темного старомодного сачка тщательно заштопаны. Порыжевшая шляпка обвита черным крепом.

Крепко пожав нам руки своими маленькими шершавыми ладонями, она что-то быстро-быстро говорит. Но переводчица куда-то ушла, и нам так и не удается узнать, что именно хочет она сказать. Заметив, что ее не понимают, старушка разводит руками, застенчиво улыбается и отходит в сторону.

По случаю митинга стены зальца украшены советскими плакатами. Это обыкновенные наши плакаты, дома их просто как-то даже и не замечаешь. Но тут, в далекой, чужой стране,

в этом сыром, закопченном, хмуром городе, их воспринимаешь как добрых знакомых, как старых друзей, встреча с которыми радостна на чужбине.

Наверное, вы помните этот плакат — молодая мать, прижимая к себе малыша, призывает подписаться под Воззванием Всемирного Совета Мира.

Старая женщина остановилась именно возле него. Она смотрит на плакат, будто перед нею живой человек. Ее губы при этом что-то шепчут, словно она беседует с юной, полной веры и силы советской матерью, нарисованной художником.

Это производит странное впечатление, но разве мало странного и непонятного встречаешь на чужой, незнакомой земле!

Новые и новые люди подходят знакомиться с советскими делегатами. Помещение наполняется, в нем уже шумно и жарко. Я потерял старушку из виду и как-то забыл о ней. Но когда в ходе митинга председатель предоставил мне слово и с трибуны передо мной открылись в полутьме ряды незнакомых лиц, я почему-то сразу стал разыскивать среди них именно ее.

Она сидела далеко, в одном из самых последних рядов, сидела в неудобной позе, вся вытянувшись, как бы устремившись вперед, приложив к уху согнутую раковиной ладонь. Взгляд усталых, глубоко запавших, но каких-то очень требовательных глаз словно гипнотизировал, притягивал к себе. Я с удивлением почувствовал, что, рассказывая о мирной жизни нашего народа, о наших успехах, о наших стройках, о наших помыслах и мечтах, я невольно обращаюсь именно к ней, к этой незнакомой женщине, как будто она представляла собой не только тех, кто заполнил этот маленький зал, но и всех простых людей Англии.

Старая женщина слушала внимательно. Даже издали можно было видеть, как она то вздыхает, то улыбается, то согласно кивает головой. Вдруг она поднялась и стала торопливо пробираться меж рядов. На нее сердито зашикали, но, виновато улыбаясь, она продолжала проталкиваться к выходу и наконец скрылась в дверях.

Зал битком набит. Люди теснятся в проходах, стоят вдоль стен, заполняют ниши окон. Вышел всего один человек, но это почему-то очень заметно.

Митинг продолжается. Выступают англичане, побывавшие в нашей стране. Они не ораторы, эти простые британцы — шахтер, священник, домашняя хозяйка. Но они рассказывают правду о нашей родине, и эта неприкрашенная, простая правда опровергает многолетнюю изощренную ложь империалистических газет, доходит до сердца людей. Ораторам аплодируют,

кричат «иес, иес», что означает одновременно и благодарность и согласие со сказанным. Заслушавшись, я не заметил, как, уже в конце митинга, старая женщина снова появилась в зале.

Список ораторов исчерпан, и председатель спрашивает присутствующих, не хочет ли кто еще выступить. Из-за спин людей, стоявших у двери, высовывается сухонькая рука.

— Миссис хочет что-то сказать? — спросил председатель.

Старая женщина утвердительно кивнула головой.

И вот она уже шла к трибуне, маленькая, решительная, что-то крепко зажав в кулаке. Шопот прошел по рядам. Кто-то нерешительно захлопал в ладоши. И вдруг зааплодировал весь зал.

Женщина поднялась на сцену, старомодно поклонилась председателю и участникам митинга. Вблизи можно было заметить, как она тяжело дышит. Лицо у нее раскраснелось, будто она только что бежала. Она подождала, пока стихли аплодисменты, и негромко, но внятно заговорила:

— Вы, господа, очевидно, меня знаете. Но вот им, приехавшим из Советской России, я должна кое-что о себе сказать. Мой муж, Фрэнк, до того как его забрали в армию, был здешний ткач. Это было в начале первой мировой войны. Я тогда была молода, у меня только что родился сын. Мы назвали его в честь деда. Дед его, отец мужа, тоже работал ткачом, и его звали Джемсом.

Так вот, мой муж отправился воевать за Ла-Манш, на континент. В последний вечер перед отъездом он пробил дырочку в старой трехпенсовой монетке, продел в нее шнурок и повесил на шейку маленькому Джемсу, нашему сыну. «На счастье», — сказал он смеясь. Вы, господа, знаете, что серебряные трехпенсовики с изображением старой Виктории носили тогда на счастье.

В зале стало очень тихо, и поскрипывание половиц, когда старушка от волнения переступала с ноги на ногу, раздавалось, будто гром.

— Вы, господа, кажется, меня знаете, и, может быть, вам известно, что после первой мировой войны я осталась вдовой. Фрэнка похоронили на континенте, а я не вышла замуж и сама воспитывала моего Джемса. Он стал для меня всем. Когда мне бывало очень тяжело и всё вокруг становилось черным, я смотрела, как играл мой Джемс, как он спал, раскинувшись на кроватке, здоровый, румяный, рыжеволосый, очень напоминавший отца, и я опять начинала верить, что жить все-таки стоит. Ну, если не для себя, так для него... Мы, матери, все так думаем... Ведь так?

По притихшему залу проходит шелест. Женщины, сидевшие в разных местах, согласно кивают головами.

— Мой мальчик рос сиротой, но, видит бог, ему не в чем меня упрекнуть. Я поступила уборщицей на фабрику, где когда-то работал мой муж, а по вечерам дома я набивала рисунок на шелковые платочки. Вы знаете этот простенький уэльсский рисунок. Такие платочки особенно охотно покупают иностранцы. В хорошие годы денег нам хватало, и мой сын вырос здоровым, красивым, крепким парнем. Может быть, кто-нибудь из вас, господа, его знал? Вот там, кажется, сидит наш сосед, он это может подтвердить.

— Да, вы говорите правду, — раздался из глубины зала мужской голос.

— Я сделала все, чтобы как следует воспитать моего Джемса — единственную мою радость, мою надежду, мою мечту о спокойной, счастливой старости. Он хорошо учился, потом он стал ткачом, как отец и дед. Все деньги, какие зарабатывал, он приносил мне до последнего пенни. Он всегда был такой заботливый, такой внимательный. По воскресеньям он помогал мне мыть посуду и всегда говорил: «Сегодня, мама, моя очередь».

Женщина смолкла. На старом лице появилась тихая улыбка, еле заметная, как те последние вечерние отсветы, что оставляет на вершинах деревьев солнце, уже закатившееся за горизонт.

— Я уже вам сказала, господа: когда мой Фрэнк отплывал воевать на континент, он повесил маленькому Джемсу на шею старый трехпенсовик. Я была тогда молода и смеялась над ним. Да и в самом деле, английский народ, вероятно, был бы теперь очень счастливым, если бы старые монетки действительно приносили людям счастье. Джемс же носил монетку не снимая, как сувенир отца, которого он не помнил. Но когда он вырос таким хорошим и в доме у нас появился достаток, я вдруг поверила, что это трехпенсовик принес нам счастье... Простите, может быть я слишком подробно рассказываю, может быть господам надоело меня слушать?

— Нет-нет, говорите! — загудел зал.

— Я не ограничиваю вашего времени, — сказал председатель.

— Благодарю вас, господа, я скоро кончу. Еще пять минут, господин председатель... У нас сейчас многие делают вид, что забыли последнюю войну, а я ее не забыла, нет! И ни немецкие самолеты, которые летали к нам по ночам, и ни эти самые «фау», что падали на нас с неба. Это, пожалуй, можно и забыть... Я не забыла, как уходил на фронт Джемс, мой

сын. Перед тем как их отправили во Францию, его отпустили проститься. У него было всего несколько минут. Шофер грузовика, на котором их увозили, все время гудел под окном. Мне было страшно, но я старалась улыбаться. Помнится, я только поцеловала его в лоб и велела ему обязательно надевать шерстяные носки, которые я положила в его ранец. Была зима, на континенте холоднее, чем у нас, и он мог легко простудиться... Ведь мы, матери, говорим иногда ужасные глупости... Джемс засмеялся и ответил: «Будь покойна, мама, ничего со мной не случится. Я счастливый — у меня на шее папина монетка». Потом он посмотрел на часы и убежал... Вот и всё. Я даже не видела, как он сел в машину. Когда я опомнилась и подбежала к окну, машины уже не было... Господин председатель, может быть вы будете так любезны налить мне воды?

Она произнесла эти последние слова совсем тихо. На лице у нее — страшное напряжение, подбородок съежился, губы она сжала так, что они побелели и стали почти незаметными. Весь зал молча слушал, как она пьет, медленно, глоток за глотком. И все же она не заплакала; она поставила стакан на стол, накрытый по случаю митинга, как скатертью, двумя флагами — советским и английским, и тихо, но так, что ее слышали в самом дальнем конце зала, продолжала:

— Больше я не видела Джемса, вместо него ко мне прибыл конверт с черной рамкой. Вы знаете, господа, эти конверты, они и сейчас прибывают из Кореи, из Малайи, из Египта... А после войны меня отыскал какой-то солдат, его товарищ. Он сказал, что Джемса они похоронили на континенте, и передал мне его часы и монету в три пенса, которую мой сын всю жизнь носил на шнурке на шее. Это все, что у меня осталось от сына. Впрочем, я не так сказала: надо было сказать — оставалось, потому что часы я продала. Вы не осудите меня, господа, за это, ведь так? Вы же знаете, что правительство наше вооружает страну. Жизнь дорога, а пенсия моя ничтожно мала... У меня осталось только это.

Произнеся эти слова, она разжала кулак. В ладони ее сверкнул маленький металлический кружочек. У переводчицы, переводившей нам ее речь, дрожал голос. В зале шумно сморкались. Какая-то женщина громко всхлипывала на дальней скамье; мужчины, сидевшие в первом ряду, сумрачно смотрели себе под ноги. Председатель, покусывая губы, сосредоточенно передвигал по столу стакан, в котором посверкивала вода.

Но сама рассказчица держалась молодцом. Ее лицо было сурово и строго. Она показала собравшимся монету и твердо сказала:

— Вот все, что осталось мне как память от мужа и от сына, погибших на войне. Это самое дорогое из всего, что я имею!

И вдруг решительным жестом она протянула монету нам, советским делегатам:

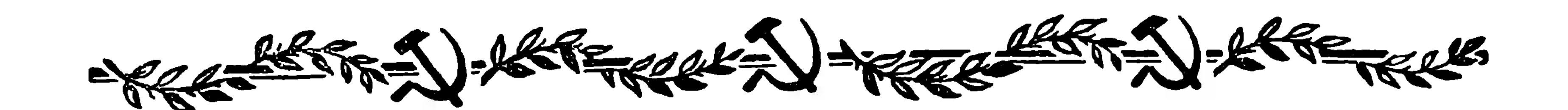
— Возьмите, я отдаю вам эту памятку, потому что знаю: весь ваш народ против войны, потому что вы, советские люди, все боретесь за то, чтобы никогда и нигде не убивали ничьих детей. Я так решила, слушая речь вашего представителя... Нет-нет, прошу вас, не отказывайтесь! Примите это от старой английской женщины, собравшей больше тысячи подписей под Воззванием Совета Мира...

В комнате тихо. В открытую форточку с улицы, где солнце попрежнему буйствует над заснеженной Москвой, доносятся крики и смех детей. У девочек, которые учатся в соседней школе, должно быть большая перемена. Они высыпали в сад и бегают, протаптывая дорожки в свежих сугробах, стряхивая с деревьев друг на друга белый, сверкающий, колючий снег.

Светлая радость разлита во всем этом пейзаже.

Я смотрю на старинную монету, лежащую у меня на столе, и думаю об английском городе, сыром и мрачном, о буром тумане, насыщенном копотью фабричных труб, о том, как горели глаза английских тружеников, когда мы рассказывали им о нашем мирном строительстве, и еще думаю о маленькой старой женщине с орлиным носом и требовательными глазами, об этой осиротевшей матери, которая далеко, на своей сумрачной родине, но вместе с нами самоотверженно борется за мир, за жизнь чужих детей.





УЧИТЕЛЬНИЦА

Что там греха таить, покидая первый раз границы родной земли, Мария Рожнева очень волновалась. Она ехала не одна. Советская делегация, направлявшаяся в Будапешт, на Всемирный конгресс молодежи, занимала все соседние купе. Мягкий вагон, старый и чинный, был до краев переполнен молодым весельем. Песни, смех неслись отовсюду, перебивая шум колес.

Мария была не только любительницей, но и мастерицей попеть, поплясать. Но тут, на последних километрах советской земли, она забилась в уголок дивана, смотрела в окно и все думала, думала, думала...

В самом деле, все хорошее, что случилось с ней за ее совсем еще короткую жизнь, — ее работа, без которой она себя не мыслила и которая доставляла ей порою ни с чем несравнимое наслаждение, ее общественная деятельность, ее слава, доходившая до того, что незнакомые люди, узнавая, приветствовали ее на улице, в автобусе, в поезде, ее мечты, от которых радостно билось сердце, — все это было неразрывно связано с родной советской землей.

А за окном проплывали последние ее километры.

Скоро граница, а дальше иная, чужая земля. И хотя в обильной почте, которую прядильщица получала у себя на Купавнинской фабрике, ей и ее подруге и соавтору ткачихе Лидии Кононенко приходило немало писем из-за границы и среди них случались письма и из Венгрии, куда она теперь ехала, Мария волновалась, как волновалась когда-то в детстве, в первый раз надолго расставаясь с матерью.

Но ничего особенного на границе не произошло. Румяный пограничный офицер взял паспорт, потом вернул его, поже-

лал счастливого пути. Пересели в другой вагон. Чужая земля угадывалась только потому, что вместо бескрайных колхозных полей, которые и глазом не охватишь, побежали нивы, иссеченные вкривь и вкось узенькими пестрыми полосками.

Девушке, родившейся уже в колхозное время, нелепость такого землеустройства показалась слишком уж очевидной. Но думать об этом было некогда. По межам, делившим узенькие полоски, к поезду со всех сторон, размахивая шляпами, головными платками, бежали загорелые мужчины и женщины. На полустанках толпы людей встречали вагон с советской делегацией. В открытые окна вагона летели цветы.

Понемногу Мария Рожнева перестала обращать внимание на полосатость земли, которая поначалу так удивила ее.

А в Будапеште, когда советская молодежная делегация слилась с другими, съехавшимися сюда со всех концов мира, и маленькая прядильщица из Купавны очутилась среди разноязыких девушек и молодых людей с белой, красной, бронзовой, оливковой кожей, пришло еще одно, новое, необычайное ощущение заграницы: она почувствовала, что все ее товарищи по делегации и сама она точно вдруг выросли.

Случай помог Марии разобраться и в этом новом ощущении. Огромный юноша-негр, который на одной из встреч с советской делегацией, подперев скулы большими фиолетовыми кулаками, как дивную сказку слушал рассказы о жизни нашей страны, о труде, который радует и вдохновляет, о том, как широко раскрыты перед советским человеком все двери, все пути, — этот негр после беседы подарил Марии на память свою фотографию. На обороте он написал: «Моей учительнице».

— Вы ошиблись, товарищ. Вам, вероятно, неверно перевели. Я не учительница, я работница-прядильщица, — сказала Мария.

— Я это знаю, но я не ошибся. Все вы, советские люди, наши учителя. Мы стараемся учиться у вас всему — мыслить, жить, бороться за мир.

И потом, вернувшись к себе в Купавну, девушка рассказывала подружкам о своих заграничных впечатлениях:

«Вот, девушки, здесь, дома, мы часто как-то вовсе не думаем о том, что дала нам советская власть. Иную-то жизнь мы только по книгам знаем. А вот выедешь за границу, будет с чем сравнивать — и сразу поймешь: ой-ой, как мы много сделали, как далеко все народы опередили!»

Во время второй заграничной поездки, на праздник Первого мая в великий Народный Китай, это впечатление Марии Рожневой окрепло.

Уже без тревоги и тоскливого чувства перелетела она границу Родины и без удивления встретила восторженный прием, оказанный советской делегации на далекой дружеской китайской земле.

Как и все советские люди, с детских лет она с сочувствием следила за борьбой великого китайского народа. Как нечто свое, дорогое встретила она весть о его победе и образовании Китайской Народной Республики.

И вот теперь она ходила по улицам Шанхая, знакомилась с молодыми людьми нового Китая, смотрела с гостевой трибуны, как под проливным дождем шла в Пекине праздничная демонстрация, как под гром грозы и сердитый вой ветра, радуясь и улыбаясь, сомкнутым строем, бесконечной чередой, с плакатами и знаменами шли колонны тружеников, познающих радость труда и счастье настоящей свободы.

Мария много ездила по китайским предприятиям, толковала с рабочими, выступала на собраниях. Тут, в этой большой, хорошей стране, столь бурно возрождающейся, она вновь ощутила в полном объеме всю созидательную силу советского опыта, все международное значение каждого нашего новаторского почина в отдельности и всего могучего творчества советских тружеников.

Какое бы скудное, технически отсталое наследство ни получили китайские рабочие от гоминдановского режима, опыт советских новаторов помогал им быстро, в невиданные для Китая сроки, возрождать предприятия, двигать вперед технику. Марию знакомили с передовиками труда, с последователями Александра Чутких, Павла Быкова, Николая Российского. Тут знали и ее самое и ее соавтора Лиду Кононенко.

Однажды ударник-закройщик на швейной фабрике показывал ей, сколько он экономит материала благодаря тому, что придумал новую систему раскройки. Рассказывая, сколько из этого материала фабрика выпускает теперь дополнительно одежды, китайский раскройщик, старый уже человек, вдруг широко улыбнулся и с ласковым лукавством посмотрел на собеседницу:

— Вы знаете, кто мне посоветовал так кроить?

— Кто?

— Два моих юных советских друга, которые никогда обо мне даже и не слышали, — Мария Рожнева и Лидия Кононенко... Я читал о вашем опыте статью в своей газете. Вы моя учительница, а я ваш ученик.

Теперь почетное это наименование не удивило Марию. Она знала, что, несмотря на юность, за границей она носитель великого опыта и мудрости своего народа.

А на другой китайской фабрике Марии рассказали, что тут есть работница, которая дело свое делает лучше всех, но отказывается учить подруг своему мастерству. Это показалось Марии таким нелепым, что она подумала, что ослышалась, и попросила повторить перевод. Нет, перевели точно.

Тогда Мария пошла в цех, и ее познакомили с маленькой, изящной китаянкой в синей широкой блузке, которая действительно работала так легко и ловко, что Мария, знающая толк в мастерстве, невольно залюбовалась ею.

— Правду говорят, что ты отказываешься учить подруг? — спросила она китаянку.

— Конечно... Если я все покажу и расскажу другим, они все меня догонят, и я не буду передовой, — простодушно ответила та советской гостье.

Мария все поняла. Она обняла китаянку и стала рассказывать ей, как она и ее подруга Лида старательно помогали рабочим своих цехов овладеть их методом, как они радовались, когда их почин перекинулся на другие фабрики, о том, как успех всей Купавнинской фабрики помог тысячам людей, как этот успех окрылял и ее самоё и ее подругу, будил в них инициативу, поощрял к новым достижениям. И еще рассказала она китайской девушке, какое это великое счастье — вести за собой товарищей по труду, чувствуя, как растет твой собственный вклад в коммунистическое строительство.

Увлекаясь, Мария говорила сбивчиво. Переводчица едва успевала передавать собеседнице ее взволнованные слова. Заметив это, Мария виновато глянула на китаянку: понимает ли она ее путаную речь?

— Спасибо тебе, подруга! Я теперь, как ты, буду учить других, — ответила та.

Она хорошо поняла Марию.

Но если в дни путешествий в Венгрию и в Китай Мария Рожнева не очень замечала, как пересекала предел родной страны, то во время своей поездки в Австрию она всем своим существом почувствовала границу не как географический рубеж или таможенный кордон, а как ту незримую глубокую грань, которая разделяет социалистический и капиталистический миры...

Ей, рожденной в годы, когда в нашем государстве социалистическое соревнование уже стало методом работы всех советских тружеников, было до жути странно очутиться в стране, где такие слова, как «фабрикант», «помещик», «эксплуатация», «неравная оплата за равный труд», которые до сих пор были для нее словами отвлеченными, книжными, вдруг приобрели всю свою ужасающую для свободного человека реальность.

Для нее эта поездка стала своего рода экскурсией в исторический музей, где зловещие персонажи далекого прошлого вдруг ожили и она увидела и живого фабриканта, и хозяйского наушника-мастера, и всамделишного шпика, и раболепствующего перед капиталистом австрийского меньшевика, злобное, хитрое и завистливое существо, — словом, все то, о чем Мария узнавала дома на уроках истории, из книг и историко-революционных фильмов.

Но недаром так старательно изучала она историю большевистской партии. В новых, необычайных условиях она не растерялась. Она твердо верила, что на фабриках и заводах западных оккупационных зон много друзей Советского Союза, друзей мира. Она верила в силу правды советского народа.

Однажды перед митингом, проходившим на большой фабрике в английской зоне оккупации, ее предупредили, что в зале немало правых социал-демократов и возможна провокация.

Мария поднялась на трибуну внешне спокойная, как всегда. Даже товарищи по делегации не заметили ее волнения. Но именно в этот раз ее взволнованное слово о великой социалистической Родине, о коммунистическом строительстве, о мирном труде советских людей звучало с особенной лирической силой.

Говоря, она своими большими, лучащимися глазами смотрела в зал. Много лиц улыбалось ей. «Есть друзья!» — поняла она и, успокоившись, внутренне приготовилась к бою.

И вот среди вопросов, в которых поначалу слышался лишь искренний интерес к жизни Советской страны, прозвучал один, насторожививший ее.

— Мы верим, что стахановцы вырабатывают много, но какой ценой? Мы слышали, что стахановец — изнуренный, издерганный человек. Он еле ноги носит, — спрашивал толстяк в очках, с детским румянцем на щеках, сидевший где-то в последних рядах.

Собрание сердито зашумело. Председатель взялся за колокольчик. Он хотел отвести вопрос, но Мария остановила его.

— Нет, позвольте, почему же? Надо ответить, — сказала она, подходя к самому краю сцены. — Вот перед вами, господа, стахановка. Можете сами судить, как я выгляжу.

Мария Рожнева широко улыбалась. Большие серые глаза ее лучисто сверкали, и вся она, красивая, светлая, была как бы олицетворением здоровой, смелой, одухотворенной юности.

В зале послышался добродушный смех. Грохнули аплодисменты. Но человек в очках не сдался. Он продолжал тянуть руку:

— Но если человек выполнит нормы вдвое и даже втрое, он же должен где-то брать силы. Что бы там фрейлейн нам ни



Мария Ивановна Рожнева.

рассказывала, человек, выполнивший работу троих, все равно будет похож на выжатый лимон.

Стоя на трибуне здесь, в чужой стране, перед людьми, которым ежедневно маршаллизованные газеты впрыскивали яд отвратительной антисоветской пропаганды, Мария на миг мысленно перенеслась к тем далеким дням, когда она вместе с Лидией Кононенко обдумывала свое предложение, за которое они потом получили Сталинскую премию.

Ясно встала перед глазами далекая фабрика, утопавшая в зелени душистых распускающихся тополей, мягкий весенний вечер, ровный свистящий гул веретен, доносящийся из открытых окон прядильной, черные горячие глаза подружки. Особое волнение, трепет творчества испытывали тогда они обе. Точно на крыльях летали. Разве могла быть при этом усталость? А если и была она, ее тогда не замечали — так были увлечены.

Мария с насмешливой снисходительностью посмотрела на румяного человека и широко улыбнулась:

— Наши рабочие работают не только руками. Мы работаем и головой. Да, и головой, — запомните это. У нас уже стираются существенные различия между умственным и физическим трудом. У нас есть рабочие, которые читают лекции в институтах, и академики приезжают к нам на фабрику для того, чтобы советоваться с нами. Да-да, и к нам с подружкой приезжали...

Новый взрыв аплодисментов наградил ее за этот спокойный ответ. Румяный господин смолк. Он больше не поднимал руки. Зато с другого конца зала послышался ядовитый вопрос:

— Вот вы сказали, что ваше начинание по изготовлению тканей из сэкономленного сырья очень выгодно. Кому? Вам лично? Много ли оно вам дало?

— Наша фабрика сэкономила на этом за три года около ста миллионов рублей. Сто миллионов!

— Нет, фрейлейн, вы не поняли меня или не хотите понять. Не фабрике, а вам, вам лично! — настаивала пожилая худая женщина в зеленом берете, со щечками-котлетками, вздрагивающими от волнения.

Нет, волноваться не надо. Это, наверно, и есть те самые австрийские меньшевики, эти гнусные предатели, ненавидящие все живое. Спокойно, спокойно! Мария пожимает плечами:

— Я как-то, право, и не подсчитывала, сколько я лично получила за это. Когда мы с Лидой вносили свое предложение, мы даже и не думали о личной выгоде.

— Должно быть, фрейлейн очень богата, если ей не приходится думать о таких прозаических вещах! — резко бросила женщина в зеленом берете.

По залу прошел гул. Кто-то требовал у председателя пре-

кратить вопросы, оскорбляющие гостью, кто-то, наоборот, коротко проаплодировал, кто-то засмеялся.

Мария стояла на трибуне уверенная, спокойная, сияя общительной улыбкой. В глазах ее сверкали задорные огоньки.

— Госпожа спрашивает — богата ли я? Да, я очень богата, — сказала она и, дав переводчику закончить, переждала удивленный шум, прокатившийся по залу. — Мы очень богаты — советские люди, — продолжала она звенящим голосом. — У меня есть свой санаторий, прекрасный санаторий на Черном море, куда я могу ехать на время отпуска. Для меня в Москве строят университет, самый большой университет в мире. Такой вам и представить трудно! Для меня работают лучшие театры, лучшие композиторы пишут для меня музыку, песни, лучшие писатели сочиняют книги. Для меня правительство строит ежегодно десятки тысяч домов. Мы, господа, так богаты, что, не жалея денег, изменяем уже не только экономику и географию, но и самый климат нашей земли. Эти работы стоят миллиарды рублей. А знаете вы, для чего их ведут? Для того, чтобы мне, моему мужу, моему сынишке Володьке — всем нам, советским людям, лучше жилось.

Она победно обвела взором зал, уловила улыбки, радостные кивки, увидела, как какой-то старый человек, сидевший в первом ряду, утирает слезы, и поняла, что и тут светлая правда социалистического бытия победила. Улыбаясь, она повторила:

— Да, я очень богатая, господа! Мы, советские люди, самые богатые на земле.

Но хотя аудитория бурно приветствовала теперь каждую ее фразу, враги не сдавались. Та же женщина в зеленом берете, дождавшись тишины, спросила:

— Пусть так, хотя у меня есть другие сведения... Вот тут наша гостья призывала к борьбе за мир. Мы знаем, у вас об этом много говорят и пишут. Не происходит ли это потому, что вы боитесь американской атомной бомбы, боитесь войны?

Мария Рожнева знала, что, выступая за границей, надо всегда держать себя в руках. Но тут она почувствовала, как сразу запылали у нее щеки, уши, ей стало даже трудно дышать. Ее народ, самый храбрый, самый сплоченный, самый мужественный народ на земле, «боится войны»! Люди, которые в великом единоборстве сломили объединенные силы фашизма, освободили всю Европу, самоё Австрию и весь мир от угрозы гитлеровского рабства, «боятся войны»!

Но сейчас же она приказала себе быть спокойной. Она даже снисходительно улыбнулась:

— В ответ на ваш вопрос я назову только три имени: Карл, так называемый Великий, Наполеон и Гитлер, — сказала она

медленно и отчетливо и, выждав, когда смолкнут аплодисменты, продолжала: — Мы не хотим войны, но мы не боимся ее! Запомните все, кто этим интересуется, и передайте тем, кто учит задавать такие вопросы!..

Целая толпа провожала Марию и других советских делегатов до машины. Рядом с ней шел тот старый рабочий в смешной шляпе с тетеревиным перышком, что вытирал глаза, сидя в первом ряду. Держа Марию под руку, он торопливо сказал:

— Видела ли фрейлейн Мария Сталина?

Они стояли уже около машины. Угрюмые австрийские шуцманы в своих высоких касках оцепляли толпу. В отдалении виднелись военные полицейские оккупантов — откормленные, наглые, точно соскочившие с кукрыниксовского рисунка.

Но в это мгновение Мария забыла обо всем. Воспоминания захватили ее. Она увидела себя сначала в ярко освещенном зале на торжественном заседании, посвященном семидесятилетию вождя. Потом Кремль, сессия Верховного Совета...

— Да, я видела товарища Сталина, — тихо ответила она старику.

— Какая ты счастливая! — сказал он и добавил: — Если увидишь его еще раз, передай ему поклон от старого австрийского рабочего. И спасибо тебе за прекрасные уроки, которые ты дала нам сегодня на этом митинге!

Уроки! И этот старый австрийский рабочий считает ее, юную советскую женщину, своей учительницей! Что ж, вероятно, так оно и есть. Каждый советский труженик, воспитанный Коммунистической партией, является в какой-то мере учителем для зарубежных людей.

Мария много думала об этом, путешествуя по Австрии; думала на обратном пути; думала, когда вернулась на родную фабрику и вновь встала к своей машине. И когда комсомольцы в перерыве окружили ее и стали расспрашивать о новой поездке, о том, что ей больше всего запомнилось в ее путешествии по капиталистической стране, она сказала:

— Я, девочки, в этот раз по-настоящему поняла слова товарища Сталина о том, что последний советский гражданин стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши, влачащего на плечах ярмо капиталистического рабства!

Это и было самым главным ее впечатлением.





СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС

Михаил Григорьевич Муханов — один из тех волгарей, для которых время измеряется не годами, а навигациями.

Первое, что прочно вошло в его жизнь, что память в неувядаемой свежести хранит вот уже около пятидесяти лет, — это большая вода, сверкающая на солнце так, что режет глаза, и невиданный и страшноватый белый дом, каких нет в Василькове, где родился мальчик. Что-то огромное хрипит, ворочается и жарко дышит внутри этого дома. Из длинной трубы валит курчавый дым, и что самое удивительное, дом не стоит на земле, как положено домам, а лежит на воде; а земля, что виднеется справа и слева от него, и все, что на ней есть — сосновый лесок, зеленеющие поля, деревушка, стадо, прячущееся от жары в овраге, — все это вместе с землей торопливо бежит куда-то назад. А почему и куда, Миша не знает, и от этого ему делается страшно.

Он стоит у белой решетки, ограждающей дом от неспокойной бурлящей воды, крепко вцепившись в большую руку загорелого плечистого человека. Этот человек — отец. Для маленького Миши в нем, в отце, сосредоточено все, что есть знакомого и прочного в этом чудном и страшном доме, мимо которого все торопливо бежит назад. А тут еще, где-то рядом, раздается нечеловеческий рев, такой громкий, что воздух кругом начинает гудеть. Может быть, то огромное, непонятное, что хрипело, дышало и ворочалось, сломало железные решетки и вырвалось на волю? Мальчик, дрожа всем телом, прижимается к ноге отца и начинает кричать.

— Что ты, что ты, дурашка! Это же сирена... ну, проще сказать, гудок... Вон видишь — наверху дядя-капитан потянул за ручку. Пар идет, он и свищет, пар... Эх, рановато, кажется, мы с тобой, Михайла, в навигацию направились!..

Михаилу Григорьевичу было два или три года, когда отец его, коренной волгарь, ходивший матросом на пароходе «Ермак», первый раз взял его в плавание.

Все население небольшой приволжской деревеньки Васильково, где жили Мухановы, «кормилось водой». Испокон веков васильковцы бурлачили, таскали бечевой баржи, плоты. Потом, когда на Волге появились первые пароходы, они стали ходить на них матросами, лоцманами, были шкиперами барж, вожаками гоночных караванов. С детства, с той далекой поры, которая оставляет в памяти лишь причудливые отрывки воспоминаний, жизнь Михаила Григорьевича тесно связана с Волгой, с Камой, с другими русскими реками, которые он знает, как лесник знает тропы в знакомых чащах, исхоженных вдоль и поперек.

Когда реки сковывает лед и они исчезают из знакомых пейзажей, занесенные сугробами, речники-васильковцы отдыхают в родной деревеньке. Но Михаилу Григорьевичу тягостен этот отдых. Уже с середины зимы он начинает тосковать по своему судну, по вахтам, по водным просторам. Тоска эта доводит его до того, что иной раз, отложив домашние дела, которых за навигацию всегда накапливается порядочно, выходит он на крутой берег реки Воложки и часами смотрит в серые, однообразные дали — не начал ли снег оседать и рассыпаться, не тает ли он у обрывов на южных склонах, не засинел ли лед, предвещая вскрытие рек, приближение навигации...

Человеку, любящему свою профессию, растущему и совершенствующемуся вместе с ней, в зрелые годы порой кажется, что ничего особенного, пожалуй, в жизни уже и не произойдет. Пройдет лед, рулевой Муханов станет на вахту у знакомого штурвала. Первый гудок, как всегда, будет какой-то по-особенному веселый, он задорно раскатится над мутной клокочущей водой. Звонким эхом отзовутся на него бурые влажные берега, откликнутся плешивые серые лиственные лески, и снова развернется перед рулевым речной фарватер, знакомый, как собственная каюта, до последнего берегового изгиба, до любой, хорошо замаскировавшейся мели, подстерегающей судно под водой.

Но однажды — и это было уже давно — произошло событие, которое до глубины души потрясло Михаила Григорьевича. Оно запомнилось ему навсегда, во всех подробностях, как запомнился первый рейс, совершенный в младенческом возрасте вместе с отцом — матросом на пароходе «Ермак».

Старого речника вызвали к начальству и сказали, что в составе команды особо заслуженных и опытных волгарей он отправится на верфь, чтобы принять там от рабочих новый теплоход «Иосиф Сталин». Этот теплоход откроет судоходство на канале имени Москвы, только что тогда построенном.

Даже в давние времена, когда дядя Муханова, старый лоцман, учивший Михаила Григорьевича искусству управления судном, впервые передал ему, юноше, штурвал, рулевой не волновался так, как волновался в рубке только что рожденного красавца-теплохода, чувствуя, как это большое изящное судно чутко отвечает на каждое движение его руки. Это волнение объяснялось не боязнью ошибиться, сделать неточный посыл, посадить судно на мель. Нет, рука была тверда, судно на редкость послушно, а канал лежал широкий, многоводный, прямой, как линейка. Ошибок не могло быть. Рулевого волновало сознание, что вот он, сын, внук и правнук простых волгарей, исплававший много русских рек, направляет сейчас теплоход по пути, где до этого не проходило еще ни одно судно, по пути, не указанному ни на одной карте, по самой молодой из рек на земле.

С тех пор прошло много лет. Сам теплоход стал для рулевого вторым домом. Но хотя Михаил Григорьевич совершил на нем несчетное число рейсов, этот первый рейс по каналу затмевал все в памяти старого рулевого. Этот рейс вошел в его жизнь как нечто огромное, яркое, нержавеющее. Он запомнился во всех подробностях — до соловьиных пересвистов в прибрежных черемухах, до странного ощущения головокружения, которое пережил старый водник, когда вдруг увидел, что искусственная река течет выше окрестных полей и теплоход идет вровень с верхушками мачтовых сосен и телеграфных столбов.

— Эх, и повезло же мне, товарищи-граждане! Сто лет проживу, ничего такого не увижу, — любил приговаривать Михаил Григорьевич, когда зимой в родной деревеньке, под праздничным хмельком, в который уже раз принимался рассказывать гостям-колхозникам о том, как когда-то он вел судно, открывавшее путь по новой водной дороге, пересекавшей холмы и возвышенности Подмосковья.

Но в такое уж счастливое время мы живем, так богато оно славными делами, что переживать радость необыкновенных открытий нам придется уже до конца жизни. Михаил Григорьевич не прожил и пятидесяти двух лет, как ему, вместе со всем экипажем флагманского судна канала имени Москвы, довелось участвовать в рейсе не менее знаменательном...

В июльский день 1952 года теплоход «Иосиф Сталин», провожаемый толпами москвичей, приветственными гудками многочисленных судов, стоящих на причалах, отходил от северного порта столицы в новый исторический рейс. Рулевой Муханов стоял на обычном своем месте, в рубке, где за пятнадцать лет провел столько вахт, и чувствовал, как ладонь его, лежащая на штурвале, становится влажной от волнения. Но не

флаги расцвечивания, трепетавшие между мачтами, не музыка, не необыкновенный, торжественный гул посадки, не знатные пассажиры, никогда им не виданные, но знакомые по портретам и фотоснимкам, — не это его волновало.

Первая из великих послевоенных строек завершена! Сбылись вековечные мечты народа о соединении русских рек, и ему, старому волгарю, вместе с товарищами предстоит провести свое славное судно первым рейсом из Волги в Дон по степям, еще вчера изнывавшим от жестокого безводья. За годы работы на водном транспорте у Михаила Григорьевича скопилось много благодарностей, поощрений. Но разве могла быть благодарность за долгую честную службу значительней, чем эта! «Да, повезло, повезло!» К удивлению своих товарищей, рулевой, человек известный в команде своей замкнутостью и молчаливостью, стоя у штурвала, о чем-то говорил сам с собой и даже пытался напевать, чего за ним раньше не водилось даже и за праздничным столом.

Канал имени Москвы — это сверкающая сабля, рассекающая холмы, леса, поля и луга. Он уже настолько прочно вписался в окрестный пейзаж, что казалось, будто тек тут всегда, будто вечно его сооружения украшали холмистое, живописное Подмосковье и бархатно-зеленые поймы Калининщины. Все это было настолько знакомо Михаилу Григорьевичу, что в войну он иной раз по ночам проводил здесь суда без единого сигнального огонька, вслепую. Но теперь рулевой смотрел на примелькавшуюся дорогу новым взглядом и даже с удивлением примечал, что тоненькие деревца, посаженные когда-то перед шлюзами, уже превратились в тенистые деревья, образовавшие бульвары, что серую, некогда изрытую строителями землю плотно прикрыли густые лиственные и хвойные леса и то там, то здесь головастые зеленые ветлы, перегибаясь через каменистую бровку откосов, смотрятся на свое отражение в воде искусственной реки.

Все, что еще вчера привычный взгляд воспринимал как нечто само собой разумеющееся, в этом рейсе бросалось в глаза. Когда последний шлюз бережно опустил теплоход в Волгу, а потом до самого горизонта засверкали воды новых водохранилищ, Михаил Григорьевич вдруг удивился тому, как на них людно, как много судов теснится у пристаней и причалов, как часто попадаются навстречу теплоходы, пароходы, буксиры с баржами, буксиры с плотами, буксиры с дровяными гонками, огромные самоходки. Здесь, в верховьях, где раньше в эту пору мальчишки, завернув рубахи, переходили реку у обмелевших перекатов, обводненная река развертывалась необозримо, жила бурно и полнокровно.



Михаил Григорьевич Муханов.

Весть, что с необычайной миссией идет вниз теплоход «Иосиф Сталин», опережала движение судна. О нем знали, его ждали и радушно встречали, приветствуя, как посланца всего народа.

Суда издали салютовали ему длинными взволнованными гудками. Команды выстраивались на верхних палубах и, вытягиваясь, отдавали ему честь. У пристаней собирались толпы празднично одетого народа:

— Передавайте привет волгодонцам! — кричали в жестяной рупор с повстречавшегося буксира.

— Стро-и-те-лям ком-му-ни-зма сла-ва! — бесконечно по слогам рубили молодые ребята и девушки, стоя у дощатых домиков в центре огромного, похожего на пловучий остров, плота, медленно двигавшегося вниз по реке.

— Дону низкий поклон! — сложив руки рупором, кричал колхозный пастух, подойдя к самой кромке воды, у которой в полдневный зной утоляло жажду его стадо.

Стоя на корме парусной яхты, загорелая девушка с льняными развевающимися волосами сигналила теплоходу флажками. Рулевой знал язык флагов. Он расшифровал:

— «Поцелуйте за нас героев-строителей!»

Пионеры, чей лагерь снежными хлопьями веселых палаток белел на просторах поймы, высыпав на берег и блестя на солнце коричневыми телами, тоже что-то кричали и бросали в реку венки и букеты.

Казалось, вся Волга, взволнованная предстоящим событием, уполномочивает команду теплохода приветствовать строителей. И цветы, какие только растут на волжских берегах, садовые, полевые и даже комнатные, — массы цветов погружались на теплоход на каждой пристани. Их было так много, что на палубе пахло садом и полем. Под цветы заняли все вазы, всю кухонную посуду, все ведра, какие только нашлись.

Разные люди приносили эти цветы: одни просили передать их героям стройки, другие — кому-нибудь из строителей, третьи — просто бросить в воды канала.

Глядя на эти бесхитростные дары простых и искренних сердец, Михаил Григорьевич думал: он, конечно, не капитан и не парторг судна, а только рулевой, но это его рука в часы вахт направляет судно в этом историческом рейсе. Стало быть, поручения относятся и к нему. И, слушая приветы волгодонцам, звучавшие с трибун во время шумных митингов, которые возникали сами собой у пристаней, когда теплоход приваливал к берегу, или доносившиеся со встречных судов, плотов и гонок, он тихо бормотал себе под нос:

— Передадим, в лучшем виде передадим! А то как же!



Анатолий Шабров.

Старый труженик радостен, горд. Он сейчас очень добр. Ему хочется, чтобы вместе с ним так же вот радовался весь мир. Именно в этом рейсе он и спросил у капитана разрешения впервые передать штурвал совсем еще молодому матросу Анатолию Шаброву, своему ученику, с которым он прилежно занимался последние месяцы.

Справедливость требует отметить, что он занимался не с одним, а с тремя учениками. Остальные двое — тоже неплохие ребята, но только Анатолий пока что показал себя природным волгарем. Этот смышленый, быстрый парень научился, стоя у штурвала, как бы чувствовать ход судна и, заходя на опасные перекаты, каким-то особым, шестым чувством водника улавливать бег быстринного потока и сообщать теплоходу правильное направление. Этот рейс кажется старому волгарю особенно подходящим для приобщения даровитого новичка к специальности, которую Михаил Григорьевич про себя считает самой интересной и почетной, после, конечно, должности капитана.

И вот ночью взволнованный юноша, напутствуемый ласковым словом судового парторга, поднимается в рубку, где он провел уже столько часов со славным рулевым Мухановым. Надвинув на глаза козырек фуражки, тот стоит у штурвала, весь точно застывший. Он понимает, какой радостный шторм бушует сейчас в душе его ученика. Но сколько раз он сам вдалбливал молодежи, что главное качество рулевого — спокойствие! И хотя сердце его рвется навстречу юноше, робко остановившемуся в стороне, загорелый сухощавый профиль рулевого тверд и неподвижен, будто вычеканен из бронзы. Лишь глаза чуть прищуриваются, разглядывая в темноте сигнальные огни.

Первое качество рулевого — спокойствие. Выдержав достойную паузу, Михаил Григорьевич неторопливо взглядывает на ученика:

— Ну, Шабров, готов? Принимай вахту!

Голос старого рулевого обычен. Он уступает место, но рука его еще не выпускает штурвала.

— Я, дядя Миша, готов, — отвечает Шабров, кладя большую пылающую руку поверх сухой и холодной руки своего учителя.

— «Дядя Миша»! Какой я на вахте «дядя Миша»? — недовольно бурчит Михаил Григорьевич, но, не выдержав наигранного своего спокойствия, порывисто говорит: — Анатолий, помни, когда на первую вахту заступил! Всегда помни! Капитаном станешь — помни! Исторический рейс — вся страна за нами следит! Чувствуй!

Конечно, нужно и отдохнуть, но Михаил Григорьевич остается рядом с учеником, не имея сил оторвать взора от ночной Волги, где тремя красками: темной с зеленью — неба, бархатно-черной — воды и совсем уже черной, как тушь, — берега, да радостными светляками сигнальных огней вырисовываются пейзажи, бесконечно разнообразные, не похожие один на другой, но одинаково близкие сердцу волгаря.

Юный рулевой уже овладел собой. Он уверенно действует штурвалом. На миг в полутьме вырисовываются белая фуражка и китель судового парторга. Вопросительно смотрит он на Михаила Григорьевича. Тот молча кивает головой. Они скупо, удовлетворенно улыбаются друг другу, эти старые речники. Белый китель скрывается.

После этого молчаливого визита парторга, которого старый рулевой очень уважает, ему становится как-то по-особому хорошо. Он думает о жизни и приходит к выводу, что никогда еще — пожалуй, даже в часы первого рейса по каналу имени Москвы, которые целых пятнадцать лет были для него пределом мечтаний — ему не было так хорошо, как сегодня. А ведь самое главное впереди. И приятно сейчас подошвами ног ощущать непрерывную работу винта, каждый оборот которого приближает судно к устью Волго-Дона.

А страна действительно следит за знаменательным рейсом теплохода «Иосиф Сталин». По вечерам радио передает с его борта обширные репортажи. Писатели рассказывают о пройденном за день пути, поэты читают стихи, навеянные поездкой. Митинги на пристанях становятся все более многолюдными. Радист устал записывать пожелания счастливого пути, несущиеся со всех концов страны. И наконец — последние километры пути мимо причалов Сталинграда. Под приветственное гудение сирен посланец столичной флотилии выходит на рейд перед устьем канала.

В этот день судовой ветеран Михаил Григорьевич Муханов, человек скромный, застенчивый, дает первое в своей жизни интервью представителям газет; его рисуют, фотографируют, снимают для кино. Он говорит неохотно и вяло позирует. Все это кажется ему лишним.

— Что я вам, товарищи, буду о себе рассказывать! Вы лучше о судне нашем напишите, — говорит он. — Судно — да! Судно, можно сказать, выдающееся. Второй канал первым пройдет, второй водный путь открывает! Были ли такие-то суда?.. А обо мне что! Волгарь — мыта косточка, и больше ничего... Прошу прощенья...

Он отворачивается от собеседников и прищуренным, точно застывшим глазом смотрит туда, где за буроватой, тускло по-

сверкивающей гладью волжского рейда, над широкой каменной лестницей, купающей нижние ступени в воде, на гранитном цоколе возвышается монументальная скульптура И. В. Сталина.

Михаил Григорьевич долго смотрит на бронзовую скульптуру. Худое, обычно неподвижное лицо рулевого вздрагивает, в острых глазах появляется выражение необыкновенной теплоты.

А потом начинается самое важное, что врезается в память, будто высеченное резцом. Развернувшись на рейде, теплоход проходит мимо строя разукрашенных судов и под разноголосую перекличку сирен входит в устье канала. Перед взором рулевого открывается панорама, которой, должно быть, не доводилось видеть ни одному воднику, сколько бы и где бы он ни плавал в жизни.

Все пространство слева и справа, широко просматривающееся с высоты рубки рулевого, от кромки воды и до горизонта сплошь покрыто людьми. И вся эта человеческая масса живет, бурлит, ликует. Те, что стоят впереди, устремляясь к судну, открывающему новый водный путь, должно быть не замечая того, сами входят в воду. Иные, раздевшись, плывут по волнам. И все это кипит радостью, аплодирует. Даже пловцы, качающиеся на волне у самого борта, хлопают в ладоши, высовывая обе руки.

Медленно надвигаются башни входных ворот первого шлюза. Между ними рулевой видит широкую ленту, пересекающую путь судна. Лента приближается. Вот она движется уже над верхней палубой. Министр речного флота направляется к ней с ножницами. Его большое, рабочего склада лицо торжественно-неподвижно, но рулевой, находящийся почти рядом, отчетливо видит бисеринки пота, проступившие на переносице и на висках. Остро сверкнули ножницы. Куски разъятого шелка, порхая, опускаются вниз. Мимо судна, кладя на него прозрачные тени, проплывают сахарно-белые башни. Всё окутывает сероватый полумрак...

Судно в шлюзе. В эти минуты ликование вокруг достигает предела. Возгласы людей, сливаясь с торжественными салютами гудков, гремят так мощно, что первый раз в жизни Михаил Григорьевич не различает сирены собственного теплохода, ревущей у него над головой. Ему кажется, будто он слышит радостное, победное «ура», гремящее по всей советской земле. И он сам, этот молчаливый человек, которого профессия приучила к сдержанности, кричит «ура», кричит долго и так самозабвенно, что не замечает, как полумрак, окутывающий теплоход, остается внизу, а с палубы, вновь залитой солнцем, становится видна необычная панорама шлюза, усеянного народом.

Уже канал. Вот он, новый водный путь, проложенный через холмы! Все вокруг начинает расплываться в теплом тумане. Нет, главное качество рулевого — спокойствие. Рулевой сердито протирает кулаком глаза, протирает и опасливо оглядывается по сторонам: не заметил ли кто его слабости? Старый волгарь напрасно волнуется. Когда все проясняется, он видит ту же влагу в глазах коренастого бритоголового человека с суровым, волевым лицом — начальника стройки, в глазах дочерна загорелых строителей, которые сплошь усыпали сейчас бетонный парапет шлюза и гроздьями висят на переплетах запасных ворот, и, что особенно удивляет Михаила Григорьевича, в глазах капитана теплохода, которые, как это хорошо известно команде, ни при каких условиях не теряют своего холодного спокойствия.

Между тем выходные ворота уже опустились. Перед теплоходом открыт новый широкий водный путь, проложенный большевиками. Капитан передал в машину команду:

— Полный вперед!

Всё начинает быстро отодвигаться. Шлюз позади. Но и здесь, на новом отрезке, всё кругом — все берега до самой верхней кромки, все переплеты мостов, переброшенных через канал, все крылья причалов — сплошь усыпаны людьми.

Теплоход идет и идет, поднимаясь по ступеням шлюзов, а люди не убывают. Судно движется как бы в живых берегах, среди сплошной ликующей толпы.

У старого волгаря сегодня особенно острый глаз. Он примечает все, на что обычно рулевой, весь поглощенный сигналами и знаками обстановки, не обратил бы внимания. Ведь долго еще придется рассказывать об этих часах и сыну и будущим внукам, а может... кто знает, нынче люди долго живут... может, и правнукам. Он замечает, как флотилия новых лодок и дощаников встречает теплоход на глади водохранилищ, как с маленькой самодельной лодчонки с красным вымпелом на носу и с надписью «Мы — за мир» на корме два загорелых паренька машут теплоходу руками, как команда большого экскаватора прекращает работу, выходит на площадку и выстраивается, отдавая судну честь, и как женщина в казачьей одежде бросает с берега тяжелый венок, свитый из дубовых ветвей. Да, это была изумительная вахта!

Уже много часов развертывается величественная панорама завершенного строительства. Солнце валится к горизонту, покрывая червонным золотом тихую гладь водохранилищ. Туман плывет над водой. Низко тянут над ней косяки гусей, прохлада опускается на поля. Но человеческая радость, вызванная появлением судна, открывающего водный путь тут, в

степи, где еще в прошлом году казаку негде было напоить усталого, изжаждавшегося коня, все не стихает.

Празднично одетые люди поют песни, сидя на откосе. Это жители новых прибрежных поселков и колхозники окрестных хуторов. Тут же, возле, стоят пыльные грузовики и тачанки, на которых они приехали, посверкивают никелированными частями велосипеды. Огромная, разукрашенная кумачом тракторная телега превращена в эстраду. Две женщины в пестрых платьях поют на ней под баян то ли старую, то ли сейчас вот родившуюся песню:

Эх, да кабы матушка Волга
Со Доном повенчалася...

И даже ночью, когда сгущается тьма, густо насыщенная необыкновенно терпкими запахами степных трав, и рулевым уже приходится напрягать глаза, чтобы рассмотреть в густеющем тумане огни створов и бакенов, веселье не утихает на берегах.

В эту ночь никто не чувствует усталости, не покидает палуб, не ложится спать. Все происходящее мнится сказкой. Эту сказку мертвых степей, оживленных волей большевиков, можно слушать без отдыха, без сна. И старый рулевой, прошедший за штурвалом несметное число километров водных путей, и его юный ученик, который в этом рейсе принял свое настоящее трудовое крещение, — оба они, не смыкая глаз, смотрят в прозрачно-зеленоватую тьму летней ночи, в которой, то очерченные цепями электроламп, то выхватываемые из мрака огнями прожекторов, рисуются величественнейшие сооружения эпохи.

А когда на заре теплоход опустился со ступени последнего шлюза и перед ним раскрылась затянутая легким розоватым туманом донская вода, охваченная полуподковой пологих лысых холмов, Михаил Григорьевич сказал ученику:

— Счастливый ты, Толька! Ведь вот повезет человеку — в таком рейсе за штурвал встать!

— Все мы счастливые, товарищ Муханов, — ответил Анатолий Шабров, жадно рассматривая новую реку широко раскрытыми глазами.

Счастливые пути, счастливые рейсы, счастливые люди!





СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Отзывы об этой книге просим присылать по адресу: Москва 47, ул. Горького, 43, Дом детской книги.

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Ответственный редактор
Б. Камир.

Художественный редактор
Б. Дехтерев.

Технический редактор
Д. Пчелкина.

Корректоры
А. Вайнштейн и Б. Третьяченко.

Сдано в набор 14/III 1953 г. Подписано к печати 7/VIII 1953 г. Формат $60 \times 92^1/_{16}$ — 8 бум = 16 печ. л. (14,22 уч.-изд. л.). Тираж 75 000 экз. А04833. Заказ № 295. Цена 6 р. 75 к.

Фабрика детской книги Детгиза. Москва, Сущевский вал, 49.

6 р. 75 к.